

Ж Ж М Б И

ГЕННАДИЙ ГОР

ГЕННАДИЙ ГОР
КУМБИ



Теннадий Гор

9

КУМБИ

НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Издательство

«Детская

литература»

Ленинград

1968

Геннадий Самуилович Гор опубликовал свой первый рассказ в 1925 году в комсомольском журнале «Юный пролетарий». За последующие 42 года он написал много рассказов, повестей и романов, в том числе и фантастических.

Научная фантастика Геннадия Гора известна и в нашей стране, и за рубежом. В этот сборник входят уже печатавшиеся ранее повести и рассказы «Кумби», «Мальчик», «Необычайная история» и «Странник и время».

Писатель погружает воображение читателя в атмосферу то далекого будущего, то прошлого, художественно сопоставленного с нашими днями. Своих героев он ставит лицом к лицу с необычным, а иногда и загадочным, не только для того, чтобы показать иные миры, возможные и невозможные, но и поведение людей в необычных условиях. При этом автор ценит в них не только волю и мужество, но прежде всего мысль, способную победить время и пространство.

Р И С У Н К И
Т. ОБОЛЕНСКОЙ и Б. СТАРОДУБЦЕВА



1

ерман Иванович принес в класс стопку наших тетрадей. Взяв одну тетрадь, он сказал обычным своим тихим, усталым голосом:

— Если Громов не будет возражать, я прочту вслух его домашнюю работу. Она заслуживает внимания.

И он начал читать. Читал он здорово, и мы сразу же почувствовали, что речь идет о чем-то очень странном и необыкновенном. О мальчике, затерявшемся в холодных просторах вселенной. Сам-то мальчик не знал, что он затерялся. Для него все началось там, в пути, в непрерывном движении, и он сам тоже там начался. Начался? Человек редко задумывается о своем начале. Для него нет начала, как, в сущности, нет и конца.

Мальчик родился в пути, среди звезд, и то, с чем за десять лет не могли свыкнуться взрослые—его мать и отец, и спутники, было для него родным и привычным, как для нас школьный двор: космический корабль, повторяющий в миниатюре оставленную планету.

Где-то в бесконечности вселенной остались густые, пахнущие теплой хвоей и озоном леса, синие реки, дома, веселые, шумные, длинные дороги. Все это мальчик видел на экране, но для него это были обрывки

сновидений. Может быть, всего этого на самом деле не было?

Спутники с большой настойчивостью стремились доказать мальчику, что все это было, и лучше всех это удавалось мечтателю-музыканту. Слушая его музыку, мальчик ощущал леса и реки, дома и дороги далекой планеты, которую экспедиция покинула задолго до его рождения. И тогда мальчику хотелось протянуть руки и дотронуться до мерцающего на экране мира, столь не похожего на жизнь корабля, но даже если бы руки протянулись на миллионы километров, все равно не дотянуться было до лесов и рек, домов и дорог — так далеко все это было.

Да, все-таки было. Это утверждала музыка, утверждал экран и подтверждали знания: ведь мальчик не просто жил в стремящемся куда-то корабле, он еще и учился.

С мальчиком занимались все — и родители и остальные взрослые, в том числе всегда занятый, всегда чем-то озабоченный командир. Приборы искусственной памяти бережно хранили и щедро отдавали мальчику знания о прошлом. Но мальчику порой казалось, что можно отдать все знания за один только час в лесу на берегу стремительной речки. О берегу и о лесе рассказывала музыка. Музыкант тоже тосковал по покинутой родине и не старался скрыть своей тоски. Он имел на то право, он был музыкант, мечтатель, его грусть не мешала, а даже помогала жить и работать спутникам.

Мальчик учился. У него не было сверстников, он видел детей только на экране, как реки и леса. Ему не с кем было играть, разве что с роботом — забавной игрушкой, придуманной специально для него, но робот был слишком серьезен и деловит. И однообразен.

Иногда мальчик принимался бегать по кораблю (он мог бегать, потому что на башмаках у него были гравитационные подошвы), ему хотелось пошалить, поиграть в прятки или «пятнашки», и тогда робот обеспокоенно ковылял за ним следом, растопырив руки, — он боялся, бедняга, что мальчик невзначай налетит на какой-нибудь прибор и сильно ушибется.

Мальчик спрашивал себя: какие они, дети? Он все хотел увидеть их во сне, но ни разу ему не удалось увидеть во сне детей. Он видел только робота, хотя



робот, возможно, чем-то походил на детей и на самого мальчика.

Мальчик спрашивал о детях у всегда ласковых и внимательных взрослых и у всезнающих машин, но никто не мог рассказать что-нибудь толковое и вразумительное. Ни взрослые. Ни машины. Ни экран. Ни даже музыка. Дети были слишком далеко, там же, где реки, и деревья, и отраженные в воде облака. Взрослые, наверное, забыли о том, что были когда-то детьми. Впрочем, может быть, они просто не хотели напоминать мальчику о своем детстве. Ведь их детство прошло не на космическом корабле, падающем в ледяную черную бездну.

Но мальчик не так уж часто думал о бездне. Космический корабль сам по себе был для него целым миром, и в этом мире были запретные уголки, куда взрослые не пускали мальчика, всякий раз обещая впустить, когда он вырастет.

Вырастет? Это слово и пугало и радовало мальчика своим чуточку странным и неожиданным смыслом. Ведь на корабле никто, кроме него, не рос, все давно успели вырасти дома, на своей планете, задолго до отлета. И только он один рос, быстро менялся, и все это замечали с легкой грустью, как приметку неумолимого хода времени, еще более неумолимого здесь, на корабле, чем дома, на своей планете. Да, мальчик менялся, и ему еще долго нужно было расти и меняться, чтобы стать взрослым.

Куда двигался корабль, зачем? Мальчик инстинктивно чувствовал, что взрослые не любят отвечать на эти вопросы, и потому он спрашивал не их, а самого себя. Эти вопросы не были под запретом, но в них было много неясного и спорного. Корабль должен был доставить экспедицию на одну из планет в окрестностях Большой Звезды, чтобы выяснить, есть ли там разумные существа. И вот часть экипажа считала, что разумные существа там есть, а другая часть в том сильно сомневалась. Мальчик тоже немножко сомневался, может быть, потому, что в числе сомневающихся был его отец. Мальчик больше всех на свете любил своего отца, больше даже, чем музыканта, хотя и не смог бы себе объяснить, за что он его любит. У отца было нервное, дергающееся от тика лицо. Но и лицо его, несмотря на тик, нравилось мальчику.

В глазах отца появлялся иногда странный блеск, и мальчик знал, что отец, в отличие от многих, не умеет и не желает скрывать свое нетерпение, свое страстное стремление поскорей достичь планеты в окрестностях Большой Звезды. Мальчик прощал отцу его нетерпение, потому что он догадывался о его причинах. Отец мальчика был геолог, и очень уж большая часть его жизни уходила на ожидание в корабле, где он никак не мог применить свои знания и свой труд. Уже много лет отец тосковал по любимому делу. Мать мальчика, по специальности знаток лесов и деревьев, тоже проводила годы в томительном ожидании. По-видимому, она рассчитывала, что на планете окажутся необыкновенно большие и густые леса с неизвестными деревьями, которые целые века ждут, чтобы им дали название и определили их породу. Ведь на планете могло и не быть разумных существ.

Было просто удивительно, что почти все уже названо и, чтобы назвать неназванное, нужно преодолеть миллионы миллионов километров и десятки лет. Мальчик жил среди имен и названий. Он давно понял и привык к тому, что названия и имена облегчали его родителям и спутникам общение друг с другом и с вещами. А что было бы со всеми, если бы ни у кого не было ни названий, ни имен? Мальчик даже боялся это себе представить. Имело название даже то бесконечное и бездонное, что было за стенами корабля. Его называли «вакуум», «пустота». Звучно называли! И от этого она, пустота, казалась мальчику чуточку менее пустой и чуточку менее страшной.

Да, мальчик жил среди всего названного. Но из всех живых существ, населявших корабль, он один почти не нуждался в имени. Все называли его просто мальчиком, даже мать и отец.

— Мальчик! — окликали его спутники.

— Мальчик! — обращался к нему робот-игрушка.

Со стороны неодушевленного предмета это, конечно, было несколько фамильярно. Но мальчик не обижался. В конце концов, робот не был хозяином своих слов, слова произносились роботом только согласно программе.

— Мальчик, — говорили взрослые, — ну, как ты провел день?

И их лица, он не мог этого не заметить, светлели и становились менее озабоченными. Почему? Кто знает? Может, и потому, что, глядя на мальчика, они вспоминали себя такими, как он. И только лицо командира корабля не светлело при встречах с мальчиком. Он оставался таким же строгим и озабоченным, каким был всегда. И мальчик понимал и одобрял его поведение. Командир не позволял себе мысленно уноситься в прошлое и этим облегчать свое пребывание здесь. Щадя других, он никогда не щадил себя, постоянно думая о той ответственности, которая на нем лежала.

Командир уходил к себе, к своим приборам и помощникам. А мальчик оставался там, где его настаивал интерес к вещам, явлениям или спутникам. Он постоянно чем-нибудь интересовался и, в сущности, был все время чем-нибудь занят.

— Мальчик! — окликали его спутники.

Вещи тоже окликали мальчика, даже те вещи, которые не умели ни говорить, ни думать.

И мальчик отзывался.

2

В этом месте рассказа Герман Иванович остановился и опустил тетрадь.

— А дальше? — спросил кто-то из учеников.

— Дальше, — ответил Герман Иванович, изменив голос и снова став тем, кем он был до чтения: обыкновенным старым, уставшим учителем, — дальше нет ничего и стоит точка. Надо надеяться, что Громов напишет продолжение. Пока рассказ без конца.

Учитель снова стал самим собой, а ведь только что он казался нам артистом. Более того, он казался нам чем-то вроде посредника, помогавшего ученикам понять странный мир корабля, летящего много лет в пустоте, и живущего в этом странном мире мальчика.

Герман Иванович покачал головой и посмотрел в угол на сидящего у окна Громова, явно предлагая нам всем вспомнить, что истинным посредником был не он, Герман Иванович, а Громов.

И все вспомнили о Громе, хотя во время чтения все о нем забыли. Громова и все остальное заслонил

мальчик, голосом Германа Ивановича захвативший наше внимание. Теперь мальчик исчез, и перед нами сидел Громов, делавший вид, что он не имеет к мальчику никакого отношения. Лицо у него было напряженное, и он смотрел на нас, словно ждал какого-нибудь подвоха. Но, честное слово, никто из нас не собирался его подводить. И если уж на то пошло, подвел он себя сам, написав такую странную домашнюю работу.

Зачем он это сделал? Я не знал, не знали и другие, не знали и не догадывались. И странно, что он написал в своей домашней работе не о себе и не о своих знакомых, как мы все, а о каком-то необыкновенном мальчике с другой планеты.

И вот, когда наступила тишина, Громов, наверное, чувствовал себя неловко и невольно заставлял этим чувствовать себя неловко и всех нас, не исключая Германа Ивановича. Громов сидел в своем углу у окна, но казалось, что он где-то далеко, за миллионы километров от нас, со своим необыкновенным мальчиком.

Уж кому-кому, а Громову не следовало писать об этом мальчике. Он был сын известного ученого-археолога, и это все знали. И еще все знали, что несколько лет назад отец Громова сделал крупное открытие, нашел какие-то загадочные предметы, вызвавшие спор. В вечерней газете и в двух-трех журналах появились заметки о пришельцах с других планет, следы которых якобы открыл отец Громова. Но потом журналы почему-то замолчали, как они замолчали вдруг о снежном человеке, о котором сначала так много писалось. И в школе пронесся слух, что все это не подтвердилось: и пришельцы и даже снежный человек. А ведь в снежного человека все уже успели поверить, и всем было очень жалко с ним расставаться.

Никто из ребят не хотел бы оказаться на месте Громова, когда журналы вдруг замолчали об археологических находках его отца. И поэтому при Громове мы старались не говорить на археологические темы, понимая, что Громов не виноват. И отец Громова тоже был не виноват, что какой-то нетерпеливый журналист поторопился раззвонить об этих спорных предметах,

вместо того чтобы благоразумно обождать, пока ученые договорятся и вынесут свое авторитетное решение.

Громов, конечно, страдал, держался он отчужденно, домой всегда возвращался один и никого из ребят, кроме меня и Власова, к себе не приглашал. Но Власов был тихоня и от застенчивости вечно заикался, а не приглашать меня Громову было просто неудобно. Я жил в доме напротив и однажды разбил в его квартире стекло — это случилось еще до того, как его отец сделал свое открытие. Громов опасался, что если он меня не пригласит, то я подумаю, будто это из-за стекла. Стекло стоило дорого, оно было толстое, как в витрине.

Если не считать Власова, который был так застенчив, что в чужой квартире боялся оглядеться, я один из всего класса хорошо знал квартиру Громова. Это была большая старинная квартира. В ней всегда стоял какой-то странный, не знакомый ни мне, ни Власову запах. На шкафу торчало несколько желтых и коричневых черепов с написанными на них цифрами, а на стене висел деревянный божок, таращивший на всех светлые жестокие глаза, сделанные, как мне объяснил Громов, из обсидиана — вулканического стекла.

В кабинет ни Громов, ни его отец не приглашали ни меня, ни Власова. И я всякий раз с любопытством смотрел на дверь кабинета, думая про себя, что за этой дверью, наверное, хранятся всякие редкости и даже предметы, вызвавшие ожесточенные споры специалистов. В глубине души я очень жалел, что журналисты вдруг замолчали и не стали больше писать об этих находках. Мне почему-то очень хотелось, чтобы отец Громова победил всех своих противников и оказался прав. Ребята объявили, что мне дорога не истина, а самолюбие и тщеславие, ведь я приятель Громова. Но это неправда, я очень дорожил истиной, и мне хотелось только одного: чтобы истина оказалась необыкновенной и интересной. Обыкновенных и неинтересных истин и без того слишком много на свете.

А потом Громов вдруг перестал приглашать меня и даже Власова. И когда мы спросили его, в чем дело (спрашивал, собственно, я один, а Власов только стоял и застенчиво моргал глазами), Громов ответил:



— У нас, понимаете, ремонт.

— А долго он будет продолжаться, ваш ремонт?

Громов странно посмотрел на Власова, потом на меня и ответил тихо, еле слышно. И мне и даже тихо-не Власову очень не понравился его ответ.

— Долго, — ответил Громов. — Ремонт почти капитальный.

Он вежливо дал нам понять, что ходить нам к нему нечего.

Я подумал, что все это из-за стекла, и обиделся. Но Власов попытался найти другое, более разумное объяснение.

— Это, наверное, не Громов, — сказал он, — а его отец. В квартире таятся загадочные ценности.

— А мы что, украдем эти ценности?

— Не в этом дело. Отцу Громова нужна тишина. Он работает. И наверное, есть еще какие-нибудь веские причины.

Я с удивлением посмотрел на этого застенчивого человека. Видно, он очень любил Громова, если плюнул на свою обиду и стал защищать его отца.

Идея Власова о веских причинах, однако, почти убедила меня. Действительно, если разобраться, то иначе и не могло быть. Работа археолога должна быть ограждена от посторонних, раз речь идет о предметах, вызвавших сомнение специалистов. Мне даже стала нравиться эта мысль.

Короче говоря, я тоже почти стал на точку зрения Власова, забыл о когда-то разбитом стекле и рассчитывал, что и другие о нем давно забыли. И однажды в скверике, где мы гоняли мяч, я спросил Громова:

— Ну, как ремонт?

И Громов ответил:

— Еще продолжается.

В сущности, я и не ожидал другого ответа. Всего три месяца прошло с тех пор, как я последний раз разглядывал нумерованные черепа, дверь в таинственный кабинет и обсидиановые глаза деревянного бога. И мне очень хотелось побывать у Громова еще хотя бы раз, но я понимал, что пока это невозможно. Надо было ждать.

Кажется, я уже упоминал о том, что мои одноклассники любили поговорить об истине. И один из них,

Мишка Дровделов, часто повторял где-то вычитанные слова.

— Платон, — говорил он, подходя ко мне или к Власову с важным видом. — Платон, ты мне друг, но истина мне дороже.

Это у Дровделова неплохо получалось. Но я лучше всех знал, что до истины ему нет никакого дела. Если бы он так дорожил истиной, то не получал бы двойки.

Но я истиной дорожил, честное слово. Я был убежден, что археолог Громов и через него чуточку его сын имели отношение к истине, но не торопились с ней, боясь навлечь на себя упреки специалистов, и тщательно готовились, чтобы предъявить неоспоримые доказательства.

Именно в это время Громов посвятил домашнее сочинение на свободную тему рассказу о мальчике.

Класс сидел тихо под впечатлением рассказа. А Громов молчал. И тишина была какая-то необычная. Она томила нас, как ожидание несбывшегося. Ведь рассказ о мальчике оборвался на самом интересном месте...

Загремел звонок, и все зашевелились. Вдруг Дровделов вскочил, подошел к Громову и, вытаращив глаза, проревел во весь голос:

— Громов, ты мне друг, но истина мне дороже!

И я подумал, что теперь рассказ о мальчике не будет дописан. Все испортил этот дурак Дровделов. И действительно, конца у рассказа не было, но продолжение мне все-таки удалось услышать. Правда, это произошло не скоро, уже после летних каникул.

3

В летние каникулы мне ни разу не удалось встретиться с Громовым. Он уехал в Комарово, в пионерский лагерь Академии наук, а я в Молодежное, в лагерь от завода, на котором работал мой отец. Я, конечно, мог случайно с Громовым встретиться, Молодежное было не так далеко от Комарова. Но за все лето я не встретился ни с кем из наших ребят, кроме

Дроводелова, который попал вместе со мной в один лагерь. Его мать работала кладовщицей, и он жил не с нами, а с матерью во флигеле для обслуживающего персонала, но встречались мы каждый день.

В то утро, когда я приехал, он подбежал и, сделав важное лицо, пробубнил:

— Платон, ты мне друг, но истина...

Я не выдержал, схватил его за ворот рубашки и пригрозил:

— Если ты еще раз скажешь о Платоне и об истине, пусть меня выгонят из лагеря, но я тебя проучу!

Он, видно, забыл, какое впечатление произвели его слова на Громова и на всех нас после чтения рассказа.

Дроводелов очень обиделся, у него на глазах даже слезы выступили, и он сказал мне:

— Отпусти! Во-первых, эти слова принадлежат не мне, а Сократу. А он был мыслитель. А во-вторых... Отпусти! Ты сейчас не на улице, а в пионерском лагере.

— На этот раз ладно, — согласился я, — отпущу. Только чтоб об истине я больше ничего не слышал.

И он действительно образумился, перестал говорить об истине и о Платоне. Но моей угрозы он мне не простил. Это я видел по лицу его матери-кладовщицы всякий раз, когда с ней встречался. На ее лице было написано все: и про истину, и про Платона, и про то, что я чуть не оторвал воротник у ее сына. Лицо ее, впрочем, было вполне благообразное, большое, полное и даже симпатичное, но оно выражало слишком много чувств.

Нет, Дроводелов больше уже не упоминал об истине. И на том спасибо. Я давно заметил, что когда не очень умный человек произносит чужие умные слова, эти слова тоже глупеют, хотя говоривший ничего не прибавляет от себя. Почему это происходит? Не знаю. Но хватит о Дроводелове. В лагере он всем надоел, вечно торговался, что-нибудь выпрашивал, сплетничал про команду, против которой играл. В конце концов он добился, что его оставляли стоять в стороне в роли болельщика. Вместо того чтобы упрекать в этом себя, он сразу же обвинил меня.

— А еще одноклассник, — нудил он, — разве это по-товарищески?

Эти слова почему-то растрогали меня, и я стал просить ребят не выгонять его на мусор.

Не хочется мне рассказывать о Дроводелове, честное слово, не хочется, не очень-то это интересный человек. Но так получалось, что без него никак нельзя обойтись. В тот день, о котором я сейчас рассказываю, он подошел ко мне, хлопнул по плечу ладонью и объявил:

— Я вчера с матерью в город ездил.

— Ну, ездил и что из того?

— Новостишки есть!

— Какие?

— Громов переводится в другую школу.

— Это почему?

— Квартиру им новую дают, уже ордер выписали. Не будет же он с Черной Речки ездить на Васильевский остров.

— Не может быть, чтобы из-за квартиры он захотел уйти из класса, — сказал я, чувствуя, однако, всю неубедительность своих доводов.

Дроводелов посмотрел на меня, и вдруг его лицо стало похоже на лицо его матери.

— По-твоему, он должен тебя предпочесть новой квартире?

— Если бы Громовы собирались переезжать, вряд ли они стали бы возиться с капитальным ремонтом.

— Выходит, ты мне не веришь?

— Не верю.

— Разве тебе не известно, что я всегда говорю одну только правду?

Дроводелов и в самом деле считал себя правдолюбом. В позапрошлом году он перевелся в нашу школу откуда-то с Бабурина и всем хвастал, что его мать самый крупный в Ленинграде инженер и работает на Металлическом в цехе паровых турбин. Но потом выяснилось, что она торгует зимой в пивном ларьке, а летом работает кладовщицей в пионерских лагерях. Мы узнали об этом, но, чтобы не конфузить Дроводелова, всякий раз, когда речь заходила о паровых турбинах, начинали говорить о чем-нибудь другом. А тихоня Власов даже высказал предположение, будто мать Дроводелова когда-то работала инженером, но дисквалифицировалась и переменяла профессию.

Но хватит о матери Дроводелова! Довольно!

Известие про Громова очень огорчило меня. Как известно, судьба не очень балует школьников. Интересных людей с загадочным прошлым или настоящим чаще встречаешь в книгах, чем в школе. А Громов давно привлекал мое внимание не только в связи с находками его отца, но и сам по себе, как самостоятельная личность.

Если бы меня попросили описать наружность Громова и его характер, вряд ли я бы справился. Наружность у него была самая обыкновенная, если не считать седой прядки волос над левым ухом. Поседел Громов сразу, как появился на свет, еще до того, как научился переживать и огорчаться. Седая прядка и очки в зеленоватой оправе придавали лицу Громова серьезное и даже солидное выражение. Кто-то из ребят назвал его Академиком, но прозвище не пристало. К Громову ничего не приставало: ни грязь, ни пыль, ни завистливые и недобрые слова. Он чем-то походил на мальчика, о котором писал в домашней работе. Когда Герман Иванович читал его сочинение, я мысленно представлял себе мальчика с седой прядкой над левым ухом, как у Громова, хотя о прядке в рассказе ничего не было сказано. Я уже давно обратил на это внимание: когда читаешь повесть, рассказ или поэму, всегда ищешь у героя сходство с кем-нибудь из твоих знакомых. Помню, когда я первый раз читал знаменитую поэму Пушкина, я сразу догадался, на кого похож Евгений Онегин. Он был очень похож на одного щеголеватого красивого парня, которого я как-то видел на Невском возле кафе «Север». Парень стоял, отставив ногу в узкой штанине, а на лице его было написано, что ему наскучило все на свете и он не знает, чем бы заняться.

Да, сейчас я убежден, что Громов был похож на мальчика, который родился в космическом корабле. Дело было не только в седой прядке, но и в том, что Громов очень много знал. Никто в школе не знал столько, сколько знал Громов. Но он никогда не был первым учеником. То, что он знал, не имело никакого отношения к программе. Например, он откуда-то знал, и совершенно точно, какой мозг у вымершего миллионы лет назад плезиозавра. Этого не знал даже сам

Иван Степанович, преподаватель биологии. Но мы не понимали, какой толк от всех этих знаний, раз их не было в учебниках и в школьной программе. Учителя, за исключением Германа Ивановича, эти знания не очень-то ценили. Глупо было бы думать, что они ценят только то, что вставлено в учебники и программу. Просто у них был житейский опыт, и они отлично понимали, что знание величины мозга у плезиозавра вряд ли пригодится Громову в его дальнейшей жизни и деятельности и что надо хорошо знать то, с чем мы встречаемся на каждом шагу. Вряд ли ему, или нам, или вам когда-нибудь доведется встретиться с плезиозавром.

Я не удержался и однажды сказал об этом Громову при Власове и Дроводелове, который, как всегда, оказался тут как тут. Дроводелов совсем некстати расхохотался, а Громов насмешливо посмотрел на меня, молча достал из портфеля газетную вырезку и протянул нам. Мы прочли и от удивления вытаращили глаза. В газетной вырезке говорилось, что на днях в одном из шотландских озер обнаружен живой плезиозавр.

На уроке биологии мы показали вырезку Ивану Степановичу, и он почему-то очень смутился и, по-видимому, был недоволен этой находкой. В конце урока он нам сказал:

— Это ничего не прибавляет.

И затем добавил, подумав:

— И не убавляет.

Эти его слова нам показались тогда не менее загадочными, чем обнаружение плезиозавра.

Пожалуй, довольно про плезиозавра. О нем и без того все знают. Но Громов знал очень много такого, о чем даже и намеков не было в наших учебниках. Он знал, например, про воду, чего не знал никто из нас. И про лед он тоже знал, чего, возможно, не знала даже наша химичка Вера Николаевна. И однажды на уроке химии он сказал, что лед вовсе не твердое тело, как думают многие.

— А что же он такое? — заинтересовались мы.

— Твердыми телами называются те вещества, частицы которых образуют регулярную структуру, кристаллическую решетку.

Я вспомнил про стекло, вспомнил, что оно такое твердое, что его приходится резать алмазом, и задал Громову коварный вопрос.

— А стекло, — спросил я, — твердое тело или нет?

— Нет, — ответил Громов. — Стекло — это переохлажденная жидкость высокой вязкости.

Вера Николаевна не принимала участия в этом разговоре. Когда речь заходила о химии и физике, с Громовым лучше было не связываться. Никто не знал, откуда он черпал свои знания, и проверить его было трудно.

Первые ученики тоже много знали, они посещали разные кружки при Дворце пионеров и следили за новинками. Но, употребляя полюбившееся нам выражение Ивана Степановича, эти знания ничего к ним не прибавляли и ничего от них не убавляли. Громов — другое дело. Знания превращали его в другого человека. Что я этим хочу сказать? Сейчас постараюсь объяснить. Пока Громов молчал, это был обыкновенный ученик, такой же, как мы все. Но стоило ему заговорить, как он становился совершенно другим. Он делался много умнее и больше обыкновенного ученика, и казалось, что такой он настоящий и есть, только до поры до времени скрывает это.

Отвечая на вопрос преподавателя, Громов никогда не спешил, как первые ученики и отличники. Наоборот, он отвечал медленно, словно еще не зная правильного ответа и безмолвно советуясь с кем-то внутри себя.

Что я еще могу сказать о Громове? Пожалуй, ничего. Пока. Вот когда он переедет на Черную Речку и переведется в другую школу, тогда, возможно, я смогу сказать больше. Ведь пока человек каждый день сидит с тобой в одном классе со своей седой прядкой и раздвоенным подбородком, и пока ты каждый день видишь, как он пишет, постукивая мелом на доске, или читает новый номер «Знания — силы», трудно сказать о нем что-нибудь интересное. А может быть, Громов и не переедет на Черную Речку и Дровделов все это придумал, чтобы поделиться со мной новостишкой?

Когда начались занятия и я пришел в класс, я не очень-то рассчитывал увидеть Громова. Но он спокойно сидел на своем месте у окна и, чтобы не терять времени, читал какую-то книжку.

Я поздоровался с ним, а потом, словно потеряв над собой контроль, вдруг спросил:

— Ну, а как мальчик? Будет о нем продолжение?

Я думал, что Громов пропустит мой вопрос мимо ушей, но он ответил и, кажется, охотно:

— Тетрадка у Германа Ивановича. Летом мне удалось найти кое-какой материал о нем.

— Но он же придуманный, этот мальчик, ты же писал фантазию или там сказку...

Громов посмотрел на меня и ответил вопросом:

— Ты в этом уверен?

— А ты? Ты разве не уверен?

Он усмехнулся и произнес слова, истинный смысл которых я, сколько ни старался, никак не мог понять.

— Дело не в том, уверен кто-то или не уверен. Все гораздо сложнее.

Я хотел переспросить, но не успел. Появился Дроводелов и сел рядом. А при Дроводелове мне не хотелось говорить о мальчике. Дроводелов обязательно бы вмешался и стал бы расспрашивать, он всегда любил совать нос в чужие дела.

— Есть одна новостешка, — тихо сказал Дроводелов, наклоняясь ко мне, чтобы не слышал Громов. — После уроков Герман Иванович будет читать продолжение про мальчика. Муть, правда? Выдумка. Неужели придется слушать эту муть?

Он говорил очень тихо, но я все-таки боялся, как бы не услышал Громов. Он в это время уже снова читал свою книжку.

Дроводелов не ошибся. Уроки кончились, и Герман Иванович прочел продолжение рассказа. В этот раз он читал намного хуже.

Космический корабль продолжал свой путь. Мальчик успешно сдал экзамены и проводил каникулы тут же, на корабле. Летние каникулы? Или зимние? Это не существенно. В космическом корабле не было ни

лета, ни зимы. Кто экзаменовал мальчика? Все, кому не лень, начиная от командира корабля и кончая поваром-фармацевтом. А самыми придирчивыми и строгими экзаменаторами были памятьливые машины. Одна машина задала мальчику каверзный вопрос.

— Скажи, мальчик, — спросила она красивым мужским голосом, — в каком году изобрели колесо?

Мальчик смутился. Он мысленно перебрал все даты значительных открытий и изобретений, но про колесо не вспомнил ничего.

Машина долго ждала ответа, а потом сказала, почему-то переменяя голос на женский:

— Не трудись. Этого никто не знает, даже я. В ту эпоху жители нашей планеты не имели представления о датах.

Машине, наверное, не следовало задавать мальчику вопрос, на который не существует ответа. И при этом еще менять свой голос. Ведь мальчик и без того волновался и переживал. На все остальные вопросы он отвечал без запинки.

Наступили каникулы, и мальчик сразу забыл о каверзном вопросе. Он был счастливее всех на корабле, потому что он здесь родился и обо всем остальном знал только от других. В отличие от других на далекой планете у него не было знакомой или знакомого, по ком он мог бы скучать. Все его знакомые были здесь, рядом с ним, на корабле. Здесь было не только его настоящее, но и прошлое, а что касается будущего, то о нем приходилось только гадать. Будущее зависело от теории вероятностей и от той неизвестной планеты, на которую они летели. Об этой планете много говорили на корабле. Каждый, по-видимому, представлял ее по своему вкусу. Одни считали, что там живут высокоразумные и цивилизованные существа, другие полагали, будто для разумных существ там еще не наступил черед и обитают там пока только ящеры. У мальчика тоже была своя гипотеза. Он был уверен, что планета населена детьми. В глубине души он понимал, что это невозможно. Но ему очень хотелось увидеть детей еще до того, как он станет взрослым и состарится.

На корабле за много лет непрерывного, безостановочного движения создался совсем особый ритм жизни.

И этот ритм облегчал существование всем членам экспедиции и команде, так что они почти не чувствовали, что лишь стены корабля отделяют их от холодной и страшной пустоты без дна.

Для этого ритма, как узнал мальчик, существовало свое название. Этот ритм назывался обыденностью. Сколько ни вдумывался мальчик, он никак не мог понять истинный смысл этого слова, хотя другие слова и названия понимал сразу и без труда. Он чувствовал, что это слово скрывало в себе нечто необычайно важное и даже таинственное. Может быть, взрослые сразу сговорились между собой, едва сели на корабль, совсем не думать о бездонной пустоте, а потом возник этот ритм, который отвлек их от тревожных дум, как отвлекает сон или работа.

На космическом корабле были представлены почти все профессии. Был там и философ. Он осмысливал все происходящее и с помощью мысли приводил в должный порядок.

Однажды, встретив философа в отделении логических машин, мальчик набрался храбрости и спросил, что такое обыденность.

Философ ласково улыбнулся мальчику.

— Обыденность, — ответил он, — это цепь привычек, которых мы, в сущности, не замечаем, как не замечаем одежды, когда мы одеты. Но стоит нам раздеться и выйти на мороз...

Философ вдруг замолчал, вспомнив, что говорит не со взрослым, а с мальчиком.

Он улыбнулся еще раз и ушел. Мальчик больше не спрашивал. И старался не думать об этом. Он догадался, что обыденность существует только для взрослых, а у детей ее нет и не может быть. И действительно, все казалось необычным и новым мальчику, даже то, что он видел много раз.

Он видел, как все трудились, что-то вычисляя, изобретая или изучая. Он заходил в лаборатории. Ему везде были рады, и особенно почему-то там, где занимались исследованием самых сложных явлений, например в лаборатории субмолекулярной биологии. Может быть, это происходило потому, что исследователи, углубясь в невидимое и неведомое, доступное только сложнейшим приборам, на целые часы теряли

связь с окружающим миром, и мальчик являлся им как посланец этого прекрасного мира, напоминая об этом мире всем своим видом.

Потом мальчик уходил, и в лаборатории наступала тишина. Но все знали, что мальчик где-то рядом, потому что, хотя корабль и был большой, но на нем все было рядом, все было близко. А мальчик, выйдя из лаборатории, сосредоточенно думал о субмолекулярном мире, и мысль его уносила уже не за пределы корабля в просторы вселенной, а в бесконечное малое. И тогда он сам себе начинал представляться бесконечно большим, состоящим из множества миров.

В свободные от исследований часы некоторые участники экспедиции играли в шахматы. Мальчик через плечо игрока заглядывал на доску и гадал, какой будет следующий ход. Слабее всех играл в шахматы музыкант. Он всем проигрывал — и машинам и живым партнерам. И очень огорчался проигрышами, но не в силах был удержаться от игры. У мальчика его частые проигрыши вызывали досаду.

Проиграв партию, музыкант уходил в свое помещение сочинять музыку. Однажды он поманил мальчика, привел его в свою каюту и включил проигрыватель, чтобы мальчик мог послушать новую мелодию.

Мальчик слушал, и звуки лились, тонкие и светлые. Это бились где-то друг о друга льдинки, это пела вода, то журча, то гремя и налетая на камни.

И постепенно мальчику представилась незнакомая планета с множеством рек, речек и ручейков. Вода пела удивительную песню.

И мальчик вдруг почувствовал, что песня уже есть, но нет еще уха и разума, чтобы понять ее и услышать. На планете еще не наступил черед для разумных существ... Да, на той планете, о которой рассказывала музыка.

А звуки лились и лились, тонкие и светлые. И мальчику казалось, что реки, ручьи, потоки и льдинки здесь, рядом с ним, такой ясной и красивой была мелодия.

Потом наступила тишина. Молчали оба — и композитор и мальчик. Но мальчик все-таки был мальчиком, и он не мог долго молчать.

— Расскажи, пожалуйста, — попросил он музыканта.

— О чем?

— Все о том же, — сказал тихо мальчик.

И музыкант догадался, о чем просит мальчик, и стал рассказывать о планете, на которой родился и провел свою молодость. Он был хороший музыкант, но рассказчик неважный, часто сбивался, топтался на месте и все повторял одно и то же.

Он родился в лесу под горой, на вершине которой было озеро. Прямо от дверей домика его отца, хранителя заповедника, начиналась тропка. Петляя, она уходила в лес и там терялась.

Но кроме тропки, деревьев и горы с озером на вершине, рассказывал дальше музыкант, было еще нечто иное, называемое необходимостью. Когда будущий музыкант подрос, ему пришлось расстаться с тропой, с речкой, с горой и с озером, которое было на самой верхушке возле синего облака. Быстрая, как молния, машина доставила его в город. В городе тоже было хорошо. Но там не было горы с озером на верхушке. Жизнь отобрала у будущего музыканта эту гору и это озеро. Однако музыкант не отчаивался, он уже догадался тогда, что жизнь состоит не только из приобретений, но и утрат.

— Что же ты приобрел? — спросил мальчик.

— Я приобрел опыт, — ответил музыкант.

— Но ведь ты за него отдал гору с озером.

— Может быть, я когда-нибудь и вернусь к этой горе, — сказал задумчиво композитор.

— Когда?

— Разве я это знаю? Нам еще надо побывать на загадочной планете. Потом много лет займет возвращение на родину. А жизнь коротка...

Музыкант вдруг замолчал, и на его лице появилась тень заботы. На всем корабле это был самый беззаботный человек. Но сейчас он стал похож на других. И мальчик впервые подумал, что расстояние, которое нужно преодолеть кораблю, измеряется не пространством и временем, а жизнью. И это было удивительно... Годы уходят, и если музыканту и удастся увидеть еще раз гору своего детства, то только тогда, когда он

станет дряхлым стариком. А может быть, он и не доживет.

Желая сказать музыканту приятное и облегчить его тоску по озеру на вершине горы, мальчик сказал:

— Если ты не увидишь, то, может, я увижу эту гору. Я передам ей от тебя привет.

Наступила пауза. Неловко почувствовали себя оба — и взрослый и мальчик. Потом мальчик подумал, что музыкант сказал не все. Самого главного он не сказал, и это хорошо. Мальчик знал, что от музыканта ушла любимая женщина, предпочтя ему другого. И если даже она и раскается в своем проступке, дела уже не поправить — композитор теперь слишком далеко от нее и вернется домой стариком.

На корабле был только один очень старый человек. Это был главный техник-вычислитель, специалист, распорядившийся вычислительными машинами. Все знали, что он уже не вернется домой, для этого он был слишком стар. Но он был очень крепкий. И повар-фармацевт, не отличавшийся крепким здоровьем, однажды позавидовал ему и сказал, что этот старик переживет всех, даже мальчика, и если кому суждено вернуться домой, то именно ему.

Мальчик украдкой разглядывал старика. Между ним и стариком было нечто общее. Старик был всех старше, а мальчик всех младше.

Было ли когда-нибудь детство у этого старика? Возможно, и было, не сразу же он состарился. Когда он встречался с мальчиком, он с изумлением спрашивал:

— Откуда ты взялся, мальчик?

Мальчик понимал, что это была шутка. Но стоило ли повторять одно и то же столько раз? И старик смотрел на мальчика, у которого не было прошлого, а у старика его было почти столько, сколько в памяти у машин, хранителей сведений и фактов. Примерно года два назад старик уличил одну машину в неточности, и все долго смеялись и подшучивали, вспоминая этот случай.

Глядя на старика, мальчик слышал прошлое. Прошлое жило в старике, в его глазах, неласково смотревших из-под седых бровей. Оно хранилось в нем, как в памяти машин. Но оно молчало из чувства собственного достоинства. Ведь старик не был памятной маши-

ной, готовой отвечать всем и каждому на любой легкомысленный вопрос. И прошлое в старике было совсем другое, не такое, как в памяти информационных приборов. Машины помнили даты, факты, события и происшествия. А старик помнил среди всех этих фактов и происшествий еще и себя и других.

Странно, что именно о старике мальчик вспомнил в ту самую ночь, когда бездна чуть не поглотила корабль. Но об этом будет дальше, о бездне, о корабле и о мальчике.

— Пока все, — сказал Герман Иванович, не то огорчаясь, не то радуясь, и закрыл тетрадь. — Будем ждать продолжения.

Все молчали. Даже первые ученики и выскочки, любившие задавать вопросы. Только Дровделов не вытерпел и, наклонившись ко мне, сказал:

— Муть. Ну и муть! Даже голова заболела от этой мути. При чем тут старик или это озеро на верхушке горы? Зачем оно там? К чему?

Я тоже чувствовал: рассказу о мальчике чего-то не хватает. Громов увлекся информационными машинами и стариком и ушел в сторону от главного. Нужно будет ему об этом сказать.

5

Конечно, Дровделов был не прав, когда заявил, что рассказ о мальчике — муть и одна скука. Но начало мне понравилось больше, чем продолжение. Я, как и все другие, впрочем, ожидал, что мальчик совершит какой-нибудь героический поступок. А поступка не было. В рассказе все шло слишком обычно и томительно медленно, как перед экзаменами, и только к концу что-то случилось. Но что именно — неизвестно. Выходило, что кое в чем Дровделов прав. И со стороны Громова это была ошибка. Нельзя допускать, чтобы такие, как Дровделов, могли хвастаться своей правотой. Но довольно о Дровделове. Тем более, что он потом отсутствовал целую неделю, уехал с матерью к каким-то родственникам в Лугу.

Громов отмалчивался и на все вопросы о мальчике отвечал кратко:

— Я тут при чем? Не я же летел в этом корабле.

К нему подошел первый ученик Дорофеев и, улыбаясь, спросил, чем, собственно, замечателен мальчик.

Громов ответил:

— Он замечателен тем, что родился в космическом пространстве, где рождаются только звезды. А ты где родился?

— Я родился на Васильевском острове в больнице имени Отто.

— А как ты думаешь, — спросил Громов, — есть какая-нибудь разница между больницей имени Отто и той точкой пространства, где родился мальчик?

Дорофеев пожал плечами и ответил, что большой разницы он не видит. Ответив так, он посмотрел на нас всех свысока.

Громов же никогда ни на кого не глядел свысока, даже когда в газетах писали о находках его отца. Но после того, как перестали писать, Громов немножко сник. И мы тоже стали на него смотреть так, словно между его поведением и судьбой всех находок тянулась какая-то ниточка, и эта ниточка оборвалась. Вообще неясно все это было.

Но с того времени, как он стал писать рассказ о мальчике, эта ниточка вдруг снова появилась. Тоненькая это была ниточка, невидимая, но тем не менее ощущаемая почти всеми. Кое-кому хотелось порвать эту ниточку, особенно Дроводелову. Эта ниточка мешала ему, такой уж он был. Ему все мешало, что можно отрезать или порвать. Однажды он срезал трубку у телефона-автомата и принес в класс. Мы спросили его:

— Тебе что, мешала эта трубка?

— Нет, помогала, — сказал он.

— А сколько людей из-за тебя потеряли время?

— Мне на это наплевать, — сказал он, — время для того и существует, чтобы его теряли.

Возвратившись из Луги, куда он ездил с матерью, Дроводелов опять принялся за свои прежние штучки. Можно было подумать, что рассказ о мальчике нарушил нормальное течение его жизни. Он приходил в класс, садился и, вытянув длинные ноги, просил: пусть ему объяснят, может ли в космическом корабле родиться мальчик и жить так много лет, летя неизвестно куда.

И ему отвечали:

— Как гипотеза это возможно.

— Хорошо, это я еще могу допустить, — соглашался он, — но зачем на корабле философ, старик и композитор? Разве без них нельзя было обойтись?

И мы отвечали:

— Конечно, можно обойтись и без них. Но все-таки с ними лучше. Один писал музыку, другой вспоминал, а третий силой своей мысли боролся с предрассудками и суевериями.

— Отлично, — не успокаивался Дроводелов. — Композитор, философ, старик и еще мальчик, без которого тоже можно вполне обойтись. Но теперь давайте подсчитаем, сколько на корабле ушло энергии, пищи, кислорода, медикаментов и других необходимых вещей. Ведь корабль находился в пути много лет.

— Может, и сейчас находится. Мы же конца еще не знаем...

— Нет, давайте подсчитаем.

И он брал карандаш и бумагу и начинал считать. Разумеется, он ждал, что мы тоже присоединимся. Сам он считал плохо и легко мог ошибиться. Но никто из нас не собирался заниматься такого рода бухгалтерией и считать, сколько мальчик съел, выпил и надышал. Пусть себе ест, пьет и дышит на здоровье. Однако это не давало покоя Дроводелову, и он садился с карандашом, чтобы вести свои подсчеты.

Мы тоже вели подсчеты, но совсем другие. Мы вычисляли, какой величины должен быть корабль, чтобы нести все необходимое для столь длинного пути. То и дело спрашивали Громова, сколько на корабле живых единиц, машин, какой энергией пользовался корабль — фотонной, атомной или связанной с использованием антигравитационных сил? С чем имел дело корабль, с обыкновенным эйнштейновым временем? Или с нуль-пространством, о котором не раз уже писали фантасты?

О нуль-пространстве у нас были большие споры, никто толком не мог понять, что это такое. Первый ученик Дорофеев сказал, что это такое понятие, которое еще пока никому не понятно, кроме самих фантастов. Тогда мы стали приставать к Громову. Он объяснил, что о нуль-пространстве не может быть и

речи, мальчик жил во вполне реальном трехмерном мире и двигался со скоростью, близкой к световой.

Теперь вернемся к ниточке, которую так старался порвать Дроводелов. Мы все чувствовали ее. Какая-то странная связь — не телефонная, не телеграфная, не радио и не квантовая, а чисто психическая, что ли, соединяла нас с мальчиком, который находился не то в прошлом, не то в будущем, где-то в неизвестной точке вселенной.

Где-то я читал, что связь еще недостаточно изучена. Ведь существует, как утверждают некоторые ученые, поле-пси, физическая сущность которого еще не известна. Космический мальчик приобрел реальность и прочно вошел в нашу жизнь. Чтобы понять обстановку, которая окружала мальчика, мы начали следить за новинками науки и техники. Нас всех буквально лихорадило. А Леонид Староверцев завел даже картотеку, записывая на отдельную карточку каждое отдельное событие в науке и технике. Карточки он обычно носил с собой, рассовав по карманам, и, щурясь близорукими глазами, рассматривал их во время уроков. О чем только не говорилось в этих карточках! Там было и про сверхновые звезды, и про нуклеиновые кислоты, и про автоматическую родовую память птиц, и про разумных животных дельфинов, и про язык древнего народа майя, и про общественных насекомых — пчел и муравьев, которые общаются исключительно при помощи ультразвуков.

Староверцев сидел передо мной, и, заглядывая через его плечо, я мог пополнять свои знания.

Однажды я спросил Староверцева:

— А про снежного человека у тебя что-нибудь есть?

— Нет. Эту карточку я пока оставил незаполненной.

— Это почему же? — спросил я.

— Потому что я жду, когда наука решит этот спорный вопрос.

Мне от этих холодных слов стало как-то не по себе. Значит, та карточка, где должно быть записано об открытиях Громова-отца, тоже не заполнена и ждет, когда наука решит спорный вопрос.

Громов аккуратно посещал все уроки. Должно быть, его родители отложили переезд в новый дом на Черную Речку по не зависящим от них обстоятельствам. Может, строители не выполнили обязательства закончить дом к сроку или оказалась слишком неподкладистой комиссия и не захотела принять дом, обнаружив трещину на потолке и забраковав заодно и покраску. У меня лично не было никаких претензий к строителям и комиссии. Мне очень не хотелось расставаться с Громовым и перерезать ниточку.

Громов приходил и уходил. Он сидел на своем месте у окна, и, когда я хотел посмотреть на Громова, я делал вид, что хочу взглянуть в окно. Окно было большое, широкое, светлое, а за окном внизу улица, и деревья, и люди на тротуарах. А напротив окна дом, а там тоже окно, и в окно выглядывает толстая старуха, и ест сливы, и выплевывает косточки прямо из окна на тротуар. Глядя на нее, можно подумать, что она так и живет, ни на минуту не отходя от окна, так часто ее видно.

И, глядя в окно, я думал, что мальчик не имел ни малейшего представления об окнах (какие же окна в наглухо замурованном корабле?), и окна ему заменял экран, но, разумеется, не мог заменить полностью. И я думал также, что окно — прекрасная вещь, стены словно и нет совсем, и видны даль, небо, облака, деревья и старуха, которая ест сливы. И я спросил Староверцева, не написано ли в его карточках что-нибудь об окнах, в каком веке или тысячелетии появилось первое окно.

Староверцева немножко смутил мой вопрос, и он сказал, что на эту тему у него карточка осталась незаполненной.

— Почему? — поинтересовался я.

— Потому что окно — изобретение далеких эпох, — ответил он. — А я заносу в карточки только то, что имеет отношение к будущему.

— А разве в будущем не будет окон?

— Будут, но другие. Скажем, ты увидишь в окно не парикмахерскую и не сапожную мастер-

скую, а кусок вселенной. Вот какие, наверное, будут окна.

Громов прислушался к нашему разговору, но ничего не сказал. По его взгляду я понял, что вопрос об окнах его заинтересовал. Но он не вмешался из деликатности. Ему ведь не надо было рыться в карточках или справочниках, чтобы ответить на вопрос, в каком веке или тысячелетии человек прорубил в стене первое окно. Громов об этом не мог не знать.

Меня очень мучил этот вопрос, но я все-таки воздержался и не задал его Громову. Тоже из деликатности. Некоторых раздражало, что Громов много знает, особенно тех, кто не мог проверить и должен был верить ему на слово. Ребята считали, что Староверцев немножко завидует Громову и хочет его догнать при помощи своих карточек. В квартире у него на всех столах стоят ящики с этими карточками, как у какого-нибудь профессора, который не доверяет энциклопедии и даже своей собственной памяти. Все это так, но пока Староверцеву не удалось не только догнать Громова, но даже приблизиться к нему. Ребята спрашивали у меня и у Власова, есть ли в квартире у Громова ящики с карточками. Но я не видел там ни одной карточки и ни одного ящика, за исключением того, в котором мать Громова выращивает летом цветы. И все невольно пришли к тому выводу, что у Громова необыкновенная память,

В памяти ли тут было дело или в чем-то другом— не знаю. Но когда Громов отвечал на вопросы учителей, с миром происходило что-то необыкновенное, все вокруг менялось, и менялись мы, и даже сам учитель. И всем казалось, что существует не видимый никому провод, который соединяет Громова с Луной, с атомом, с дном океана, с интеллектом муравья или пчел, с самим Наполеоном или Аристотелем. И Аристотель и Наполеон, пчелы и атом, Луна или дно океана как бы общались с нами. Громов у них был доверенным лицом.

Отвечал на вопросы Громов только тогда, когда его спрашивали, никогда не высказывал, не поднимал руку, чтобы отличиться и показать, что он знает больше всех. Учителя тоже отчего-то редко спрашивали Громова, и некоторые его ответы их почему-то смущали, хотя и радовали тоже. И самое необычное и не совсем

ясное было то, что Громов располагал таким же временем, как мы все, и ни от чего, в сущности, не уклонялся: ни от физкультуры, ни от шахмат, ни от других дел. Может, он гораздо меньше спал, чем все мы, и занимался в ночные часы, стараясь как можно больше узнать и запомнить? Не знаю, но очень сомневаюсь. Ведь это не понравилось бы его родителям и отразилось бы на здоровье. Кто-то из одноклассников выдвинул даже такую гипотезу, что мальчик, о котором читали, существует на самом деле и помогает своими советами Громову. Многие стали смеяться над этой гипотезой, а Староверцев спросил:

— Сколько же миллионов лет он существует?

У гипотезы нашлись и защитники. Первый ученик Дорофеев сказал: возможно, отец Громова нашел информационную копию мальчика. О подобных копиях уже не раз писалось в фантастических романах. Коротче говоря, Громов имеет дело не с самим мальчиком, а с его копией. Внутренний мир мальчика был записан с помощью кода, и двойник мальчика находится в квартире Громова, а оригинал давным-давно исчез, подчинившись неизбежному закону разрушения.

Мне эта гипотеза показалась очень наивной. И потом со стороны громовского отца вряд ли было этично утаить информационную копию мальчика от науки и общества только ради школьных успехов своего сына. Это первый довод против. Было много и других. Откуда копия мальчика могла знать, скажем, о Наполеоне и о многом другом, чего могло и не быть на той планете? Разум и логика всячески сопротивлялись, но сильнее их были чувство и желание стать свидетелем и участником необыкновенных событий. Иногда я думал, упрекая себя в непоследовательности: а что, если громовский мальчик все-таки существует? Ну, скажем, не буквально, а только как копия. Предположим. А где же она находится, эта копия? В кабинете отца? Допустим. Ну и что же, она стоит там, эта копия, и время от времени беседует с Громовым на разные научные темы?

Но оторвемся от фантазии и вернемся к действительности. Действительность же была самая обыкновенная. Я заболел ангиной и пролежал несколько дней в постели. Меня навестил Староверцев. Боясь заразить

ся, он сидел в другом углу комнаты, которую мои мать и отец в силу автоматизма по-прежнему называли детской. Сидел и просматривал карточки, а иногда и записывал что-то в них, словно забыв о моем существовании.

— Ты мог этим заняться дома или в библиотеке, — сказал я.

— Если бы я был дома или в библиотеке, я не мог бы сидеть здесь, у тебя.

— Согласен с тобой, — сказал я, — но раз ты сидишь здесь, у меня, то хоть спрячь свои карточки в карман. Можешь ты без них обойтись хоть на минутку?

— Я очень ценю свое время.

— Ну и цени, — сказал я. — Это твое дело.

— Не только мое, но и твое. Я ведь ценю время не для себя, а для других.

— Для других? А не можешь ты немножко конкретнее? Не для Дроводелова же ценишь свое время...

— Для Дроводелова? Нет, — ответил рассеянно Староверцев. — Дроводелов, понимаешь, отрезал и принес в класс...

— Опять телефонную трубку?

— Нет, лисий хвост. Говорит, в Зоологическом саду отрезал у живой лисы. Врет. От хвоста пахнет нафталином...

— И это все новости? — спросил я.

Староверцев почему-то обиделся, покраснел и даже уронил от волнения несколько карточек на пол.

— Меня не надо спрашивать о новостях. Я все это презираю. Презираю!

— Почему же презираешь? За что?

— Презираю! Новости — это сплетни. Это еще академик Вернадский говорил. В его биографии написано.

Тут он совсем обиделся и, не подобрав с пола карточек, ушел. Я не чувствовал себя виноватым.

Я встал и подобрал карточки, которые уронил Староверцев. В одной карточке было написано про Собор Парижской богоматери, в другой про молекулу АТФ и про водородные связи, в третьей — я не поверил своим глазам — про информационную копию мальчика.

Первый ученик Дорофеев оказался прав.

В карточке была ссылка на газетное сообщение о находках археолога Громова и было упомянуто о копии инопланетного мальчика, пролежавшей в земле со времен юрского периода.

Я читал и перечитывал эту карточку, и рука моя дрожала. Потом я лег в постель, зажег свет и опять читал. И два голоса спорили в моем сознании. Один голос говорил, что все это чепуха и что Староверцев со слов Дорофеева нарочно написал это на карточке и бросил здесь, чтобы посмеяться. Но другой голос утверждал, что для Староверцева карточка — слишком священная вещь, чтобы он стал ее портить. Два голоса спорили, а я, как арбитр, слушал их доводы, еще не зная, какому из них отдать предпочтение.

Голоса спорили, приводя сотни доводов «за» и «против». Потом один голос стал побеждать того, который рассуждал здраво и логично, как наш преподаватель математики Марк Семенович. Я сразу же представил себе Марка Семеновича с мелом в одной руке и с мокрой тряпкой в другой, и числа на доске, и его голос всегда с одной и той же сомневающейся интонацией, даже когда не в чем было сомневаться.

Этот голос, голос Марка Семеновича, сидел во мне и рассуждал.

«Предположим, — говорил он, обращаясь ко всем и к каждому, — предположим, что существование копии мальчика не известно, и обозначим ее через *икс*. Тогда спросим себя, зачем игрек, то есть Староверцев, поспешил заполнить карточку, которую столько времени хранил незаполненной? Предположим, что Староверцев...»

Голос с сомневающейся интонацией убеждал меня в том, в чем меня нетрудно было убедить. Староверцев был не из тех, кто стал бы шутить. Значит? Значит, пока я лежал в постели, измеряя температуру и глотая таблетки, в газетах появилось сообщение о копии мальчика.

Я позвал мать, которая была в столовой, и попросил ее, чтобы она принесла газеты.

— Сегодня понедельник, — сказала мать, — газеты не принесли. А во вчерашнюю я завернула обувь, когда носила в починку.

Я набрал номер телефона и, услышав густой и низкий мужской голос, сказал:

— Мне нужно Староверцева.

— Староверцев слушает вас,— ответил голос.

От волнения я даже сразу не сообразил, что это отец Староверцева, и удивился, почему у знакомого школьника такой низкий, незнакомый, густой голос.

— Староверцев слушает вас, — раздраженно повторил голос.

— Мне не вас. А вашего сына.

— Его вчера увезли в больницу, — ответил голос. — Приступ аппендицита.

Он повесил трубку. Я тоже. И наступила тишина.

Все на свете сговорилось, чтобы мешать мне разгадать тайну. Я лежал в постели, глотал таблетки, пил чай с лимоном и ждал врача из районной поликлиники.

Потом пришел врач — старая обиженная женщина и стала упрекать нас за то, что плохо работает лифт. В прошлый раз, когда она поднималась к нам на шестой этаж, дверь лифта коварно захлопнулась за ней и ни за что не хотела открыться; пришлось кричать, чтобы вызвали дежурного ремонтника, и она потеряла, стоя в лифте, сорок минут. Сегодня она, боясь потерять время, поостереглась пользоваться лифтом и поднялась к нам пешком, без всякой техники. Она упрекнула мою мать за лифт и попросила ее принести чайную ложечку, а меня открыть рот. Потом она сказала, что нужно еще полежать по крайней мере два дня, и ушла.

Два дня... Я лежал два дня и думал. Я думал о копии мальчика, которую, если верить карточке Староверцева, нашел отец Громова. Со времен юрского периода, того периода, когда на земле жили ящеры, прошло много миллионов лет. Значит, копия лежала в земле и терпеливо ждала, когда на Земле появятся разумные существа, способные понять ее язык и войти с ней в общение.

Мне захотелось узнать побольше о юрском периоде, и я попросил мать, чтобы она принесла мне учеб-

ник палеонтологии, по которому учился старший брат, когда был студентом. Мать учебника не нашла и принесла мне «Палеонтологию позвоночных».

И тут я узнал о странном факте, который меня прямо потряс. Оказывается, в юрском периоде существовал динозавр, имевший маленькие передние ноги с подчеркнутой хватательной функцией и не имевший зубов. И этот маленький динозавр специализировался на том, что воровал яйца более крупных динозавров.

И автор книги высказывал предположение, что именно от этого ящера с его необычайно подвижной нервной системой произошли млекопитающие, а значит, и люди.

И я подумал, что раз существует информационная копия мальчика, то можно проверить, справедлива ли эта гипотеза. Мне самому она показалась не совсем справедливой.

Через два дня, придя в школу, я решил показать карточку, забытую у меня Староверцевым, самому Громову.

Я чувствовал себя так, словно потерял под ногами почву и летел в пропасть, но я ничего не мог с собой поделать, желание выяснить тайну было сильнее меня.

Выбрав минуту, когда в классе не оказалось Дроводелова, я достал из кармана карточку и молча протянул ее Громову.

Я не сводил глаз с лица Громова, и сердце мое билось, и мне становилось то жарко, то холодно, и я думал, что ко мне вернулась ангина. Такие случаи бывают.

Эта минута показалась мне длиннее часа. Потом Громов отдал мне карточку и спокойно спросил:

— Ну и что? Что тебя тут удивило?

— Как что? — ответил я. — Разве с копией мальчика подтвердилось?

— Подтвердилось.

— Он ссылается на газету. Разве в газетах об этом было?

— Нет. Староверцев узнал от меня. А на газету он сослался для большей убедительности. Ему не хотелось ссылаться на частное лицо. А я — частное лицо.

Наш разговор был прерван звонком. Вошел Марк Семенович, начертил на доске прямоугольный тре-

угольник и голосом с вечно сомневающейся интонацией стал доказывать нам теорему. Стуча мелом о доску, он доказывал так, словно сам не верил своим доказательствам. Конечно, во всем была виновата интонация, которая не соответствовала логическим выводам, вытекавшим из доказательств.

Я совсем выключился и не слушал Марка Семеновича и вместо теоремы думал о динозавре, воровавшем яйца более крупных своих современников. Не может быть, думал я, чтобы от этого воришки произошли все млекопитающие, а значит, и люди; меня вовсе не устраивал такой предок. А установить истину можно только с помощью мальчика, информационная копия которого была найдена отцом Громова.

Только мальчик мог опровергнуть эту сомнительную гипотезу, потому что он побывал на Земле еще в юрский период.

При одной мысли о том, что копия мальчика существует и что подробности я могу узнать от Громова, как только окончится урок, меня охватывал то сильный озноб, то не менее сильный жар. И я подумал, что врачаха, боясь коварных дверей лифта, выписала меня раньше срока. И за это я мог быть ей только благодарен. Я не имел права терять ни одной минуты. А минуты шли, и Марк Семенович все еще продолжал объяснять, удивленно глядя на свой треугольник на доске и как бы сомневаясь в том, в чем уж никак нельзя было сомневаться.

Я подумал, что он сомневается в теореме и в ее доказательствах, разработанных еще Пифагором или Эвклидом, а я сижу и не сомневаюсь в существовании копии мальчика только потому, что верю карточке и Громову.

Потом прозвенел звонок. Марк Семенович стер мокрой тряпкой треугольник и свои доказательства, а затем ушел в учительскую. И я хотел было подойти к Громову, но возле него уже стоял Дроводелов. И стоял он не просто так, как стоят все. В руке у него был листок, весь покрытый мелкими цифрами. Я решил, что это какая-нибудь задача, которую Дроводелов не смог решить, но тут все объяснилось. На листе, который Дроводелов протянул Громову, были произведены расчеты, сколько мальчик съел, выпил и надышал, нахо-

дьясь так долго в пути. Дроводелов протягивал этот листок Громову с таким же видом, с каким, наверное, протягивает счет в ресторане официант, ожидая оплаты.

Громов сделал жест рукой, как бы показывая, что он не хочет брать этот счет. Но Дроводелов настаивал, чего-то требовал и не отставал.

Я догадался, что в этот злополучный день мне не удастся поговорить с Громовым. Дроводелов от него не отступится.

Возвращаясь домой, я думал о той ниточке, которая соединяла млекопитающих с ящерами через того динозавра, у которого передние ноги обладали хватательной функцией. И если бы этот динозавр от чего-нибудь погиб, то на Земле не появились бы млекопитающие и в том числе даже я сам.

Я думал об этом. И опять два голоса в моем сознании спорили между собой. Один голос был согласен с гипотезой о происхождении млекопитающих, а другой ему возражал.

Когда я вошел в парадное и хотел вызвать лифт, оказалось, что лифт испорчен. Сигнальный фонарик не зажегся. Я поднялся на второй этаж и попытался открыть дверцу, но она не открылась. А внутри лифта кто-то сидел и ждал помощи.

— Кто там? — спросил я.

— Я, — ответил обиженный женский голос. И по голосу я сразу узнал районного врача.

— Мы ведь больше не вызывали, — сказал я ей. — Я выздоровел.

— Я шла не к вам, а на четвертый этаж. По срочному вызову к Новотеловым.

— Ладно, — сказал я, — немножко потерпите. Я сейчас поднимусь к себе, и мы вызовем ремонтника.

И я стал быстро-быстро подниматься по лестнице, уже не думая ни о мальчике, ни о динозаврах. Я думал о том, почему лифт действует исправно, когда поднимаюсь я, моя мать и все жильцы и их знакомые, но стоит туда войти врачу, как лифт принимается за свои подлые штучки. Я думал об этом, и о теории вероятностей, и о теории игр. И потом снова вспомнил про мальчика.

Дровделову все-таки удалось всучить свой счет. Войдя в класс, я застал Громова с этой позорной бумажкой в руке. А Дровделов стоял рядом и ухмылялся. Опять пришлось отложить разговор. Но потом Дровделов со своей бумажкой ушел, и я приблизился к Громову.

— А нельзя ли, — спросил я, — повидаться с копией мальчика? Мне нужно выяснить один вопрос.

Вся эта фраза прозвучала очень глупо и дико. Она была по-дурацки выдернута из того контекста, который протекал в моей душе.

— А что это за вопрос? — спросил Громов спокойно и как бы даже безучастно.

И я рассказал о динозавре, и его передних конечностях с хватательной функцией, и о млекопитающих, которым вряд ли могла понравиться гипотеза, связывающая их происхождение с этим сомнительным животным.

— И что же, — спросил Громов, — ты хочешь задать этот вопрос копии мальчика?

— Хочу, — ответил я.

— Тогда тебе придется немножко обождать.

— Почему?

— Потому что ты не один хочешь задать вопрос. Это во-первых. А во-вторых, мой отец и его сотрудники уже давно бьются над тем, чтобы дешифровать код и понять язык, на котором думал и разговаривал мальчик.

Но тут наша беседа опять прервалась. Начался урок. Я ждал перемены, а урок тянулся и тянулся... Наконец прозвенел звонок, и я спросил Громова:

— А нельзя ли все-таки с ним повидаться?

— С кем?

— С копией.

— Это невозможно. Она находится в Институте археологии, и доступ туда запрещен всем, за исключением сотрудников лаборатории.

— А ты сам ее видел?

— Разреши оставить твой вопрос без ответа.

Я обиделся — как в тот раз, когда он намекнул насчет ремонта. В его словах сквозило явное недоверие.

По выражению моего лица Громов догадался, что я обижен. Ему, по-видимому, стало неловко, и он спросил:

— Что же ты не заходишь?

— Но у вас в квартире ремонт...

— Ремонт давно кончился. Заходи хотя бы завтра вечером. Я буду дома.

Он что-то еще хотел сказать, но не успел. В класс вошла преподавательница истории. Она стала работать в нашей школе совсем недавно, никого из нас еще не помнила по фамилии и даже не подозревала, что Громов много знает.

Раскрыв классный журнал, она вызвала первую попавшуюся фамилию:

— Громов!

Громов встал, и она задала ему вопрос о первобытном обществе и о чем-то еще более древнем.

Я смотрел на ее лицо, пока Громов отвечал. Выражение ее лица все время менялось, и на лице можно было увидеть целую гамму чувств и переживаний.

А Громов отвечал, как только он один умел отвечать во всей школе, а может, и на всем Васильевском острове. И казалось нам, отвечает не он, а те люди, которые жили в древнюю эпоху, отвечает сама древняя эпоха, все факты и события, сами, не очень громким размышляющим голосом Громова.

И я подумал, что, наверное, так же спокойно и задумчиво будет отвечать мальчик через свою копию, когда дешифруют его язык.

Я не знаю, о чем думала преподавательница, слушая, как отвечает на ее вопросы Громов. Сама она молчала, зато безмолвно, сменой выражений, говорило ее лицо.

Потом Громов сел, а учительница встала. По-видимому, она так растерялась, что забыла его фамилию.

— Молниев? — обмолвилась она. Никто из класса не рассмеялся, даже Дроводелов. Такой напряженной была эта минута.

— Нет, я не Молниев, а Громов, — спокойно сказал Громов.

— Благодарю, — сказала учительница. Она почему-то сказала это очень тихо, так тихо, что слышали не все.

А потом она целую минуту молчала, пока на лице ее не появилось то же самое выражение, с которым она вошла в класс. По-видимому, усилием воли она заставила себя успокоиться и снова обрести обычное состояние, с которым учителю легче продолжать урок.

Спрашивать она больше никого не стала. А стала рассказывать сама, спокойно, буднично, как и полагалось.

Рассказывала она о далеком прошлом. Но это было совсем другое прошлое, не то, о котором нам сообщил Громов. В чем тут дело? Я не могу объяснить. Тому прошлому, о котором она рассказывала, не было никакого дела до нас. И я подумал, что и нам тоже нет до него никакого дела. Но учительница думала иначе, чем я. Она рассказывала страшно спокойно, как в учебнике, и даже еще спокойнее и очень методично, как, наверное, ее учили вести урок, чтобы мы могли его лучше усвоить.

Громов же сидел у окна и, казалось, внимательно слушал. А в окно мне были видны небо и облака, а Громов, наверное, видел и прохожих на тротуаре, а также старуху, евшую сливы и выплевывавшую косточки. Я думал, что в прошлом, о котором рассказывала новая учительница, не было ни того окна, ни тротуара с прохожими, ни этой старухи, евшей то вишни, то яблоки, а то целкавшей утюгом орехи на подоконнике. И оттого, что всего этого не было в прошлом, прошлое становилось еще более странным, и неудобным, и не совсем убедительным, таким, какое оно было в рассказе учительницы.

9

Вот она, эта дверь, обитая сукном, с синим ящиком для газет и писем.

Я звоню. Долго не открывают. Может, никого нет дома?

Я еще раз звоню. Открывает сам Громов, не отец, конечно, а сын.

— Проходи, — говорит он и ведет меня в переднюю.
— Я у вас давно не был, — говорю я. — А родители дома?

— Мать дома, отец в институте. А почему это тебя так интересует?

— Да нет, я это так просто. А божок с обсидиановыми глазами все еще висит?

— Висит. Сейчас ты его увидишь, вот вешай пальто сюда. Староверцева видел?

— Откуда? У него аппендицит на днях вырезали.

— Не аппендицит, а аппендикс. Он сейчас уже правляется и карточки заполняет. Прислал мне вопросник... А ты что остановился? Проходи.

Мы прошли в бывшую детскую, где жил Громов. Прошли через столовую, и я увидел прозрачные глаза деревянного божка и его узкую фигурку с тоненькими ручками и слегка поджатыми ножками.

— Ну, а что за вопросник? — спросил я.

— Чудак он, этот Староверцев. Задает вопросы, на которые мог бы ответить только мальчик или его копия. А главное, требует, чтобы я ответил сейчас же и письменно, пока он еще не ходит в школу.

— И ты ответишь?

Громов удивленно посмотрел на меня и ничего не сказал.

Тогда я спросил:

— У тебя есть продолжение про мальчика?

— Есть где-то, если не потерялась тетрадка. У нас ремонт был. А что?

— Почитай.

— Нет, — сказал Громов, — не хочется. Извини, настроения нет. И потом я не люблю читать вслух.

— Да нет, почитай! — стал просить я. — Почитай, пожалуйста...

Мне стало противно от своих слов и от голоса, которым я просил, словно просил не я, а Дроводелов, но я все-таки продолжал канючить. Очень уж хотелось мне послушать про мальчика еще до того, как дешифруют его код. Ведь это будет не скоро.

— Почитай, что тебе стоит, ну, почитай...

— Нет, — сказал решительно Громов. — Читать я не буду. А если хочешь, включу проигрыватель, и мы

послушаем мелодию, которую сочинил композитор, который... У отца в кабинете есть запись. Только смотри, об этом никому...

Он пошел в кабинет и скоро вернулся, бережно держа пластинку, а потом включил проигрыватель, чтобы я мог послушать мелодию, которую сочинил один композитор за много миллионов лет до того, как разум и человеческое ухо появились на Земле.

Я слушал, и звуки лились, тонкие и светлые. Это билось где-то друг о друга льдинки, это пела вода, то журча, то гремя, то налетая на камни. Это по-человечьи билось нечеловеческое сердце музыканта, который вопреки законам времени и пространства сейчас, казалось, был рядом с нами.

Звуки лились, объединяя необъединимое, они были тут, хотя породившая их мечта была неизмеримо далека от нас.

Мальчиком называл в своем рассказе Громов того, кто сумел оказаться рядом с нами. Он и был мальчик, наполненный детством, хотя это детство продолжалось миллионы лет и до сих пор не кончилось.

Мальчиком называли его на корабле. И он тоже так называл себя.

И мы с Громовым тоже пока были еще мальчиками, но наше детство должно было скоро кончиться. Его же детство длилось и длилось, сливаясь со звуками мелодии, которую я сейчас слушал.

Когда мелодия кончилась, я спросил о том, о чем, может быть, не следовало спрашивать:

— Что же, эту запись отец нашел вместе с информационной копией?

— Да нет, откуда ты это взял? Один отцовский приятель сочинил. Член Союза композиторов. По моей просьбе.

Я глядел на Громова, и, должно быть, лицо мое менялось, как у нашей новой преподавательницы истории. И Громову, должно быть, стало жалко меня и досадно за свои слова, и он спросил:

— А тебе, видно, хотелось, чтобы это тот музыкант написал, который дружил с мальчиком?

— Хотелось бы, — ответил я тихо.

— Но музыка же хорошая. Она тебе понравилась!

— Да. Но она понравилась бы мне больше, если бы ее сочинил тот и тогда...

— Когда еще не было разума и человеческого уха? — спросил Громов.

— Да.

— А ты представляешь себе, какой была тогда Земля?

— Раньше не представлял. А сейчас представил, когда слушал эту мелодию. А ты представляешь?

— Зачем мне представлять? — сказал тихо Громов. — Я не только представляю, но и знаю.

— Откуда?

— Разреши мне не отвечать на твой вопрос.

10

И я разрешил. Разрешил ему не отвечать на мой вопрос.

Я просто ушел. Надел пальто в передней и ушел. Не мог я больше канючить, выпрашивать, подлизываться.

Но, наверное, не всякий бы ушел на моем месте, так и не узнав истины. Какой-нибудь исследователь и крупный ученый ради науки плюнул бы на свое самолюбие и остался.

А я ушел. Правда, мне от этого было не легче. Я почти не спал ночь.

На другой день в классе случилось неприятное дело. Не знаю, почему я назвал это дело неприятным. Впрочем, пускай. Вот что случилось.

Пришел новый, очень молодой преподаватель биологии вместо старого, который ушел на пенсию. При старом бы все сошло. Того ничем нельзя было удивить.

Этот новый задал Громову вопрос. И Громов, разумеется, ответил. Дело, конечно, не в том, что Громов ответил не по программе. Дело в том, что Громов знал, чего не знал и не мог знать никто. И новый преподаватель все это понял. Я увидел это по его глазам. Таких глаз я не видел нигде, ни в кино, ни в театре. Казалось, на лице у него ничего не осталось, кроме этих глаз. А в глазах было все: восторг и ужас, недоумение

и гнев, отчаяние и радость и еще что-то, чего мне не передать с помощью слов.

Я подумал, что он заболел или помешался. Он стал ходить по классу из угла в угол, словно забыв о нас.

Минут пять прошло, а он все ходит и ходит.

Потом он подошел к Громову.

Он сказал что-то, но так тихо и невнятно, что я не расслышал. Только по ответу Громова я догадался, о чем идет речь.

Речь шла о животных, вымерших миллионы лет назад. И дело не в том, что Громов рассказал о них обстоятельно, живо и слишком конкретно. У него вырвалось словечко, которое ему ни в коем случае не следовало произносить, если уж он хотел все сохранить в тайне. Когда учитель ему возразил, он сказал:

— Вы знаете это из курса палеонтологии, а я помню...

И он стал выкладывать одну подробность за другой. Он словно решил на все наплевать — на тайну, на учителя, на первых учеников, и он опять употребил это выражение: «я помню»... Учитель прямо остолбенел, не в силах ни слова вымолвить.

Мне стало жалко учителя, а еще больше самого Громова. И я крикнул:

— Да он просто оговорился!

Учитель ухватился за мои слова, как хватается за соломинку. И ему кое-как удалось завершить урок. Громов тоже успокоился.

Я был чертовски рад, что своей находчивостью дал им выйти из трудного положения.

Но тут выскочил Дроводелов. Лицо его ухмылялось.

— Платон! — крикнул он на весь класс. — Платон, ты мне друг, но истина мне дороже!

11

Я очень сердился на Дроводелова за его выходку. И ребята сердились. Но истина, конечно, была не виновата.

А новый преподаватель заболел. Подцепил где-то воспаление легких. И говорят, из куйбышевской больницы прислал Громову письмо. Содержание письма ни-

кому в классе было не известно, даже Дроводелову. Но конверт видел на столе у Громова Староверцев. И по обратному адресу догадался, кто и откуда писал Громову.

Я почему-то предполагаю, что учитель объяснял Громову свое состояние и почему он так волновался на уроке. А это вовсе не надо было объяснять. Не знаю, было ли в письме что-нибудь об истине.

А я думал о ней всякий раз, когда видел Громова. Потом Громов вдруг тоже перестал ходить.

Прошел слух, что он переезжает, и не на Черную Речку, а в академический городок под Новосибирском. Только что прошли выборы в Академию наук, и его отца выбрали членом-корреспондентом в Сибирский филиал академии. А раз выбрали, то хочешь или не хочешь, ехать надо. Так мне объяснил один ученик, у которого отца тоже выдвигали в члены-корреспонденты, но не выбрали.

Вот тут я снова вспомнил об истине. Я понял, что Громов скоро уедет, а Новосибирск далеко, и мне так и не удастся ничего узнать о мальчике, пока не появится о нем что-нибудь в газетах. Мне необходимо было повидаться с Громовым еще до его отъезда. Я все ждал, что он появится в классе, но он не появлялся. Может быть, он уже оформил свои документы в школе и ждал, когда отец сдаст дела.

Новый учитель биологии поправился и выписался из больницы. Держался он в классе как-то нервно, смущенно и время от времени бросал свой взгляд на пустое место возле окна, где раньше сидел Громов. И тогда в его глазах появлялось странное выражение, словно он там видел то, чего не видели другие.

Я тоже смотрел туда и видел там пустое место и окно. А за окном была улица с пешеходами на тротуарах и окно напротив, возле которого сидела толстая старуха, евшая яблоки или щелкавшая утюгом орехи на подоконнике.

Но учитель видел там другое, об этом говорили его глаза. Может быть, его глазам представлялась живая и впечатляющая картина древней Земли, Земли еще до человека и до млекопитающих, о которой рассказывал тогда Громов.

Когда я возвращался домой, позади меня застучали каблуки, и я догадался, что кто-то меня догоняет. Я оглянулся. Это был новый учитель.

Он нагнал меня и некоторое время шел со мной рядом. Мы оба молчали. Потом учитель спросил:

— Что вы думаете о Громе?

— Громов переезжает в Новосибирск, — сказал я. — Он будет жить в академическом городке. Там есть школа для талантливых математиков и физиков. Он, наверное, туда поступит.

— А вы думаете, ему нужна эта школа?

— Туда все стремятся попасть, — ответил я, — но не всех принимают. Только талантливых. Уж кого-кого, а Громова примут сразу.

— Я тоже не сомневаюсь, что его примут, — сказал учитель. — Но я сомневаюсь, нужна ли ему средняя школа. Он слишком много знает.

— Да, — согласился я. — Он знает много, слишком много даже для самого хорошего ученика.

Лицо учителя оживилось. И он наклонился и доверительным тоном спросил меня:

— А откуда он все это знает?

— Очень просто, — ответил я, — у его отца хорошая библиотека.

— Вы думаете? — сказал учитель. По его голосу я догадался, что он остался не совсем доволен моим ответом. Но что он думал, когда задавал этот вопрос? Может, он думал, что я выложу ему все, что знаю и предполагаю про мальчика? Слишком уж он много хочет.

Учитель сделал еще несколько неровных шагов, потом сказал:

— Всего хорошего.

И свернул на Пятую линию.

Я мысленно похвалил себя за то, что не ответил на его вопрос. Потом подумал: а что я мог, собственно говоря, ему ответить? Ведь я тоже не знал, откуда Громов черпает свои познания.

Придя домой, я взял с полки подаренную мне на день рождения книжку и стал читать. Книжка называлась «Хочу все знать». Название мне понравилось, хотя и показалось немножко неточным. Разве можно знать все? Нет, все, наверное, знать нельзя. А так,

в общем, книжка была ничего. Познавательная. Вроде тех карточек, которые заполнял Староверцев.

Прочитал я немножко, потом скучно стало. Я подошел к окну и посмотрел. Падал снег. От снега улица стала новенькой, свежей, словно только что возникла. И неизвестно почему, мне стало вдруг хорошо, хотя я жил не в летящем куда-то космическом корабле, а в самом обыкновенном, давно не отремонтированном доме. И дому ничего не угрожало. Ни случайная встреча с метеоритом, ни другие опасности такого рода. Он не мог сбиться с трассы и заблудиться в бесконечной вселенной. Все было очень обыкновенно. Внизу на той стороне я видел булочную со старинной вывеской, на которой нарисован вкусный крендель, и пошивочную мастерскую с восковым гражданином в мешковато сшитом костюме в витрине, и телефонную будку, ту самую, где Дровделов отрезал трубку. Мне стало как-то уютно и радостно, словно завтра начнется праздник и будет длиться долго-долго. Но затем мой взгляд упал на подъезд того дома, где жил Громов. Радость и уют сдуло как ветром. И хотя это было обычное парадное в обычном жактовском доме, мне казалось, что за дверью начинается другой мир, мир, полный неожиданностей и тайн. И я стоял у окна и думал, какой из этих миров лучше: этот, с булочной и пошивочной мастерской и телефонной будкой, или тот, где вместо пошивочной и телефона-автомата летают метеориты?

И тут я вспомнил мальчика. Ведь он был лишен выбора. За него все выбрала судьба. Он родился на корабле в пути. А потом все летел и летел. А за стеной того отсека, где спал мальчик, была не пошивочная мастерская, а ничто, именуемое вакуумом.

Мне стало как-то неловко, словно я поделился своими мыслями с целым залом слушателей. Затем я стал надевать пальто. И ровно через минуту я стоял уже у тех самых дверей.

Я стоял, все не решаясь поднести палец к кнопке звонка. В тот момент, когда я решился, дверь сама отворилась. Вышел отец Громова. Он куда-то уходил и был в пальто.

— Дома, — сказал он мне. — Заходите.

И я сделал шаг. В то мгновение, когда я делал этот шаг, я не подозревал о последствиях.

Громов мне как будто даже обрадовался.

— Заходи, — сказал он. — Раздевайся. У нас уже и вещи связаны.

Зачем он добавил о вещах, которые были действительно связаны, не знаю.

Когда мы проходили через столовую, я взглянул на стену. Но божка там уже не было. Он лежал на полу рядом с чемоданом, поджав свои узкие деревянные ножки.

Тогда я вдруг осознал, что Громовы переезжают. До того момента, когда я увидел божка на полу рядом с чемоданом, я еще сомневался.

Когда мы пришли в детскую и сели, Громов спросил:

— Ты так или по делу?

— По делу, — сказал я.

Громов сразу же замолчал. Я тоже не решался сказать, по какому делу пришел.

— И черепа тоже везете? — спросил я.

— Везем.

— И божка?

— Божка тоже.

— А мальчика?

Это слово само вырвалось у меня почти невзначай. Я бы много дал, чтобы вернуть его назад. Лицо у Громова сразу изменилось. Его словно что-то отодвинуло от меня. И казалось, я его вижу не в комнате перед собой, а на экране телевизора.

— А зачем тебе мальчик? — тихо спросил Громов.

— Я ему вопрос хочу задать.

— Так задавай, — так же тихо сказал Громов. — Я отвечу.

— Я хочу, чтобы сам мальчик ответил.

— Я и есть мальчик.

— Ты?

— Да, я. Разве ты об этом не догадался?

Я ничего не сказал. Меня бросало то в озноб, то в жар. На лбу выступил пот.

— Ну, что же ты не задаешь вопросы?

— Я лучше потом, — сказал я.

— Когда же потом?

— В следующий раз.

— Мы завтра уезжаем в Новосибирск.

- Когда?
- В девять вечера.
- Тогда я после обеда забегу, можно?
- Забегай.

Но я, конечно, не забежал к нему после обеда. Почему? Я сам не знаю. Может быть, потому, что я не знал, о чем его спрашивать. Не мог же я спрашивать про динозавра с хватательной функцией в передних ногах, который воровал яйца у своих соседей. Это было бы слишком мелко. А более крупных вопросов у меня в сознании, к сожалению, не возникло. Слишком уж я волновался.

12

Я долго переживал и волновался. Дней пять или шесть. А потом перестал переживать и больше уже не волновался. И как только перестал волноваться, в моей голове появилось множество вопросов, которые следовало бы задать мальчику, то есть Громову. Но Громов был уже далеко, в академическом городке под Новосибирском. А в их квартиру въехала какая-то чужая семья. Я видел, как подъехала трехтонка с вещами. Но то были обыкновенные вещи, столы, кровати, стулья, диваны. И конечно, среди этих вещей не могло быть деревянного божка с поджатыми ножками и нумерованных черепов. Я смотрел, как носили эти вещи, и сердце мое сжималось от тоски. И я думал: вот была в доме напротив необыкновенная квартира, и в ней жил Громов, а сейчас туда въехала незнакомая семья, и это уже необратимый процесс, как любит говорить наш учитель физики Дмитрий Спиридонович.

Вообще настроение у меня было плохое в эти дни, и ребята это заметили сразу.

— Что нос-то повесил? — спросили меня.

— Громов уехал, — сказал я.

— Ну и что? Подумаешь! Вместо него другой уже сидит ученик. Новый. Он тоже, кажется, много знает. Приехал из Горького. Говорит на трех языках.

И действительно, на том месте у окна сидел новичок, издали он даже был чем-то похож на Громова.

Такое же задумчивое выражение лица. И волосы жесткие, прямые, ежиком.

И как Громов, он то и дело смотрел в окно. Потом сделал кому-то гримасу и показал язык. И я подумал, что он это, наверное, старухе в доме напротив, которая ела яблоки или щелкала утюгом орехи. Громов этого себе никогда не позволял. Он ко всем относился с уважением, и к этой старухе тоже.

Да, неважное было у меня настроение. А тут еще стали тревожить меня вопросы, которые я не успел задать Громову.

Уроки тянулись долго. А когда я возвращался домой, я увидел рядом с собой того, новенького, который сидел на месте Громова.

— Ты далеко живешь? — спросил он меня.

Я назвал улицу и номер дома. Он удивился.

— Значит, ты живешь напротив, — сказал он.

И я догадался, что это он поселился в квартире Громова. Это их вещи привезла трехтонка. Я смотрел на него и никак не мог сообразить, как к нему относиться: хорошо или плохо? Два голоса спорили во мне. Один голос говорил: он же не виноват, что сел на место Громова у окна и поселился в его квартире. И Громов все равно уехал бы в академический городок под Новосибирском, раз его отца выбрали в члены-корреспонденты. А другой голос возражал: разумеется, он не виноват. Но все равно что-то в нем есть. И, наверное, задается.

И я решил задать ему, этому новичку, вопрос, один из тех, которые хотел задать Громову.

— Почему, — спросил я его, — существует мир?

— Потому что существует, — ответил он.

— А что было бы, — спросил я, — если бы мира не было?

— Не было бы и нас, — ответил он.

— Ну, это не ответ, — сказал я.

— А почему ты об этом спрашиваешь? — спросил он.

— Потому что хочу знать.

— Мало ли что ты хочешь.

— А почему я должен хотеть мало? Я хочу много.

— Но ты задаешь глупые вопросы.

— Все они не глупые. Ты ничего не понимаешь.

- Глупые. А главное, неконкретные: Разве можно спрашивать о том, почему существует мир?
- Можно.
- Нет, нельзя.
- Громов так бы не сказал.
- Громов? Это тот, что жил в нашей квартире?
- Не он в вашей, а вы живете в его квартире.
- Мы въехали по ордеру. А он выбыл.
- Не выбыл, а уехал в Новосибирск.
- Ну, уехал. Это все равно. А ты в пинг-понг играешь?
- Играю.
- Так заходи. После обеда заходи. У нас есть. Сыграем.
- Может, и приду, — сказал я. — А как тебя зовут?
- Игорь, — ответил он важно. — Игорь Динаев.
- Два голоса спорили во мне: идти или не идти? И все-таки я пошел. Больше из любопытства.
- В столовой вместо божка с поджатыми ножками уже висела картина. Квартиру я не узнал. Везде мебель, вся новенькая, как в мебельном магазине. А ведь когда Громовы там жили, квартира походила чем-то на отсек космического корабля. Вещей почти не было. А сейчас от мебели и от картины, на которой была изображена купальщица, трогаящая воду в реке длинной ногой, мне как-то стало не по себе. И даже в пинг-понг расхотелось играть. Почему-то захотелось пить. Но я вспомнил про пустыни и как там люди мужественно преодолевают жажду. И я тоже превозмог.
- Что ты молчишь? — спросил Игорь.
- Думаю, — ответил я.
- А о чем ты думаешь?
- Мало ли о чем я могу думать!
- Ну, а все-таки? — спросил он.
- Я думаю о пустыне Гоби.
- А ты там бывал?
- Нет, не бывал.
- А почему же ты тогда о ней думаешь?
- Я всегда думаю о тех местах, где не бывал.
- Значит, ты псих. У вас все в классе какие-то не такие. Я сразу заметил. А кто тот парень, про которого у вас все так много говорят?

— Громов.

— А что в нем особенного? Почему про него так много говорят?

Я взглянул на картину, на которой была изображена купальщица, и на новую мебель. Потом сказал:

— У них не было столько мебели.

— У кого?

— У Громовых.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Ничего.

Я нарочно заговорил о другом. Не хотелось мне с ним говорить о Громе, да еще в этой самой квартире.

Потом я встал.

— Ну, пока. Уроки учить надо. Сегодня много задано.

А задано было совсем немного.

Что еще осталось мне сказать? Почти ничего. Без Громова в классе все стало очень обыкновенным. Все к этому скоро привыкли. И постепенно стали забывать о Громе. И даже я редко о нем думал. Слишком задавать стали много. Свободного времени совсем мало оставалось. Но я все-таки старался пополнять свои знания. Читал разные книжки, в том числе ту, которая называется «Хочу все знать».

И голос (один из двух спорящих во мне голосов) говорил, что всего знать нельзя. А второй возражал, напоминая о Громе, и утверждал, что можно.

Из академического городка под Новосибирском не было никаких известий. Я уже стал думать, что Громов просто шутил, когда сказал мне перед отъездом, что он и есть тот самый мальчик.

Но вот что случилось в субботу после занятий. Я ехал в трамвае с матерью. Ехали мы на Черную Речку к знакомым поздравить их с новосельем. И у матери на коленях в белом футляре лежал огромный торт, купленный в кондитерской «Север». Все было, как обычно бывает в трамвае. Одни люди стояли, держась за ремни, другие сидели. И один из них читал газету. Я заглянул ему через плечо и посмотрел на третью полосу, и буквы стали прыгать, словно я глядел на них через отцовские очки. Но я успел прочесть:

«Найденные профессором Грозовым информационные копии пришельцев, посетивших Землю в юрский период, изучаются... Исследовать возможности восприятия человеком психологии и знаний инопланетного мальчика помогал коллективу пятнадцатилетний сын ученого... Резервы памяти оказались огромны...»

Слова прыгали. И мне стало холодно, и сразу же жарко, и снова холодно.

— Что с тобой? — спросила мать.

Я не успел ответить и бросился бежать за гражданином, который встал с места и быстро пошел к дверям.

— Газету! — кричал я на весь трамвай. — Дайте, пожалуйста, газету!

НЕОБЫЧАЙНАЯ ИСТОРИЯ



1

— Кто? — спросил я его.
Он ответил с легкой грустью
в голосе:

— Разве я знаю, кто я? Я слишком похож на тебя, чтобы настаивать на самостоятельном значении своего личного «я». Я еще не знаю, кто я. Но надеюсь, скоро буду знать. А кто ты?

— Джек Питерс. Твой создатель.

— Бог?

— Откуда тебе известно о боге? Бога нет. И кроме того, разве я похож на бога?

— А кто же ты? — допытывался он.

— Твой создатель.

— Отец?

В его голосе прозвучал оттенок неуверенности.

— В прямом смысле, нет. В переносном — да. Ты не рожден. Ты создан, как создаются...

Я не нашел в себе сил, чтобы закончить начатую фразу. Ведь я хотел ему сказать: «Ты создан, как создаются вещи». Мне стало жалко его. Он был так обидчив, так самолюбив.

— Отец, — сказал он ласково. — Отец, — повторил он это так странно звучащее в его устах слово. — Отец...

Самой интонацией, модуляцией своего голоса он вложил в это слово столько непосредственного и глубокого чувства, что мне стало не по себе.

— Суди сам, как я могу быть твоим отцом? — сказал я. — Ты выглядишь моим ровесником.

— Брат? — спросил он.

— Нет, — ответил я.

— А кто?

Я оставил его вопрос без ответа. Не мог же я ему сказать, что я конструктор, изобретатель, изобретший его.

— Приятель, друг? — спросил он.

— Возможно, когда-нибудь мы станем друзьями, — сказал я.

Но возможно ли это, в самом деле? Я все еще смотрел на него, как на вещь, правда, разумную вещь, но все же вещь.

— Не довольно ли на сегодня? Ты, наверное, устал? Отдохни. Осмотрись. Завтра я приду к тебе.

Он, по-видимому, не хотел, чтобы я уходил от него. Ему претило одиночество.

— Отец! — звал он меня. — Отец...

2

Я обучал его видеть мир. Мне хотелось добиться, чтобы он видел вещи более остро и свежо, чем видят обыкновенные люди, чуточку утомленные тем, что окружает их с детства.

У него не было ни детства, ни юности. Он сразу стал взрослым.

Я клал на стол яблоко.

— Что это за предмет? — спрашивал я его.

Он ответил, как ответил бы Сезанн, Петров-Водкин или великие фламандцы, если бы они могли вложить в слова всю объемную мощь, силу и мудрость своего живописного видения. Он рассказывал мне о том, что открывал его глаз, погружаясь в яблоко, в его мягкую округлость, в его свежесть и аромат.

Обучая его, я обучался и сам.

— Отец... — Он все-таки называл меня так. — Отец, не находишь ли ты, что природа мудра и искусна.

Я не поправлял его, не говорил ему, что я не отец. Я объяснял.

— Яблоко создано не только природой, но и садовником. Садовник затратил не меньше усилий, чем природа.

Он слушал. Слушал не без удовольствия. Ведь он сам-то не имел никакого отношения к природе.

Я учил его слушать и учился сам. Шепот дождевых капель, падающих в траву. Музыкальное биение весеннего ручья, ломающего звенящие льдинки. Голос кукушки, сливающей протяжные тающие звуки с зарей. Свист иволги. Рокот и стон рояля... Он вбирал в себя мир и впитывал все, что его окружало.

— Учитель, — спрашивал он, — скажи, а что такое человек? Почему он появился на Земле? Откуда пришел и куда идет?

— Ты сам должен ответить на эти вопросы. Учись думать...

Многие его вопросы ставили меня в тупик. Я был всего-навсего инженером-биологом, создателем думающих объектов, а он задавал такие вопросы, на которые мог бы ответить только философ.

Помню, как я принес ему знаменитый роман Александра Дюма «Три мушкетера».

Он начал читать с конца. Я подумал, что это объясняется крайней его рассеянностью. Но я ошибся.

— Я читаю с конца, — сказал он, — потому что в конце ищу начало.

— Не проще ли, — спросил я, — искать начало на первой странице книги?

Ответил он не сразу.

— А что такое начало, учитель, и что такое конец? Разве каждая вещь не бесконечна?

Я растерялся еще больше. Уж не шутит ли он, не смеется ли надо мной? Он был всегда так логичен, так строг и точен в обращении со словом.

— Ладно, — сказал я. — Оставим эту тему на будущее. Твой разум еще не настолько окреп, чтобы мы могли вести споры на столь отвлеченную тему. Как спал?

— Спал, как всегда, крепко.

— Какие видел сны?



— Видел во сне свое прошлое.

— У тебя нет прошлого, дорогой. Я же от тебя никогда этого не скрывал. Ты возник в тот день, в тот час, который был обозначен в графике работы моей лаборатории.

— Нет, у меня есть прошлое, — настаивал он. — Я его вижу во сне.

— Что же ты видишь? — спросил я. — Будь добр, расскажи.

— Мне снится, — сказал он, мечтательно глядя вдаль, — река, на берегу которой я провел свое детство. Тропа снится. Она теряется в лесу. Мои братишки и сестренки играли со мной в жмурки. Я помню, как мне завязали глаза платком. Мир вдруг исчез. Из темноты слышались веселые смеющиеся голоса. Я кружился на месте, протягивая руки, чтобы кого-нибудь схватить. Потом я сорвал платок с глаз. Солнце ослепило меня. Чудесный мир открылся. Гора. Прозрачная синь лесной речки. Птичьи голоса... Это было у меня, правда? Что ты молчишь? Не отбирай этого у меня.

3

В этот раз он был чем-то возбужден.

— Отец, — спросил он, — к тебе часто возвращается прошлое?

— Прошлое не может возвращаться... Время необратимо.

— Ты не понял меня, учитель. Я говорю о воспоминаниях. Вчера меня весь вечер томили воспоминания. В юношеские годы, когда я был студентом, я встретил девушку. Ее звали Мери... Мери Остен. Какой чудесный голос у нее был! Она пела... Мы встречались с ней в большом саду. Иногда она опаздывала. Ты понимаешь, учитель, как билось в эти мгновения сердце? Она появлялась вдруг, как из небытия, всегда с той стороны, откуда я ее не ждал. Но однажды она не пришла. Я стоял и ждал. Сердце билось учащенно. Я ждал, когда пространство расступится и выпустит ее из своих цепких объятий. Но она не появлялась. Только к концу дня я узнал, что она попала в больницу. Через ме-

сяц она умерла. Я до сих пор не могу понять этого слова — «смерть»... Что ты смотришь на меня так? Ты не веришь, что это было? Но это было. Было! Пони-маешь? Не отбирай этого у меня.

4

Он не знал того, что знали все сотрудники моей лаборатории, с которых я взял обязательство строго хранить молчание. Он не знал, что он не принадлежал мне.

Эксперимент стоил огромных денег. Деньги ассигновала фирма Мэлори. И сегодня в четыре часа дня я ждал специальную комиссию, состоящую из инженеров, кибернетиков и физиологов, для приемки заказа № 032, как это было обозначено в документах, хранящихся в специальном сейфе банка, финансировавшего нашу экспериментальную группу.

Комиссия опоздала всего на десять минут. Явился и сам Мэлори-старший, глава фирмы.

Специалисты вошли в тот момент, когда он сидел с книжкой в руке и читал стихи. Он читал их вслух своим мелодичным, вдохновенным, бесконечно искренним голосом. Увидя Мэлори, он прервал чтение и спросил:

— Кто это, отец?

Он, по-видимому, догадался, почему я не ответил.

— Отец! — крикнул он. — Не отдавай меня! Не отдавай, отец!

Он не мог понять, что я не мог не отдать его.

— Отец! — кричал он.

Я и сейчас слышу его голос. Этот голос сидит в моем сознании, опровергая все усилия оправдать и оправдаться.



1

а этот срок Земля постарела на триста лет.

Мои чувства не хотели примириться с тем, что теперь меня окружало. По Земле уже ходили другие люди, потомки моих исчезнувших современников. Мое имя напоминало им о парадоксе, об одном исключительном случае, о загадке, смущавшей специалистов.

Сознание, что я никогда не увижу ни родных, ни друзей, никого из своих современников, что их уже нет, приводило меня в отчаяние. За триста лет изменилось все, и только на ночном небе так же свежо и молодо сверкали звезды.

Когда-то в детстве (страшно сказать: триста с лишним лет назад) я прочел старинный роман про удивительного странника Мельмота, кому причудливыми и щедрыми обстоятельствами была дарована слишком долгая жизнь. Согласно суевериям далекого века там не обошлось без злых и потусторонних сил... Мечтательная, романтическая сказка, плод фантазии старинного писателя и, разумеется, эксперимент, маленький и невинный, игра со временем и пространством.

Я тоже был материалом в руках экспериментатора. И в конце концов он и не знал, будет ли мое новое появление на свет вторым рождением или пробуждением

после долгого, слишком затянувшегося сна. Он не был также уверен, вернется ли вместе со мной в мир мое прошлое, резервированное в тех участках мозга, которые умеют остановить миг, спрятать его впрок, чтобы повторить, когда в этом возникнет надобность. Предусмотрительный и педантичный, он записал все, что я помнил, с помощью электронного аппарата — новинки — на тот случай, если это будет все же не пробуждение после долгого сна.

Только с помощью эксперимента можно проверить истинность гипотезы. Но этот эксперимент должен был пережить и самого экспериментатора и всех его учеников, и истинность гипотезы должны были установить биофизики, которые еще не родились.

Отдав себя в руки экспериментатора, я, казалось, отрезал от всего, что может доставить радость человеку, — от современности, от друзей, от знакомых, от личных пристрастий и привычек. Взамен этого мне было обещано почти бессмертие. Я отдавал свою жизнь как бы в долг. Один из сотрудников нашей лаборатории, Алешка Димин, сострил по этому отнюдь не веселому поводу:

— В долг? Но с процентами, да еще с какими!

Через триста лет я снова должен был ожить, вернуться в мир, обрести чувства и разум.

Экспериментатор — пора бы его назвать, — Всеволод Николаевич Обидин, был скромен, сдержан, не любил громких слов, чуждался славы и только однажды на публичной лекции позволил себе назвать тему, над которой работал, «проблемой временной смерти», о чем сразу же и пожалел, потому что это выражение попало в печать и вызвало усмешку на лице профессора Чемоданова и даже легкий академический смешок, немножко похожий на кашель.

— Жизнь, — сказал Чемоданов Обидину, смакуя каждое слово и подчеркивая его голосом, — жизнь — состояние временное, согласен. Но смерть — это отрицание времени, что, я думаю, не может быть предметом дискуссии, настолько это неоспоримый факт.

Обидин не стал возражать. Да и к чему? Действительно, смерть — отрицание жизни, но то, что он имел в виду, вовсе не отрицало жизни, наоборот, оно говорило об удивительной силе жизни, способной

преодолеть время, как бы задержав его, или, вернее, прервать поток времени, а потом вновь соединить. Нет, он не хотел говорить об этом с Чемодановым. Он предпочитал говорить с ним о самых обыденных вещах: о расписании дачных поездов Ленинград — Зеленогорск, о свежих огурцах, об электрической бритве, продающейся в магазине новинок на Невском.

Мне приходится вспомнить факты довольно большой давности. Между событиями, лежащими по ту и по эту сторону, промежуток в триста лет. Но, как сейчас, я вижу наш научно-исследовательский институт, раздевалку с задремавшей вахтершей, коридор, монтера с времяжкой и водопроводчика Гришу, вечно что-то поправлявших и ремонтировавших в институтском буфете; давно не мытые окна, строгую, надменную, пожилую секретаршу в канцелярии и ученого секретаря, бегущего к директору с какой-то бумажкой.

Наша лаборатория была на третьем этаже, рядом с буфетом. На стене висело чье-то изречение, звучавшее примерно так:

«Исследовать — значит видеть то, что видели все, и думать так, как не думал никто».

Придя впервые в эту лабораторию, я был приятно поражен, увидя это изречение, показавшееся мне глубоким и оригинальным. Ведь я пришел туда, окончив философский факультет. О профессоре Обидине я слышал еще в университете, что он экспериментатор, только экспериментатор, и недолюбливает всякие мудрствования, философствования и теоретические спекуляции. Странно, что меня допустили в эту «святая святых» экспериментальной биофизики, меня, знакомого с естественными науками только умозрительно и теоретически, да и то в связи с тем, что я изучал на философском факультете. Казалось, и в этом случае возобладали экспериментальные интересы руководителя лаборатории, пожелавшего рискнуть и проверить, на что может быть годен человек, окончивший теоретический факультет.

Здесь нужны были ловкие, быстрые, расторопные руки, умеющие приготовить препарат или провести опыт, — руки, прежде всего руки, а потом уже все остальное. А что я знал о своих руках, о их ловкости и точности их движений? Я родился в семье историка,

гуманитара. Когда в квартире гасли электрические лампочки из-за того, что перегорели пробки, вызывали монтера. Гвоздь в стену вбивала мать. Да, я слишком мало знал о своих руках, гораздо меньше, чем о своей памяти, о своем воображении, о своем умении вникать во внутреннюю суть вещей и явлений. Здесь пока нужны были мои руки. Только руки. И вот я начал знакомство со своими собственными руками.

Мне дали ключ и попросили достать из шкафа банку со спиртом. Меня предупредили, что наклейке с надписью «Осторожно, яд!» не нужно верить. Уборщица Дорофеева имеет пристрастие к спиртным напиткам. Я взял ключ, сунул его в замочную щель, повернул, но дверца шкафа не раскрылась. Я стоял перед шкафом, вертел ключ и влево и вправо, а секунды текли, и дверца не открывалась.

Потом послышались неторопливые шаги. Рука Обидина протянулась за ключом, и не поддававшаяся моим усилиям дверца сразу же открылась.

Обидин с удивленным любопытством посмотрел на меня — на меня и на мои руки. Потом он каждый раз смотрел на меня, каждый раз, когда у меня не получался опыт или когда мои неловкие руки роняли что-нибудь в спешке. Он смотрел молча. И только однажды, когда я уронил на пол сосуд с жидким кислородом, и чуть ему не на ногу, он сказал, мило и терпеливо улыбаясь:

— Да, у вас руки настоящего теоретика.

2

Как только я начал сознавать себя, как только научился видеть и понимать то, что меня окружает, я уже знал, что у меня есть имя.

Меня звали Павликом, позже Павлом, а еще позже я узнал, что у меня, кроме того, есть и фамилия — Погдин и отчество — Дмитриевич.

Я воспринимал свое имя как нечто возникшее вместе со мной, не отделимое от меня, слово, выразившее меня всего от ног до головы и отделявшее от других.

Помню, как меня удивило и даже несколько обескуражило, когда я познакомился с мальчиком, кото-

рого звали так же, как и меня, — Павликом. Он ничуть не был похож на меня, но меня и его называли одним и тем же именем, намекая на то, что имя вовсе не выражает сущности того, кто его носит, а скорее создано для удобства, как номер телефона, квартиры или автобуса.

Но в этой новой эпохе, в которой я очутился благодаря тому, что ученым удалось прервать и снова возобновить мою жизнь, я оказался человеком без имени. Да и кому бы пришло в голову называть меня Павлом Дмитриевичем, когда я вовсе не нуждался в имени и отчестве. Меня отличало от всех других, существовавших одновременно со мной, нечто более значительное, чем имя: возраст. Ведь мне недавно исполнилось триста тридцать пять лет. Меня и без имени знала вся планета, называя человеком XX столетия, выходцем из прошлого. Имя мне заменяло время, которое я представлял, время и пространство, потому что и пространство стало иным. Пассажирские линии соединяли Землю с Марсом, с Венерой и с другими планетами солнечной системы, и слово «Земля» звучало сейчас, как в мое время звучали слова «Московская область». Имя мне заменял мой мир, исчезнувший в истории, но не потерявший своей реальности, запечатленный в памяти электронных аппаратов, на пленке кинолент и магнитофонных записей... И все же самой реальной и вещественной приметой минувшего был я — представитель своего времени, своим существованием как бы соединивший две эпохи.

О новом мире я знал еще пока мало. Ведь не так уже много времени прошло (всего неделя), как я ожил или проснулся после затянувшегося на целых триста лет сна.

Мое существование началось в том же самом экспериментальном отделении дискретной жизни Института биофизических проблем, где, как выяснилось, я пролежал сотни лет в том загадочном состоянии, которое ученые назвали парадоксальным термином: «временной смертью».

За эти три столетия, разумеется, здание перестраивалось много раз, и только то помещение, где я лежал, оставалось нетронутым — архаичным, построенным из глиняного кирпича и гранита.



Эксперимент, в сущности, еще продолжался. Правда, я ожил, но разве дело было только в этом? Какие изменения произошли в моем организме при жизни, явления тоже временного, — интересовало медиков, биофизиков, физиологов и кибернетиков. Ко мне пока не допускали никого, кроме специалистов, и даже историки и нетерпеливые журналисты должны были ждать, когда доступ в мое помещение станет более свободным.

И в пору прежней моей жизни — не очень ли странно звучат эти слова, как будто у одного человека могут быть две жизни? — скажем точнее и осторожнее: и прежде мне доводилось не раз болеть и лечиться в больнице, я тогда остро чувствовал, что больной для врачей не только и не столько личность, сколько организм, в котором протекают интересующие специалистов процессы, но здесь я чувствовал это во много раз острее.

Здесь я был организмом. О том, что я, кроме того, и личность, все забывали. Правда, один из биофизиков, наиболее чуткий и внимательный, называл меня по имени и отчеству, желая этим подчеркнуть, что он рассматривает мою особу не только как общее и универсальное, но и как частность.

— Добрый день, Павел Дмитриевич, — обычно этими словами он приветствовал меня. И на лице его появлялась симпатичная улыбка.

Мне не хочется обвинять в бессердечности и сухости других медиков и биофизиков, более сдержанных и державшихся со мной более отчужденно. Ведь я был в их глазах представителем минувшего времени, времени утраченного и необратимого, и своим существованием приводил их в замешательство. Я противоречил логике, здравому смыслу и загадочным возвращением из небытия ставил под сомнение все привычные представления о жизни и смерти.

Для ученых этого мира я не был личностью. Ведь все, что вызвало в них такой острый интерес ко мне, относилось не к моей личности, а к моему организму и его функциям. Их меньше всего интересовало мое «я», именуемое Павлом Дмитриевичем, а больше всего то, что было обобщенным — типичным для человечества, жившего три столетия тому назад.

Я смотрел на них, людей XXIII века, с не меньшим изумлением, чем они смотрели на меня. За три столетия человеческий облик не так уж сильно, но все же изменился. В них, в этих людях, в их лицах и в их позах чувствовалась сдержанная сила и нечто прекрасно гармоничное, напоминавшее о живописи Леонардо.

Успокоенность и статичность? Нет. Именно сдержанность, чувство собственного достоинства и нечто другое, новое, незнакомое и трудно определяемое, особенно сильно проступающее в выражении глаз, внимательно смотревших на меня, — глаз, чей опыт был на триста лет богаче моего.

Говорили они кратко, математически логично и ясно, словно анализируя вслух задачу.

— Ваша восприимчивость после отчуждения? — спросил меня один из них.

— Какого отчуждения? — не понял я.

Он усмехнулся.

— Отчуждения временной смерти.

— Воспринимаю все так же свежо и остро, как вчера.

— Какое «вчера»? — переспросил он. — «Вчера», то есть накануне сегодня или триста лет назад? Для вас ведь это тоже «вчера».

— Для меня, но не для вас.

— Да, меня тогда не было, — сказал он спокойно.

— Но зато вы знаете все, что произошло за эти триста лет, а я не знаю.

— Не спешите. Узнаете и вы.

— Когда?

— Когда окрепнет ваш организм.

3

Я вспоминал. Уж не собирался ли я восстановить свое утраченное прошлое мгновение за мгновением? Нет, в этом пока не было никакой надобности. Ученые проверяли силу моей памяти, да и, кроме того, им хотелось узнать кое-что о далеком прошлом от очевидца, а не слушать длинную исповедь.

И вот я вспоминал то, что было триста лет тому назад, словно все это случилось только вчера.

Голоса моих современников приблизились ко мне, сквозь время пробился и голос женщины, которая впоследствии стала моей женой. В сущности, память и есть самое удивительное чудо. Она соединяет «здесь» и «теперь» с «тем» и «тогда», то есть с тем, чего уже нет.

— Павел, — говорила Оля, — ты с ума сошел! Зачем ты привел меня сюда, в этот сквер? Мы разбудим старушек пенсионерок, которые дремлют на солнышке.

— Здесь хорошо, — говорю я и показываю ей на молодые деревья, окутанные весенней зеленой дымкой, на многоэтажный дом с окнами, синими, как речная студеная струя, на девочку, прыгающую по тропинке.

— Павел!

Когда она произносит мое имя, мне кажется, что я слышу его впервые.

— Павел!

Она произносит его не так, как другие. Звук, слово становится легким и глубоким, как эхо в лесу, как вздох. Это отражение моего «я» в ее сознании и го-lose.

— Павел! Посмотри вон туда.

Я смотрю, куда она указывает. Там на скамейке сидит пара: старик и старуха. И оба дремлют.

Муж и жена. Сразу видно. Прожили вместе долгую счастливую жизнь.

— Разбуди их. И спроси: были ли они счастливы?

— Были. Но завидовать им не стоит.

— А я все-таки завидую этому старцу. Он всегда вместе со своей спутницей. Всегда рядом, не то что мы.

— Ты думаешь, что и мы когда-нибудь будем вот так дремать на солнышке?

Мы сидим на скамейке в сквере. Вокруг нас прозрачный, весенний, звенящий мир. Над крышей многоэтажного дома плывет облако. Оно плывет медленно-медленно. Мы оба сидим и прислушиваемся к тому, что не вне, а внутри нас. И мне кажется, что мгновение остановилось, чтобы продлить радость нашей встречи.

Вместе с мгновением остановилось все. Весь мир ждет, терпеливо ждет в наступившей тишине, чтобы не помешать нам. Не слышно ни трамваев, ни троллейбусов. Даже быстрая ласточка как бы остановилась в полете. Она летит и не летит. И девочка, казалось, застыла, сделав прыжок.

— Завтра я уезжаю, — говорит Оля.

— Куда?

— В Москву. К тете.

— Надолго?

— На три недели.

«Господи, на целых три недели», — думаю я.

Мне не приходит в голову, что наступит такой день, когда мы расстанемся с Олей не на три недели, а на триста лет.

Я жил тогда на набережной Мойки, самой тихой улице Ленинграда. Напротив нашей квартиры косо стояли подстриженные тополя. По утрам улица гулко молчала, и окаменевшая вода неподвижно лежала в сыром гранитном ущелье. Я был тогда студентом философского факультета. Мне представлялось, что все предметы ждали того странного часа, когда их заставит заговорить и раскрыть свой смысл, свою сущность какой-нибудь вновь родившийся Гегель. Он ударит по вещам и явлениям, как по клавишам рояля...

Я юношески остро чувствовал скрытую музыку за каждой мелочью быта. Все казалось мне значительным: полоска заката на сумрачном небе, ветка клена, восклицание кондукторши в автобусе, афиша на стене, улыбка на лице прохожего, бой стенных часов, результат футбольного матча Ленинград — Тбилиси, шум дождя.

Я думал, что философия — это что-то вроде ключа, которым можно открыть все явления и вещи, как двери. Стоит только сказать вслух:

— Сезам, откройся!

Но Сезам не открывался. Ни мне, ни даже тем, кто читал лекции и писал учебники. Впрочем, это я понял позже, уже учась на втором курсе. Понял и почему-то очень огорчился.

Жизнь шумела, как шумит летний дождь. Пахло травой и мокрыми ветвями. Временами гремел гром. А я ждал того же, чего ждут все юноши на свете. Я был

почти пьян от ощущения бытия, от радости, что я живу, вижу, хожу, читаю, дышу.

Утром, подойдя к окну, я смотрел на улицу с таким удивлением, словно она только возникла из небытия. Ну, а весь мир, разве он не проснулся сейчас вместе со мной?

Но речь шла только о том мире, который был за окном. Все, что пребывало в квартире, свидетельствовало об устойчивости и постоянстве. Иногда мне казалось, что квартира и семья возникли намного раньше, чем весь остальной мир. Буфет и обеденный стол были намного старше вселенной.

Мать в халате и в стоптанных шлепанцах несла сковородку с шипящей колбасой. Отец хмуро читал газету. Не глядя на меня, он спрашивал рассеянно:

— Ну, что там у тебя?

— Ничего. Полный порядок.

— А с Папиросником как? Наладилось?

— За кого ты меня принимаешь, отец? Папиросник — догматик, невежда, серый человек, хоть он и написал брошюрку о Спинозе.

— Знаю.

— Ну, а раз знаешь, зачем же спрашиваешь?

Отец молчит и с интересом смотрит на меня. Он забыл о жареной колбасе и о газете. Я заметил: интерес его ко мне возникает временами. В такие минуты он смотрит на меня не то испуганно, не то изумленно.

— Я спрашиваю, потому что хорошо знаю жизнь. А ты знаешь ее плохо. Стоит ли связываться с Папиросником?

— В прошлый раз, — перебиваю я отца, — он поставил мне неудовлетворительную отметку за отличный ответ. Папиросник думал, что это я ему прислал на лекции записку, которая начиналась словами: «Мы, философы...» Это его любимая фраза. Он не понимает, как она нескромно звучит — «мы, философы!». А за душой — несколько скучных и примитивных брошюр.

— И все-таки не стоило посылать записку с такими словами. Зачем? Грубо и бессердечно.

— В тебе говорит профессиональная солидарность. Ты тоже профессор.

Отец преподает историю. Его узкая специальность —

эпоха итальянского Возрождения. Уже много лет он пишет книгу о Леонардо да Винчи.

Когда отец говорит о Леонардо, он преображается. Лицо его свежеет, в глазах появляется юношеский блеск. Потом блеск исчезает, и отец снова становится отцом и профессором, усталым и прозаичным человеком, похожим на своих обыденных коллег. В самом имени Леонардо есть что-то возвышающее и чудесное. Оно как утро, как удар колокола, как облако, отраженное в синеве лесной реки, как внезапное прозрение. В нем есть что-то от космоса и от Земли. Я знаю: интерес отца к Леонардо — это не просто профессиональный, академический интерес. В свое время для докторской диссертации отец взял другую тему. Интерес отца к Леонардо юношески чист, наивен. Он возник в отце задолго до того, как он стал профессором и сделал знание истории предметом материального благополучия семьи. Все свое свободное время отец посвящал размышлениям об удивительнейшем из людей. Он пытался шаг за шагом мысленно восстановить жизнь этого человека и ту неповторимую духовную атмосферу, которая его окружала. Он пытался, как казалось мне в юности, сделать невозможное: победить время и ожить того, кого давно уже нет.

Иногда отец словно забывал о том, что Леонардо жил в XV веке, и говорил о нем так, будто только вчера с ним расстался.

Но бескорыстный интерес к Леонардо не мог заполнить все время отца, отец читал довольно скучные лекции, заседал и писал равнодушные академические статьи для разных исторических изданий. В нем загоралась искра, только когда речь заходила о Леонардо, потом Прометеев огонь потухал и начиналась академическая жизнь, неинтересная и вялая, как учебник истории для вузов.

4

Обидин поручил мне провести опыт с дрожжевыми грибами.

Я начал с того, что заразил питательную среду (само обычное сусло) подопытными организмами. Для дрожжевых грибов сусло — рай, мир изобилия. Но

они, бедные, не подозревают, что я сейчас заморозу этот рай вместе с ними. Ведь температура жидкого азота, куда я их опущу, ниже ста восьмидесяти градусов.

Затыкаю пробкой пробирку с суслом. Сыплю в химический стакан теплоизоляционную мипору. Осторожно кладу туда пробирку с микроорганизмами. Затем погружаю стакан с пробиркой и мипорой в жидкий азот, погружаю медленно и осторожно, чтобы брызги не попали в теплоизоляционную прослойку и не вызвали слишком быстрого замораживания.

Но вот все сделано, и я смотрю на часы. И вдруг у меня рождается сомнение: не забыл ли я по рассеянности прокалить «петлю» (длинную иглу), прежде чем подцепить ею грибки и положить в пробирку с суслом?

Я начинаю опыт снова. Накалив петлю и дав ей остыть, я подцепляю разводку микроорганизмов и опускаю в питательную среду. Снова обкладываю пробирку мипорой. Снова погружаю химический стакан в жидкий азот.

Для таких низких температур существует специальное название: глубокий холод. Сейчас в «глубину» этого холода погружены крошечные организмы-клетки, которые должны совершить прыжок через «ничто».

Что значит — «должны»? Не они должны, а я должен их заставить, проявив искусство экспериментатора. На другом столе ждет конца опыта люминесцентный микроскоп. Он бесстрастен и точен, как мысль математика, как глаз марсианина, взглянувшего на вас, или, вернее, через вас, в бездонный мир относительности, в малый мир увеличивающегося пространства.

Через час я взгляну в этот бесстрастный мир, и ожившие, вынутые из глубины холода дрожжевые грибки окрасятся в радостный светло-зеленый цвет, мертвые же — в мрачный коричнево-желтоватый. Немножко похоже на картину художника-сюрреалиста, пытающегося передать сущность бытия и небытия с помощью всего-навсего двух красок.

Если мертвых окажется больше, чем живых, то вряд ли Обидин признает опыт удавшимся. Он сложит губы в жалостливую улыбку и скажет всего одно слово:

— Диапауза.

Но как скажет! Буквально врещет в сознание. Диапауза — это строго научное слово. Оно выражает состояние покоя, в которое впадают насекомые под влиянием низких температур. Это приспособительная реакция, жизненная пауза, своего рода вынужденная остановка. Но у нас в лаборатории это словечко имеет другой смысл: оно обозначает, что кому-то что-то не удалось, кто-то снебрежничал, схалтурил.

На ручных часах истекают минуты, предназначенные для опыта. Я грею воду, быстро вынимаю химический стакан из жидкого азота и погружаю его в теплую воду. Там не спеша оживают любители суслу.

Я готовлю препарат, окрашиваю микроорганизмы акридином оранжевым и смотрю в люминесцентный микроскоп. Затем начинаю подсчет. Нет, Обидину не придется жалостливо усмехаться. Восемьдесят процентов живых. Опыт удался. И, конечно, не благодаря какой-нибудь случайности, а только моим рукам, наконец-то научившимся ловко и точно работать.

Я снова смотрю в микроскоп на микроорганизмы, сделавшие прыжок через «ничто», и мне, разумеется, не приходит в голову, что когда-нибудь и мне придется испытать то, что уже испытали они, оторвавшись от скользящего мгновения.

В половине второго я бегу перекусить в институтский буфет, предвительно заглянув в соседнюю комнату, где работает Алексей Димин со своей худощавой миловидной помощницей, у которой такая странная фамилия: Зет. В шутку у нас называют ее Икс-Игрек. Но она не сердится. Ей нравится ее абстрактная математическая фамилия.

В узком коридорчике я встречаю профессора Чернявского — низкого, коренастого, с гордой осанкой. Это очень острый момент. Я не знаю — здороваться мне с ним или нет? И все-таки здороваюсь. Он презрительно косится на меня и чуть заметно кивает своей несоразмерно большой головой.

Чернявский презирает меня. За что? Пока это в институте никому не известно. И, разумеется, меньше всех мне. Сначала я обнадеживал себя, думая, что Чернявский держится со всеми так же, как со мной. Но вскоре я в этом разубедился. Так вот подчеркнуто

недружелюбно и сухо здороваются он только со мной да еще, пожалуй, с Чемодановым.

То, что я попал в одну компанию с Чемодановым, меня удручает. За что не любит меня Чернявский? Что я сделал ему плохого?

Я слишком много думаю об этом старике. Одно время я предположил, что это склочник, злой, бездарный и несправедливый человек. Но это не подтвердилось. Наоборот, он принципиален, образован, вежлив, доброжелателен и талантлив. В конце сороковых годов он пострадал, отстаивая свои научные взгляды. Его противники вытеснили его из лаборатории. Рассказывают, что он, не склонив головы, вынес из лаборатории пробирки с дрозofiлами. Прошло несколько лет, и мушки дрозofiлы были реабилитированы. Они снова честно служили познанию, так же как Чернявский.

Оттого, что Чернявский усомнился во мне, я сам начинаю в себе сомневаться. Может, я действительно совершил недостойный поступок, ставший известным Чернявскому? Но когда? И уж кто-кто, а я-то должен бы об этом знать.

Лаборатория генетики в том же коридоре, что и наша. Хочу я этого или не хочу, но я вынужден встречаться с Чернявским часто. И каждый раз на его лице появляется выражение, от которого мне становится не по себе.

Вот и сейчас в буфете... Я сижу у окна. Рядом со мной свободное место. Единственное свободное место. Все остальные заняты. Входит Чернявский. Он предпочитает есть стоя, чем сесть рядом со мной. Это уже чересчур. Я вскакиваю и демонстративно покидаю буфет. Но никто не замечает моей демонстрации.

Забегая вперед, я должен сказать, что только через триста лет мне удалось, наконец, узнать, за что невзлюбил меня Чернявский.

5

На этот раз я проснулся после обычного, не затянувшегося на триста лет сна. И посмотрел. Вокруг меня стояли привычные вещи.

Наверно, для того чтобы я не чувствовал всей щемящей сердце, пугающей головокругительной необыч-

ности другой, незнакомой эпохи, вокруг меня создали искусственную обстановку остановившегося времени.

На стене висели те же самые часы, что и триста лет назад. И стена тоже была прежней. Я узнал и шкаф, тот самый шкаф, который, к своему великому стыду, я не сумел открыть в первый день, когда поступил на работу в лабораторию профессора Обидина. В шкафу стояли те же склянки, что и тогда, даже стеклянная банка с наклейкой «Яд!». На какую-то долю минуты меня охватывает сомнение. Может быть, мне все это приснилось?

Ответа нет.

И вдруг до меня доносится голос. В этом голосе есть что-то знакомое. Где и когда я его слышал? И только через несколько мгновений я догадался, что слышу самого себя. Кто-то включил электронный аппарат, мою память.

«Всеволод Николаевич, — умоляет мой голос, — Всеволод Николаевич, поймите! Я слишком молод для мемуариста. И, кроме того, я не могу вспоминать по заказу! Не могу!»

До меня доносятся мои слова, произнесенные триста лет назад. Затем наступает пауза.

Тишина. По-видимому, аппарат выключили. Звук собственного голоса, только что слышанный, словно позвал меня из исчезнувшего времени. Я вздрогнул.

Потом я долго лежал с сильно бьющимся сердцем, словно навсегда утраченное прошлое было тут же, рядом со мной.

Тут, рядом. Что это значит? Не значит ли это, что я сейчас увижу родных и друзей? Всех, кроме Оли. Время Оли еще не наступило. Она улетела в далекий космический рейс и должна вернуться на Землю. Могли ли я увидеть снова старушку мать и сына Колю, шестилетнего мальчугана?

Утром, прежде чем идти на работу в институт, я завозил Колю в детский сад на Васильевском острове, а вечером после работы заезжал за ним. Он уже ждал меня в коридоре, возле своего гардеробчика, где висели его шубка и шапка. Он сам надевал шубку и боты и шел со мной к троллейбусной остановке.

Однажды он спросил меня:

— Скоро вернется мама?

— Я не ответил.

Он посмотрел на меня и повторил свой вопрос:

— Скоро?

Я промолчал.

Не мог же я ответить ему, что его мать вернется через несколько сот лет, когда не будет на земле ни его, ни меня, ни наших внуков и правнуков. Для нас с ним и для всех наших современников она умерла. Но она была жива, она летела в космическом пространстве, и тонкий, как игла, пучок электромагнитных волн и световых лучей, посланных с атомной радиостанции космолета, пока сообщал нам о ее самочувствии и здоровье.

— Скоро? — снова спросил Коля.

— Нет, не скоро, Коля. Очень не скоро.

Я смотрел на свои ручные часы, где лихорадочно быстро двигалась красная секундная стрелка. Там, на космическом корабле, где жила Ольга, часы на много лет отставали от моих. Но если бы я стал объяснять это Коле, он бы не понял меня. Шестилетним детям невозможно объяснить теорию относительности. Детям? Да и взрослым очень трудно понять, что время замедляется от скорости движения. Нужно буквально вывернуть логику наизнанку, чтобы понять и поверить в то, что наши с Колей дни равняются почти минутам там, где сейчас пребывает Ольга.

В выходные дни я гулял с Колей, читал ему сказки. Я еще тогда не думал о том, что я добровольно покину его. Для меня он так и остался шестилетним белобрысым Колей. А ведь он стал Николаем Павловичем и, возможно, дожил до глубокой старости, так и не дождавшись возвращения матери и пробуждения отца.

Я лежал с сильно бьющимся сердцем, словно прошлое было тут, за стеной.

Биофизик подошел ко мне и сказал приветливо и спокойно:

— Здравствуйте, Павел Дмитриевич. Как вы себя чувствуете?

Хотя он не раз посещал меня, я не знал его имени. И вот сейчас я спросил, как мне его называть.

— Павел Погодин, — ответил он.

— Но ведь я Павел Погодин! Я!

— Я тоже, — ответил он ласково и тихо.

— Однофамилец?

— Не совсем. Отчасти и родственник. И к тому же тезка. У вас есть возражение?

— Помилуйте! Как я могу возражать? Законы природы...

— Да, ничего не поделаешь. Законы... Я прямой ваш потомок. Если вы не забыли, после наступления вашей временной смерти остался ваш сын.

— Коля?

— Николай Павлович, — поправил он меня. — Он женился. У него было четверо детей.

— Боже мой, ведь ему было всего шесть лет!

— Но к шести годам вы должны прибавить еще триста.

— Моя логика все еще не может освоить этот странный факт. Мне все еще кажется, что я приду домой и увижу Колю. Вчера меня вдруг охватило беспокойство. Я думал о том, что опоздаю на целый час в детский сад за Колей и воспитательница будет пробирать меня за неаккуратность.

Я помолчал, а затем с грустью добавил:

— Но оказалось, я опоздал не на час, а на три столетия.

— Опоздал? — Биофизик улыбнулся. — Бесмысленное слово. Особенно в ваших устах. Куда опоздал? Почему? Не думайте об этом. Не надо. Не сожалейте. Вы оторвались от своей эпохи и обрели другую. Это знакомо не вам одному.

— Разве?

— Я говорю о космонавтах дальних экспериментальных экспедиций. Но обретенное ими время слито с пространством, которое они преодолели. Вас же развременноли, разорвав ваше бытие на две части. Но память ваша действует неплохо, в чем мы имели возможность убедиться. Она свяжет две половины разорванного бытия... В сущности, и в этом нет ничего неестественного. В миниатюре каждый испытывает это,

ложась вечером спать, а утром просыпаясь. Ваш сон несколько затянулся. Вот и все.

Я смотрел на него, я удивлялся все больше и больше. Моя логика не могла примириться с этим алогичным фактом. Передо мною стоял мой отдаленный потомок, и мы с ним существовали в одном времени.

— О чем вы думаете? — спросил он меня тихо.

— Все о том же. Об алогизме всего того, что сейчас происходит со мной, о несоответствии всему тому, к чему я привык.

— Так ли уж это алогично? Обстоятельства забросили вас в двадцать третье столетие. Но ведь был более удивительный случай, когда человека двадцать третьего столетия судьба забросила в шестнадцатый век.

— О каком человеке вы говорите?

— О великом художнике и инженере Леонардо да Винчи.

— Но время необратимо. Как это могло быть?

— Мы как-нибудь вернемся к этой теме. Я должен покинуть вас на несколько дней. Послезавтра выступаю с докладом на конференции биофизиков космической станции в окрестностях Венеры. До свидания.

Он ушел, так и не объяснив, что он имел в виду, когда говорил о Леонардо. Вероятно, он шутил. Как мог человек из будущего попасть в прошлое?

Я лежал и вспоминал все, что я знал о великом художнике итальянского Возрождения.

После смерти моего отца, историка, всю жизнь изучавшего XVI век, я нашел в ящике письменного стола большую, чрезвычайно интересную статью о Леонардо.

Мне вспомнилась фраза из этой статьи, чуточку загадочная и странная, принадлежащая не отцу, а цитируемая им из какой-то книги об итальянском художнике:

«Мир красоты у Леонардо изображается так, как если бы действительность уже была глубочайшим образом приспособлена к человеку, как если бы смягчились все ее антагонизмы и все ее движения выровнялись. Нет жесткости, нет угловатости, нет грубости и резкости связей и переходов...»

Эта мысль пронизывала всю статью отца. Его страстно интересовал вопрос, почему Леонардо, живя

в таком неустроенном и грубом веке, изображал другую, бесконечно более совершенную действительность, и изображал ее так, словно отлично знал ее.

Поставив этот вопрос перед самим собой и перед читателем, отец так и не успел ответить на него. Ему помешала смерть. Но весь ход отцовских мыслей говорил о том, что он был близок к раскрытию какой-то большой тайны.

И вот я снова услышал загадочные слова о Леонардо от биофизика, своего тезки и потомка.

Я помню шубу профессора Чемоданова. Ее шил в ателье на Литейном лучший портной города.

К шубе Чемоданова в институте относились почтительно. Ее вешали в особом углу, на отдельном крючке, и вахтерша сидела целый день, охраняя ее, боясь отлучиться. Там, на этом крючке, висела и его фетровая шляпа.

Когда Чемоданов шел, все оглядывались. Он, как и его шуба, был сделан из особого материала. Он шел, заполняя собой пространство и время. И время тоже! На его полном, чисто выбритом лице играла снисходительная улыбка.

Мы (под словом «мы» я подразумеваю сотрудников нашей лаборатории) были отчасти довольны, что Чемоданов нас терпел, что он мирился с нашим существованием и с нашими проблемами. Мы хотели только одного: чтобы он оставил нас в покое, забыл о нашем существовании.

Чемоданова в институте уважали. За что? Трудно ответить на этот загадочный вопрос. Может быть, за то, что он сумел внушить всем — от директора до вахтерши — превратное представление о своей особе. Чемоданов только тем и занимался, что уважал себя. На это он тратил уйму времени. Он вкладывал в это столько таланта, столько старания, столько страсти, что достиг того, чего хотел. Его действительно уважали. Уважали потому, что он сам уважал себя. К его словам прислушивались. Помню, как я сам, слушая его речь на заседании ученого совета, ловил каждое слово и искал в нем сокровенный и глубокий смысл.

— Великое павловское учение, — говорил Чемоданов, — открывает перед нами... Открывает перед нами... — он делал паузу с мастерством актера. И голос у него тоже был актерским. Я напрягал все свое внимание, ожидая услышать что-нибудь новое...

И действительно, речь Чемоданова производила на меня некоторое впечатление, но не смыслом, а скорее интонацией. Каждое слово Чемоданова было похоже на него самого. Оно требовало к себе уважения. Почему? За что? Это уже другой вопрос.

Да и как было не уважать Чемоданова! Он был такой солидный, внушительный, каждое слово, произнесенное им, приобретало какую-то особую реальность, словно в смысл и звучание этого слова Чемоданов вкладывал самого себя, со своим чисто выбритым полным лицом, со своей снисходительной улыбкой.

Я уже упоминал о том, что Чемоданов снисходил к нам, мирился с нашим существованием. Вероятно, это было ему не легко, потому что в глубине души ему не могло нравиться то, чем мы занимались.

— Дискретные явления жизни, — как-то сказал он, остановившись возле дверей нашей лаборатории, — анабиоз... Ну что ж, поживем — увидим.

Жаль, что ему не пришлось прожить триста лет. Что бы он сказал сейчас, увидя меня среди людей далекого будущего? Он бы сказал своим солидным голосом:

— Чепуха! Метафизика! Вредные фантазии!

И я уверен, что люди поверили бы ему, а не фактам. Уж слишком он был солиден и убедителен, убедительнее всяких фактов.

Иногда он исчезал. Уезжал в командировку или в отпуск. Его отсутствие ощущали все. В институте чего-то не хватало. Чего? Трудно сказать... Но вот он появлялся снова. На его полном, чисто выбритом лице играла улыбка, но уже не та снисходительная, что была раньше, а другая. Эта улыбка выражала нечто значительное, она как бы говорила о том, что во время своего отсутствия Чемоданов приобщился к каким-то тайнам. Он что-то знал. Он один, да еще господь бог. Они оба. Эта улыбка наводила на всех уныние, вселяла щемящее чувство неуверенности и беспокойства, словно Чемоданов знал что-то, касающееся всех и всего —

и сотрудников, и лабораторий, — но пока держал это в тайне.

Спустя неделю эта улыбка исчезала, и лицо Чемоданова снова приобретало снисходительное выражение.

— Ну, что у вас там? — остановив меня или Димина, спрашивал он доверительным тоном. — Дискретные явления? Сомнительные явления! Сомнительные! Но поживем — увидим.

Сколько же лет он собирался жить? Ему было под шестьдесят. Я так и не знаю, сколько он прожил. Помню, незадолго до генерального эксперимента, с помощью которого я победил время, мы с Всеволодом Николаевичем Обидиным проходили по Невскому проспекту и случайно остановились возле ресторана. У ярко освещенного окна за толстым стеклом сидел Чемоданов, священнодействуя с блюдом, которое ему только что подали. Ресторанное стекло, как рама картины, выделяло его из всего окружающего мира.

Прошло полминуты, не больше, но мне показалось, что время исчезло, остановилось, и Чемоданов в своей стеклянной раме победил бренность и слился с вечностью, живой и трепещущей, как миг.

6

Мой тезка и потомок, биофизик Павел Погодин, принес с собой какой-то незнакомый мне предмет, сделанный, по-видимому, из синтетических материалов, поставил его и спросил:

— Хотите совершить маленькую прогулку?

За триста лет я ни разу не выходил из своего помещения и даже вздрогнул он неожиданного этого предложения.

— Когда?

— Когда хотите, хоть сию минуту.

— Но я еще не брился. Мне нужно переодеться.

— Зачем? Вы можете лежать как лежали. Мы даже не будем убирать стены. Для чего? Мир придет сюда, к вам. Время и пространство.

— Что-то вроде кинохроники, — сообразил я. — Но где же экран?

Павел улыбнулся.

— Кинохроника? Древнее слово. Его помнят разве только историки культуры. Нет, речь идет не о столь примитивном отражении мира, а о чем-то, как вы убедитесь, более реальном, вещественном и более интимно связанном с тем, что вокруг нас и в нас самих. Кинохроника, насколько я представляю, всегда отражение прошлого, очень недавнего, но прошлого. Хоть на день, но все же отставание от «теперь» и «сейчас». А тут речь идет о синтезе прошлого, настоящего и будущего. Не только об отражении, но о реальном, вещественном синтезе, как вы сейчас убедитесь. «Тогда», «теперь» и «завтра», пронизанные динамикой.

— Что это — искусство или жизнь? — спросил я. Он уклонился от ответа.

— Поговорим об этом потом.

Он нажал кнопку аппарата и сразу исчез, как провалился сквозь землю. Исчезло все, что меня окружало: стены, вещи. Исчез и я сам. Я уже не ощущал своего тела, словно пребывал одновременно и здесь и там. Но где и что это «здесь» и чем оно отличается от «там»?

Мир вдруг стал беспредельным, словно в комнату, где я только что лежал, вошла вселенная. Затем исчезнувшее на миг мое «я» вернулось ко мне. Я летел в прозрачном аппарате над песчаной пустыней.

Красивый женский голос сказал негромко:

— Марс. Море времени.

Он был близко, этот чудесный мелодичный голос, и одновременно бесконечно далеко, словно в прошлом. В нем была конкретная реальность настоящего и что-то от воспоминания.

— Пролив Нереид.

Молчание.

— Северный Сырт. Утопия.

Потом, как на картине итальянского Возрождения, я увидел лицо девушки на фоне неба, и оно чудесно ожило, это лицо, приближаясь. Мелодичный голос произнес вне и внутри меня:

— Эллада. Море змей.

Ощущение полета во сне. И музыка в ушах. Сердце бьется учащенно.



Внезапный поворот во времени и пространстве. И вот я уже иду по аллее сада. Впереди — прозрачная стена. За стеной — ничего. Вакуум. Бездонное и пустое пространство.

Голос девушки, словно приближаясь не то из прошлого, не то из будущего, говорит, преодолевая время:

— Межпланетная космическая станция Балашово.

Я иду и иду, и тонкая прозрачная стена отделяет меня от физического «ничто», от вакуума. Возле прозрачной стены у самого «ничто» играют дети.

Мяч летит. Он ударяется в прозрачную стену и без звука отлетает от нее. Стена беззвучна.

Я подхожу к детям. Их четверо: две шестилетние девочки и два мальчика. Один совсем крошка. Карпуз смотрит на меня, вытаращив синие глазенки.

— Как тебя зовут? — спрашиваю я.

— Витя.

— А что там, за стеной?

— Пустота, — отвечает он равнодушно.

— А ты не боишься туда провалиться?

— Чего бояться? Стена. Она высокая-высокая. Катя вчера сказала: «Она до неба». Но здесь ведь нет неба, дядя. Небо только на Земле.

Снова ощущение легкости, ощущение полета во время сна. И музыка.

Передо мной озеро. Сквозь прозрачную синеву воды видно, как плывет окунь.

Рядом с плывущим окуном возникает поле ржи. Над рожью — облако. Я иду по тропе во ржи. Где-то близко поет жаворонок. Озеро и рожь сливаются, как слова в стихотворении. Близко возле меня плывет окунь. Я вижу, как шевелятся его красные плавники.

Вся свежесть мира здесь, рядом, внутри и вне. Безмятежно и хорошо, как бывает только рано утром.

Доносится ржание лошади. Этот звук словно перемещает пространство. Возле меня синева леса. Белка скользит между косматых ветвей лиственницы. Острый запах хвои.

Резкий поворот. И опять ощущение полета во сне.

Я вижу своего отца. Он сидит за обеденным столом и смотрит на меня из-под густых седых бровей.

— Леонардо, — говорит он, размышляя вслух, — был удивительной личностью. В этом отношении он похож на свое время.

И вдруг к воспоминанию об отце присоединяется нечто никогда не виданное мной и не представимое.

Фабрика фотосинтеза. Я стою возле аппарата, который ловит солнечный луч и превращает его в органическое вещество.

Передо мной возникает ветвь яблони с красными яблоками, ветвь, созданная как бы из ничего.

Все окутано тихой мелодией: машины, люди и роботы, похожие на людей.

Девушка-робот спрашивает меня:

— Вы устали?

— Ничуть.

Она стоит возле меня, и мне кажется, что я слышу, как бьется ее сердце. На ее невыразительном лице появляется улыбка.

— Как вас зовут? — спрашиваю я.

— У меня нет имени, — отвечает она. — Да и зачем оно мне? И что такое имя?

— Имя — это слово, — говорю я, — отнюдь не выражающее сущности того, кто его носит.

— А что такое сущность? У меня нет сущности. Я не человек. Я робот. Мою сущность меняют соответственно программе. Я явление. Явление без сущности. — Она рассмеялась. — Мы затеяли с вами слишком серьезный разговор. Я механический слуга. Мое дело — угадывать желания людей и служить им. Механическая рабыня. Да, рабыня! Древнее слово. Но я обучена и древним словам. Я знаю историю. Не огорчайтесь. У меня нет души.

— У вас нет души? — удивленно воскликнул я. — Тогда у кого же она есть, душа?

— У людей.

Она любезно улыбнулась и исчезла.

И сразу исчезла фабрика фотосинтеза.

Возник космический пейзаж, черное небо, полное звезд. Меня снова охватило ощущение беспредельности.

И вдруг мир укоротился. Я снова в той комнате, в которой триста лет протекло быстро, как час.

Павел Погодин, потомок мой, стоял возле моей постели.

— Ну как вам понравилось путешествие? — спросил он меня.

— Путешествие? А я думал, сновидение, хотя мир слишком реален, слишком веществен для сна.

— Еще бы, — усмехнулся он. — В реальности того, что вы видели и пережили, не приходится сомневаться. Это была действительность в снятом виде. Вернее, сгусток ее.

— Но у этой действительности причудливая логика сна или волшебной сказки.

— Не совсем, — перебил он меня, — сон, в сущности, алогичен. А в том, что вы видели, была логика, но вы ее не уловили.

— И все-таки — жизнь это или искусство?

— Хотите поговорить на философско-эстетические темы? Что ж, если вы не устали, я прочту вам что-то вроде лекции... В палеолитическую эпоху неизвестный и безымянный охотник смешал охру с жиром и изобразил на стене пещеры бегущего быка. Это была первая человеческая попытка схватить движение, а следовательно, пространство и время, и передать их сущность. Вы мне скажете, что живая речь, язык, слово, осмысленный звук, звук, проникшийся плотью вещей и чувств, возникли раньше рисунка. Но линия и цвет могли передать то, чего не могло передать слово — пространство, движение во всей жизненности. От палеолитического рисунка до кинокадра и телевидения прошло тридцать тысяч лет. Ваша жизнь прервалась, точнее говоря — замедлилась как раз в эпоху расцвета кино и телевидения. Ну, а что произошло за эти триста лет? Человечество победило пространство и время. Наука и техника нашли новый способ отражения текущего бытия, они смогли остановить мгновение и, наоборот, запечатлеть эйнштейново время, дали человеку возможность пребывать в различных пунктах мироздания. Вы скажете, что и кино с телевидением давали возможность, сидя у себя дома, обозревать весь земной шар. Но в нашем новом способе видения мира есть принципиальное отличие от старого. Новое видение — это синтез ваших опредмеченных раз-

мышлений и дум с живой реальностью, снятой в обычном времени и времени эйнштейновом, где скорость равна скорости света... Но я вижу, вы утомились. А вам нельзя переутомляться. Пока нельзя. Итак, до завтра, дорогой Павел Дмитриевич.

7

Проходя по коридору, я каждый раз ускорял шаги, чтобы не встретиться с Чернявским. Он делал вид, что не замечает меня. Я тоже делал вид. Но еще как замечал! Он был для меня самым заметным человеком в институте.

В лаборатории генетических проблем, которой руководил Чернявский, я был всего два раза, хотя она находилась рядом с нашей лабораторией. И не потому, что меня не интересовала генетика, а потому, что там работал Чернявский.

В лабораторию генетических проблем мог войти каждый, кроме меня да еще, кажется, Чемоданова. Таким образом, между мною и Чемодановым протянулась невидимая нить. Мы оказались с ним рядом. У нас не было с ним ничего общего. Ровно ничего. Но Чернявский, по-видимому, придерживался на этот счет другого мнения. Почему? Оставалось только гадать. Я не собирался выяснять свои отношения с Чернявским. Пока не собирался. Для этого я был слишком самолюбив.

Все старались напомнить мне о нем. Как раз в эти годы генетика вместе с кибернетикой стали самыми модными науками. А профессор Чернявский ведь пытался соединить эти две науки — кибернетику и теорию наследственности. И сотрудники нашего института, особенно молодые, ни о чем так много не говорили, как о последних работах Чернявского.

Живые существа и время! Узел времени, такого странного и загадочного, узел, куда сходились все нити, мгновения и века, держал в своих руках этот темноволосый коренастый человек, с тем, чтобы развязать его, этот узел, раз навсегда. Что это означает? Не означает ли это, что Чернявскому откроется тайна жизни и тайна времени и он увидит ту точку, то

непостижимое, откуда все началось? Но если так, он почти бог, бог экспериментальной биологии. Молодежи он и казался таким вот богом. И он, этот бог, невзлюбил меня. Хорошо, что об этом почти никто не знает. Но кое-кто уже догадывается. Маша Зет, помощница Алешки Димины, спросила меня недавно:

— Что это Чернявский морщится, когда завидит тебя?

— А может, тебя, а не меня?

— Нет. Со мной он, как со всеми. Мил. И приветлив.

Я не стал продолжать этот разговор. В лаборатории Чернявского работало много молодых сотрудников и сотрудниц. Многие из них приглашали меня заглянуть к ним, но я каждый раз отвечал:

— Некогда.

И делал вид, что меня нисколько не интересует генетика. А она меня очень интересовала.

Чернявский — так казалось мне тогда — создал в своей лаборатории нечто вроде станции, что-то вроде переговорного пункта. Он расположился как бы в самом центре времени и бытия. Нуклеиновые кислоты и опыты с дрозофилами информировали его о тех таинственных процессах, которые соединяют нас с предками и потомками. Он знал «код», «шифр», с помощью которого все поколения всех живых существ на Земле могли вести беседу, ни на секунду не прерывая ее в течение сотен миллионов лет.

И вот этот человек разглядел во мне нечто такое, чего не разглядели другие и даже я сам. Не мог же он относиться ко мне так без всякой причины. И я сам искал в себе эти недостатки, почти уверенный, что они у меня должны быть.

Мы жили с Ольгой на даче в Карташевке. Коле было всего полтора года. Он учился произносить первые слова, называя вещи теми именами, которые им дали люди, жившие задолго до нас.

Колю мы видели только по выходным дням. Утром рано мы уезжали на работу, когда он еще спал. Вечером мы приезжали слишком поздно. Но зато выходные дни мы проводили с ним, уводили его гулять в тенистый карташевский лес.

Мы садились на полянке, расстелив на траве плащ. Ребенок играл, собирал шишки, а мы сидели и разговаривали. Оля редко рассказывала о своей работе. Она работала в физиологической лаборатории, изучавшей космические проблемы. А я, начинающий цитолог, смотрел на физиологию немножко свысока, как многие цитологи и биофизики, считая, что физиология после смерти Павлова и Орбели топчется на месте.

— Ну, что у вас нового в институте? — спросил я, однако все же думая про себя: что может быть нового в науке, в которой свило уютное гнездо так много посредственных и консервативных людей, людей, умеющих делать ложно-значительную мину, вроде нашего Чемоданова?

Ольга рассмеялась.

— Представь себе, этот же вопрос мне задал сегодня один слишком развязный очеркист и тоже таким же высокомерным тоном. «Девушка, — сказал он мне, — у вас такое выражение лица, словно вы собираетесь играть в чеховской пьесе». — «Допустим, — ответила я, — ну и что же?» Он усмехнулся и сказал: «Чеховским героиням ближе вишневый сад, чем электромагнитное поле Земли...»

— Отчасти он прав, этот журналист. Ты действительно похожа на чеховскую героиню.

— Благодарю за комплимент.

Мы беспечно разговаривали, не думая ни о чем серьезном, играли с ребенком. Над нами висело безоблачное июльское небо. Где-то в лесу куковала кукушка протяжно и мелодично, словно вливая в свой светлый звук все лесное безмятежное прекрасное летнее бытие, окружающее нас.

К вечеру мы вернулись домой. На столе лежала телеграмма. Я распечатал ее и прочел: «Приезжай тяжело болен отец».

Отца в живых я уже не застал. Он лежал на своем старом диванчике, холодный и отчужденный, безмолвный слепок того, кем он был.

Через неделю после похорон, просматривая отцовские рукописи, я обнаружил незаконченную статью о Леонардо да Винчи, которая меня чрезвычайно заинтересовала.

Впрочем, это была не статья, а скорее дневник. Слишком много личного. И, может быть, именно поэтому я с необычайной остротой почувствовал, что связывало моего отца, человека, в сущности, очень обыкновенного, заурядного профессора, с одним из гениальнейших людей далекого прошлого. Между тем и другим стояла стена из нескольких веков. И дело было не только в том, что мой отец изучил все, что оставил после себя Леонардо, но в том, что он мысленно восстановил его личность, его внутренний мир и его время. Но главное не это. Меня ошеломила мысль отца о том, что Леонардо был как бы заброшен из будущего, где значительно изменился человеческий ум и человеческие чувства.

Эта мысль была фантастичной, она противоречила всему тому, что я знал об отце, человеке чрезвычайно трезвом, историке, признававшем только документ, только факты, и притом проверенные по многу раз. И вдруг эта мысль, романтическая и наивная, ничем не подтвержденная, противоречащая логике, здравому смыслу. Уж не воображал ли отец, что Леонардо был ребенком доставлен с другой планеты?

Я рылся в черновиках отца, ища продолжения статьи. Мне хотелось получить ответ на вопрос, который меня страстно занимал. Но черновики не имели никакого отношения к незаконченной статье. Это были скучные, написанные сухим академическим языком страницы учебника истории для вузов. В них, в этих страницах, отразилась та половина личности моего отца, которую так ценили некоторые его коллеги, доценты и профессора, влюбленные в бесстрастную и сухую точность и не понимавшие, что жизнь, история и документ — это не одно и то же.

8

Всеволод Николаевич Обидин редко пользовался отпуском. Увлеченный работой, он обычно и лето проводил в своей лаборатории. Но в этот раз он решил отдохнуть. Уж слишком знойное и душное стояло лето.

Обидин не любил санатории, дома отдыха, дачи, предпочитая странствования по незнакомой местности с рюкзаком за спиной. Мы провожали его на перроне Московского вокзала в Горный Алтай, желая ему счастливого пути. Но путь оказался не очень-то счастливым.

Через две недели от Обидина пришла открытка, адресованная всем сотрудникам лаборатории, восторженно описывающая красоты алтайской природы. Но вслед за открыткой прибыла телеграмма, из которой мы узнали, что у него сломана нога в результате «микрокатастрофы» (обидинское словечко) на Семинском перевале. Что это была за «микрокатастрофа», мы так и не узнали.

Открытки и письма, которые посылал нам наш шеф из больницы, были с юмором, чуточку, правда, нарочитым и демонстративным, и свидетельствовали не столько о душевном настроении и самочувствии писавшего, сколько о его желании казаться веселым и бодрым.

Вернулся Обидин неожиданно, без всякого предвещения, похудевший, прихрамывающий, необычайно бодрый и энергичный. За два месяца пребывания в больнице у него родилась идея, которая торопила и его, и его врачей, и природу, заставив его стать здоровым раньше срока.

Что это была за идея?

Пока о ней знали только я и научный сотрудник Димин, но знали не так уж много. Обидин, в сущности, показал нам только леса, а не само здание.

Помню, как после разговора с Обидиным я возвращался из института. Мы с Ольгой и Колей жили на даче в Карташевке. Размечтавшись, я проехал свою остановку и ждал обратного поезда в Сиверской. Загремело. Надвигалась гроза с молниями и дождем. Но я почти ничего не замечал, весь погрузившись в лихорадившие меня мысли.

В продолжение многих лет Обидин вел опыты и исследования на клеточном уровне. Ему не раз доводилось замедлять жизнь клеток, почти приостановив ее ход, и, преодолев значительное время, снова возвращать их к бытию. Сейчас речь шла уже не об отдель-

ных клетках, а об организме в целом, организме — этой сложнейшей системе из всех систем. Клетки выдерживают замедление, почти остановку жизненных процессов, но выдержит ли нервная система, мозг? Сохранится ли, или, вернее, возобновится ли, само сознание?

Наконец подошел поезд. Я сел в вагон и сразу, забыв, куда я еду, погрузился в размышления. Я опомнился только тогда, когда, оглянувшись, увидел позади знакомый мне домик.

В этот раз я уже не стал ждать поезда, а пошел пешком под проливным дождем.

— Что это? — спросила Ольга, увидя меня, промокшего и усталого. — Уж не шел ли ты пешком из Ленинграда?

— Почти угадала, — сказал я, — я так торопился домой, что не дождался поезда.

— Это похоже на тебя. Ты нетерпелив. И в Ленинграде всегда ходишь пешком, чтобы не стоять на остановке и не ждать автобуса. Медленнее, но зато без ожидания.

— А что, если бы жизнь шла без ожидания?

— Тогда бы неинтересно было жить.

Я переоделся, рассеянно и наскоро поужинал, подошел к кровати, где спал Коля, постоял и отошел.

— Чем ты так взволнован, Паша? Что случилось?

— Ничего. Лично со мной ничего. Но мир изменится, изменится все, если удастся реализовать новую идею Обидина. Изменяются вещи, понятия, время, сама жизнь, слова. И особенно изменится слово «ждать».

Ольга рассмеялась.

— Ты хочешь сказать, что ты станешь более терпеливым, разучишься нервничать и торопиться? Что это за идея?

Мы проговорили почти до рассвета.

Ольгу идея Обидина увлекла не меньше, чем меня. Если опыт удастся, то в биологической науке произойдет грандиозный скачок, и живые организмы обретут почти бессмертие, жизнь удлинится почти безгранично.

Мы сидели рядом и смотрели друг на друга, словно наука уже подарила нам безграничную власть над временем.

— Интересно, — спросила Ольга, — кому Обидин поручит вести этот опыт? Если тебе, то тебе придется и ночевать в институте...

9

Я сделал всего несколько шагов по комнате — от стены, где стояла койка, до дверей. Дверь раскрылась. Еще шаг, и этот шаг сказочно растянулся и перенес меня в другой мир.

Рядом со мной шел мой тезка и потомок Павел Погдин.

— Чутьочку медленнее, — сказал он. — Вам нельзя ходить так быстро.

И, как только раскрылись двери, пространство сдвинулось.

Приятное ощущение легкости и свободы овладело мной. Так я чувствовал себя в юности или в детстве.

— Далеко ваша квартира?

Павел рассмеялся.

— Квартира? Недавно я вспомнил это допотопное слово, перечитывая «Преступление и наказание». Гениальный роман! Нет, я живу недалеко. На берегу горной реки Катунь. В шести тысячах километров от места работы.

— И поспеваете на работу? В мое время скорый поезд доставлял пассажира из Ленинграда на Алтай за пять суток.

— Сейчас я трачу на это сорок — сорок пять минут — не так уж мало, если учесть, что требуется столько же времени на обратный путь. Полтора часа...

— Почему так далеко?

— Край нравится. Заповедное место. А я помешан на рыбной ловле. Люблю шляться в лесу. Когда-то существовало милое словечко «бродяга».

— А сейчас не существует?

— Возможно, и сохранилось где-нибудь в далеких уголках мира, где-нибудь на Сатурне или на Венере... Романтическое словечко, чутьочку, правда, театраль-

ное. А еще было слово «странник». Оно уже вышло из употребления, кажется, в ваше стихийно буйное время. В детстве я увлекался исторической лингвистикой, коллекционированием старинных слов...

Действительно, через сорок пять минут мы очутились с Павлом на тропе в пихтовом лесу. Круто убегала ввысь гора, и гремела прозрачная река.

Я остановился, жадно вбирая в себя грохот, гром, звенящее падение воды, весь этот пахнувший пихтовыми ветвями мир. Остановился мой тезка-потомок.

— А где же поселок? — спросил я.

— Поселок? Здесь поблизости нет населенных пунктов. Живу я со своей семьей. Дом в трех шагах отсюда, в лесу.

— Робинзонада?

— Ничуть. И какое может быть одиночество, когда любого, самого отдаленного пункта планеты можно достичь за час пребывания в машине быстрого движения. До ближайшего населенного пункта три минуты.

— И все живут так вот — на лоне природы?

— Нет, разумеется, не все. Ведь не все любят природу.

— А насколько же увеличилось население планеты за эти триста лет? И разве может хватить на всех желающих вот таких красивых уединенных ландшафтов?

— Людей действительно много. Во много раз больше, чем в двадцатом веке. Но ведь один экономист прошлых столетий подсчитал, что, если бы люди всего мира собрались в одном месте на митинг или на грандиозную сходку, они заняли бы площадь не больше Баденского озера в Швейцарии. Вся остальная поверхность Земли на эти часы осталась бы свободной от человека. Человечество, взятое вместе, составляет очень небольшую часть всей живой массы планеты, растительной и животной. Людей сейчас во много раз больше, чем триста лет назад, но всем хватает места. И по очень простой причине — благодаря средствам передвижения, транспорту, возможности быть здесь и везде. А кроме того, новые средства связи. Пребывая здесь, на берегу Катуня, я могу общаться с друзьями, удаленными на сотни миллионов километров, с ново-

селами Венеры, Марса и всех бесчисленных космических станций.

— Здесь и везде, — повторил я, — там и тут. Но не означает ли это, что не тут и не там, везде и нигде. Не есть ли это распыление сил, чувств, мыслей, самого бытия?

— Так думали противники технического прогресса, новой научной и технической революции. Они предполагали, что слишком быстрое движение лишит личность глубины и содержательности, сделает человека суевающимся, вечно куда-то спешащим существом. Но они ошиблись. Быстрота движения не помешала людям размышлять, чувствовать полноту и прелесть бытия, наоборот — человек освободился от спешки, от нетерпеливой заботы, от боязни чего-то не успеть, куда-то опоздать. Он знает, сколько минут и часов от дома до места работы и от места работы до любого пункта солнечной системы. В наше время опаздывает только тот, кто этого очень хочет. Но идемте! Нас ждут. Тропа ведет прямо к дому.

10

Воздух был синь и прозрачен, как река. Река неслась и шумела внизу под скалой. На другом берегу стояла гора.

Я крикнул. И, как в раннем детстве, радостно и протяжно мне ответило густое эхо из леса.

Я крикнул еще раз. И бытие мое как бы раздвоилось. Два голоса окликали друг друга, разделенные скалой.

Для чего я кричал? Уж не искал ли я сам себя в этом новом мире? Я словно не верил в свое существование и хотел снова и снова убедиться в том, что я живу, дышу, двигаюсь, вижу и слышу.

Прекрасное спокойствие окружало меня. Лес. Прозрачная, неистово несущаяся по камням горная река. И толстые белые березы рядом с черными пихтами, карабкающимися на круто уносившуюся ввысь гору.

Я стоял на тропе.

Меня кто-то окликнул. Я оглянулся. Это был мой тезка и потомок Павел. Он держал в руках два длин-

ных бамбуковых удилица. Одно удилице он передал мне вместе с прозрачной, как воздух, коробкой, где бились толстые слепни. Они бились, не замечая перегородки, отделяющей их от мира.

— Ловили когда-нибудь хариусов? — спросил Павел.

— Не довелось, — ответил я. — Ведь прожил-то я всего тридцать пять лет. И многого еще не успел в том мире, вернее в том времени, в котором жил раньше.

— Да, это верно. У вас ведь два опыта, две жизни. Та и эта. Два начала. Ну что ж! Разве это так уж плохо?

По узкой тропе мы спустились к реке. Я выбрал самого толстого, упитанного слепня, надел его на крючок и, взмахнув удилицем, далеко закинул леску с наживкой.

Через минуту я забыл о своем спутнике. А он, вероятно, забыл обо мне. Прекрасный, сказочно растянувшийся миг, наполненный звенящей водой и прозрачной синью, принял меня со всем моим прошлым, замкнув в этом покое.

Леска натянулась. Хариус схватил наживку.

Миг превратился в день, а затем в неделю.

Я гостил у Павла, подружился с его семьей.

Павел и его семья жили в небольшом, сказочно менявшемся доме с убирающимися стенами. По желанию живущих стены дома становились то глухими к шуму, слепыми и не пропускающими света, то идеально прозрачными и зоркими, вбирающими в себя все окружающее пространство: реку, горы, небо, облака, всю убегающую за горизонт даль. Когда они были не нужны, они просто исчезали.

В доме, что меня поразило, не было вещей. Вещи появлялись — да, именно появлялись по мере необходимости вместе с желаниями живущих, ночью — одни, утром — другие, в обеденный час — третьи. Затем они словно растворялись в воздушной среде и теряли свои очертания.

Быт без вещей был прекрасен, как природа. Ничто не отяжеляло взгляд, не отнимало пространства

ни в доме, ни возле дома. Воздух, деревья и стены, похожие на струю горной реки.

— И в городских домах тоже нет вещей? — спросил я Павла.

— Они и есть, и их нет, — ответил Павел. — Они появляются по желанию и исчезают. Правда, еще есть люди, которые любят вещь. Ее предметное, тяжелое, осязаемое бытие. Но это их специальность. Ведь эти люди работают в музеях истории быта. Сейчас невозможно смотреть без улыбки на все эти буфеты, комоды, стулья, кровати, горшки. Тяжелые, неуклюжие предметы, красноречиво повествующие о жизни всех этих владельцев движимой и недвижимой собственности. «Собственность». Смешное и нелепое слово! Как слово «таракан». Тараканов уже нет. Их изучают палеознтомологи... В нашем мире вещь перестала быть вещественной. Она развеялась. Слилась с желанием человека. Сказочная мечта о скатерти-самобранке осуществилась. Теперь вещи служат человеку, находясь в пространстве и времени ровно столько, сколько это нужно.

Я жил, жадно и остро вбирая в себя все, что меня окружало. Второе детство, вторая юность, вторая зрелость, другая жизнь.

Мальчика, сына Павла, игравшего в пихтовом лесу, звали Коля. Ему было пять с половиной лет — почти столько моему Коле, когда эксперимент, проданный надо мной Обидиным, навсегда разлучил нас с ним и перенес меня из одного времени в другое.

Этот Коля чем-то был похож на моего мальчика, своего предка. Впрочем, в этом возрасте все мальчики похожи друг на друга. Он играл в лесу на поляне недалеко от дома. У него не было игрушек фабричного производства. Он сам мастерил их. Как я позже узнал, ребенка не хотели приучать к готовым вещам и предметам, сделанным чужой рукой. Его приучали самого создавать мир вокруг себя.

Появлялся Коля дома только на час, на два. Затем машина быстрого движения уносила его в интернат, расположенный за несколько тысяч километров от дома. Няня была не нужна. Машина с роботом, заменявшим и шофера и няню, доставляла Колю до места. Пятилетний мальчик не боялся остаться наедине с

роботом в машине быстрого движения. Ведь путешествие занимало всего несколько быстрых минут, скользивших привычно и почти незаметно. Оптический аппарат, включенный во время движения, мог в любое мгновение показать мальчику милую улыбку мамы и строгий взгляд отца, принести слова ласки и одобрения из пространства, как бы находящегося и далеко и рядом.

Даль и близь сливались в единство, «тут» и «там» подчинялись желанию Коли, в чьем распоряжении были машина и робот. Но мог ли он улететь куда-нибудь дальше интерната или сделать посадку ближе? Я этого пока еще не знал. Я о многом еще не успел спросить Павла, его жену Аню и самого мальчика. Кроме них, в доме жила еще старушка, Анина мать — Людмила Сергеевна. Из всей семьи она одна смотрела на меня настороженно, чуточку испуганно, хотя и тщательно старалась скрыть свои чувства. Виновата ли она была в том, что ее здравый смысл пожилой женщины не мог примириться с парадоксальностью моего существования, объяввшего две разные эпохи и пребывавшего в течение трехсот лет по ту сторону и жизни и смерти? Едва ли! Здравый смысл говорил ей, что в этом кроется что-то непонятное и почти сверхъестественное, противоречившее всему ее личному житейскому опыту, помноженному на опыт многих поколений. Правда, тут были замешаны науки и эксперимент. Ну и что? Здравый смысл и инстинкт житейской трезвости подсказывали ей, что дело идет о чем-то сомнительном и недостоверном. Она смотрела на меня, как в мое время слишком трезвые и осторожные люди смотрели на фокусника в цирке, творившего мнимые чудеса при помощи ловких рук и профессиональных навыков и при этом повторявшего назойливо и фальшиво: «Граждане, чудес не бывает. А есть только наука и искусство». Уж не фокусник ли я, не профессиональный ли обманщик, пробравшийся в их дом с какой-то явно сомнительной целью?

Какое я имел право — если и это было на самом деле — нарушить логику жизни, извратить законы природы и появиться снова на свет после долгого пребывания «нигде»?

Людмила Сергеевна не могла ко мне привыкнуть.

Я этого не мог не заметить. Вероятно, она с нетерпением ждала, когда пройдут все сроки оказанного мне гостеприимства и я вернусь туда, где пребывал так долго, играя в прятки с временем и судьбой. Сроки! Нет, о сроках пока не было речи. Я гостил, и гостеприимные мои хозяева, Павел и Аня, не напоминали мне о том, что пора переменить обстановку. Может быть, следовало мне самому напомнить об этом? Но имел ли я право распоряжаться своим временем и желаниями? В какой-то мере я был экспериментальным материалом, и все дело зависело от ученых, изучавших дискретные явления жизни и их последствия для человеческого организма.

Людмила Сергеевна наблюдала за мной, по-видимому, вопреки своему характеру, чуждавшемуся всего странного, загадочного и двусмысленного, наблюдала из любопытства. Я замечал иногда взгляд ее глаз, привыкших иметь дело с обыденным, домашним, интимным, прирученным к человеческим навыкам и чувствам, я был для нее словно призрак, обязанный сейчас же исчезнуть, испариться. Но призрак вел себя слишком естественно: он ел, кашлял, жаловался на головную боль, он рассказывал Коле старинные сказки про милых и наивных зверей.

В свою очередь, я тоже наблюдал за Людмилой Сергеевной. Она была тем, что в мое время называли домашней хозяйкой. В отличие от дочери, зятя и внука она не отлучалась на долгие часы из дома. Она пребывала здесь, среди этих стен. Ей не надо было суетиться, спешить на рынок, в булочную или в прачечную. За нее это делали роботы, полумеханизмы-полуорганизмы. Внутри них происходили такие же быстрые и сверхэкономные биоэнергетические процессы, как в живом человеке. Что значит сила привычки! Людмиле Сергеевне они казались не более необычными, чем ветви столетней сосны, стоявшей возле дома. В то время как я, обычный человек, не урод и не покойник, одним своим наличием приводил в крайнее замешательство ее рассудок. По-видимому, ради зятя, которого она любила и уважала, она заставляла себя терпеть мое присутствие и не давать волю своим чувствам. Иногда на ее лице появлялась любезная улыбка, она улыбалась мне, но не ради моей особы, а

ради зятя и науки. Сколько стоила ей эта улыбка и ласковые слова, обращенные ко мне, ласковые слова, сквозь которые все же пробивались неприязнь и страх!

В ней было много мужества, в этой старушке, заставлявшей себя оставаться в доме вместе со мной, когда отбывали на работу Павел и Аня.

Разговаривая со мной, она тщательно избегала прошедшего времени и употребляла только те слова и выражения, которые ей и мне давали возможность не переступить за пределы текущего мгновения. Я тоже старался при ней не говорить о своем прошлом.

— Вы что любите больше, — спросила она меня, когда мы остались вдвоем, — макароны или цветную капусту?

— И то и другое, — поспешил ответить я.

Как я благодарен был ей именно за эти домашние, прозаические слова! С Павлом и Аней мы больше говорили на философско-отвлеченные темы.

— С соусом или без соуса? — последовал вопрос.

— Вы ставите меня в затруднительное положение, — ответил я, — для того чтобы сказать точно, я должен вспомнить, что я любил триста лет тому назад.

Лицо Людмилы Сергеевны исказилось, стало презрительным и гневным.

— Меня не интересует ваше прошлое. Еще учась в школе, я ненавидела археологию и всякие древности.

Какой-то бес дернул меня продолжать в том же духе, в каком я начал.

— Для вас это археология и древности. А для меня — увы! — это такая же реальность, как вчерашний день!

Наступило продолжительное молчание. Молчанием старушка отгораживалась от меня и от моего прошлого, так неделикатно напоминавшего о себе.

11

Там, в бесконечных просторах вселенной, живет другое время, время, враждебное всем человеческим меркам и привычкам.

В те дни я еще не подозревал о коварстве эйнштей-

нова времени и с доверием смотрел на свои ручные часы «Москва», где на черном циферблате торопилась только одна стрелка — длинная красная стрелка, отмечавшая секунды. Остальные стрелки не спешили.

Я ждал Ольгу на скамейке бульвара. Мы должны были встретиться здесь, а потом отправиться вместе с ней к Всеволоду Николаевичу с визитом. Я терпеть не могу это жесткое, накрахмаленное слово «визит», но попробуйте-ка найти другое! Ведь я шел в гости не к сверстнику-приятелю, а к пожилому профессору, к заведующему лабораторией, и поэтому мне пришлось долго ждать свою жену, сидевшую в парикмахерской на улице Желябова.

Парикмахер не спешил, он завивал Ольгины волосы, нисколько не сомневаясь в том, что нет на свете дела важнее. Он, этот парикмахер (вспоминаю я сейчас, забегая вперед), делал Ольге прическу и накануне того дня, когда Ольга разлучилась с Землей, чтобы познать другое пространство и другое время. И тогда парикмахер тоже не спешил, хотя, может, и следовало поспешить. Он ведь не знал, что его клиентка отбывает в командировку, продолжительность которой измерялась не днями, а столетиями. А Ольга его не торопила.

Я несколько забежал вперед и спутал времена. Но мне это придется делать часто и впредь...

Ольга не торопилась, а я нервничал. Я знал, как ценит аккуратность мой шеф.

Мы пришли на улицу Салтыкова-Щедрина, где жил Обидин, чуточку опоздав. Все гости были уже в сборе и сидели за столом.

Обидин рассказывал о своей московской тетушке, которой недавно исполнилось девяносто восемь лет. Девочкой-подростком она присутствовала на знаменитом пушкинском торжестве и слышала речь Ф. М. Достоевского. Сейчас это кажется чудом.

Все вдруг присмирели, очевидно, мысленно желая представить себе промежуток, отделявший нас от той эпохи, когда жили Достоевский и девочка, которой посчастливилось слышать его страстный, задыхающийся шепоток, — девочка, ставшая нашей современницей.

Потом, как это часто бывает в обществе, разговор без всякой причины ушел в сторону и коснулся профессора Чемоданова и недавнего происшествия с его шубой. Рассказывал Димин. Он был большой мастер устной речи, создатель институтского фольклора. На днях вахтерша, охранявшая шубу Чемоданова, отлучилась в буфет, и в это время шуба исчезла. Начался ужасный переполох. Но расторопному водопроводчику Грише удалось задержать вора. И шуба снова висит на своем месте. Она ввела в искушение человека, уже было вступившего на честный путь. Все посмеялись.

Потом какой-то незнакомый мне профессор москвич с полуседыми солидными усами и детскими глазками, совсем уж не профессорскими, напомнил о загадочном случае, сенсационном и парадоксальном, приведшем в крайнее замешательство всех палеонтологов и зоологов, о древней, считавшейся давно вымершей рыбе, пойманной в Атлантическом океане и своим существованием нарушившей все законы эволюции и времени. Ну, пусть эта рыба живет себе на здоровье и резвится в современных водах, как она резвилась сотни миллионов лет тому назад, еще в палеозойскую эру, но из-за этой не вовремя выплывшей рыбы ему, бедному ихтиологу, пришлось переделывать уже печатающийся учебник ихтиологии и оплатить новую работу типографии.

Тут вмешался молодой, красивый и самоуверенный человек, оказавшийся юристом. Он заявил, что ихтиолог не должен оплачивать типографские расходы за переверстку и новый набор: ведь причиной была не небрежность автора, не его прихоть, а прихоть самой природы, выкинувшей неожиданный номер.

Ушли от Обидиных мы во втором часу ночи и долго ждали автобуса.

— Ну, как тебе понравилась эта история с рыбой? — спросила Ольга. — Мне больше понравилась история с чемодановской шубой.

— Эти факты, — сказал я, — имеют какое-то внутреннее сходство. Оба из области палеонтологии.

В тот же день Людмила Сергеевна призналась мне, сложив губы в полупрезрительную и отнюдь не любезную улыбку:

— Я не могу привыкнуть к вам. Не могу! Все мои чувства насторожены. Кто вы?

— Я — Павел Погодин. Павел Дмитриевич. Тетка и предок вашего зятя. Разве вам это не известно?

— Предок! Вдумайтесь в смысл этого слова: не означает ли это, что вас не должно быть здесь?.. Здесь Коля, ребенок, мой маленький внук. От него тщательно скрывают ваше прошлое. Ему еще рано знать, что невозможное стало возможным. Да и стало ли? Не хочется в это верить.

— Я не очень настаиваю, чтобы вы верили. Забудьте о том, что у меня две жизни. Вообразите, что я просто гость, знакомый вашего зятя, наконец просто человек, которого ваш зять изучает. Он ведь ученый.

— Он мог бы изучать вас там, в своем институте.

— Но, помилуйте, я же не сам напросился на гостеприимство вашего зятя. Не далее как вчера я наметнул ему, что мой визит несколько затянулся и не пора ли... Но он не дал мне даже закончить фразу. «Нет, не пора». Он долго и терпеливо объяснял мне, что мое пребывание здесь, в этих благодатных местах, необходимо для моего еще не окрепшего организма и для науки, интересам которой он служит.

— А все-таки, кто вы? Кто вы — не в том смысле, что у вас есть имя, отчество и фамилия, а в другом, более существенном? Мои чувства не хотят признать вас как нечто законное, естественное и соответствующее обычной реальности. Если бы вы мне сказали, что это мистификация, дурная, нелепая, абсурдная шутка, я бы очень обрадовалась.

— Ну, хорошо, — сказал я, — считайте, что все это мистификация и абсурд. Мне, наконец, это надоело. Я тоже устал от ваших сомнений и вашей откровенности. Согласитесь сами, не для того же я пребывал столько лет в состоянии анабиоза, чтобы сидеть здесь, на этой тихой периферии, вдали от центра жизни.

Меня начала раздражать эта старая женщина, явно тяготившаяся моим присутствием и не хотевшая от меня это скрывать. За откровенность я платил ей откровенностью. Мне приходилось проводить слишком много времени в ее присутствии. В доме в эти часы не было никого. Чтобы не раздражать ее, я либо уходил в лес, либо замыкался в молчании. Но она, как все старушки всех времен и народов, не любила молчания, сама начинала разговор со мной, и обязательно о моей скромной особе, о том двусмысленном и загадочном, что, по ее мнению, было связано с моей странной и не Располагающей к себе личностью.

Однажды она спросила меня:

— А почему вы согласились и дали ученым возможность совершать над вами этот возмутительный и противоестественный эксперимент? — Она строго посмотрела на меня и продолжала: — Только не пытайтесь уверить меня, что вы это сделали ради науки и общества, скажите истинную причину.

— Я не собираюсь ее скрывать. Дело в том, что моя жена отправилась в космическое путешествие на фотонном корабле и, согласно теории относительности, должна вернуться на Землю примерно через триста лет. Я ее жду. Разве ваш зять не сказал вам об этом?

— Может, и говорил, но я пропустила его слова мимо ушей. А скорее всего — умолчал. Он считает меня отсталой, старомодной, консервативной женщиной и разговаривает со мной преимущественно о вещах очень конкретных и близких, а главное — понятных.

На последнем слове она сделала ударение. И повторила:

— А главное — понятных.

Я сделал вид, что не обратил на это внимания, и продолжал:

— И вот я жду ее. Свою жену. Я ждал ее триста лет. Ее отбытие в столь длительное путешествие и дало мне право подвергнуться всему, чего требовал от меня эксперимент. Желающих анабиозироваться было много. Но, во-первых, я сам работал в лаборатории дискретных проблем, а во-вторых, мне хотелось увидеться с женой.

Людмила Сергеевна посмотрела на меня с любопытством, но к этому любопытству примешивалось нечто злорадно-насмешливое.

— И вы хотите подкупить меня этой сентиментальной историей? Не удастся! Даже если это было в самом деле так, имели ли вы право, вы и ваши экспериментаторы, нарушать естественный ход жизни? В вашем состоянии и поведении есть нечто противоестественное.

— Возможно, — ответил я. — Но ведь согласитесь сами, что кому-то, скажем, моим современникам, показалось бы противоестественным многое из того, что вы считаете привычным. Скажем, робот-няня, который или которая отвозит Колю в интернат в машине быстрого движения. В мое наивное время ни одна мать не доверила бы своего ребенка бессердечному автомату, ни одна мать, и тем более ни одна порядочная бабушка. — Я не без умысла подчеркнул интонацией голоса это слово. — Да, ни одна уважающая себя бабушка.

— Бессердечному? Откуда это вам известно? Да ведь дело совсем не в этом, есть или нет сердца. Важнее другое: няня-автомат застрахована от ошибок и случайностей. Ее бесперебойная работа гарантирует от всяких несчастных случаев, на нее можно положиться.

— Своего сына Колю я бы не доверил не только механической, но и живой няне. Я сам отвозил его в детский сад Академии наук, что на Университетской набережной, и сам привозил его оттуда. Я терял на это ежедневно почти два часа. Но никогда не жалел об этом. Мне эти два часа доставляли радость. Я брал своего мальчика, вел к троллейбусной остановке. Затем он залезал ко мне на колени. За стеклом троллейбуса бежали дома, мелькали пешеходы, деревья. Я смотрел сквозь стекло троллейбуса словно Колиными глазами. Все вдруг свежело, молодело, стало огромным и загадочным. Мое существование в эти часы как бы сливалось с Колиным. Мы читали вместе с ним по слогам вывески и соединяли вместе не только буквы и звуки, но и то, что в тысячу раз конкретнее букв и звуков: суть и облик вещей. Сквозь оболочку привычных названий магазинов, ресторанов, кафе, учреждений пробивались сказочные миры. Иногда

мы читали не слева направо, как полагалось, а справа налево, извлекая странную музыку из каждого слова и названия. Поездка в троллейбусе никогда не казалась нам слишком долгой. Наоборот, мы с сожалением покидали свое место, когда троллейбус подбегал к последней остановке. «Папа, — однажды спросил меня Коля, — а есть где-нибудь такой троллейбус, который бежал бы без остановки день, неделю, месяц, год, сто лет... Все бежал бы и бежал, забыв остановиться... Есть?» — «Нет, такого троллейбуса нету, Коля, и не может быть. Он не нужен людям». Я ответил, может быть, чересчур категорично, если учесть все последующее. Но Коля все равно не поверил мне. В его детском воображении уже возник этот чудесно бегущий троллейбус. И своему воображению Коля поверил больше, чем моим равнодушным словам. Коля был очень забавный мальчик.

Людмила Сергеевна слушала меня, пока не прерывала. Но в ее глазах по-прежнему играло насмешливо-настороженное выражение.

— Однако же, — сказала она, — ваша любовь к своему забавному мальчику не помешала вам бросить его, бросить навсегда. По-видимому, эксперимент вам был дороже, чем мальчик. Вы пожертвовали мальчиком ради сомнительной возможности анабиозироваться, изведать холод временного, но все же довольно продолжительного небытия.

— Во-первых, я жертвовал не им, а прежде всего собой. Мой мальчик был окружен заботой.

— Но вы расставались с ним навсегда!

— Да, если хотите, навсегда. Но я расставался навсегда не только с ним, но и со всеми своими современниками. Я расставался с временем, в котором родился и жил, с домом, с товарищами, с институтом. Со всем тем, что необходимо каждому человеку.

— И вы еще упрекаете в бессердечности искусственную няню моего внука! Вы, совершивший бессердечный поступок! Вы...

Она, по-видимому, еле сдерживала себя, чтобы не наговорить мне лишнего. Но потом спохватилась, вспомнив о просьбе зятя и дочери быть со мной внимательной.

— Извините. Я стара. Отстала от жизни. И, должно быть, многого не понимаю.

— Не приbedняйтесь!

Это словечко из лексикона моего времени подвернулось на язык случайно.

— Что вы сказали? — насторожилась Людмила Сергеевна. — Я не поняла.

— Не приbedняйтесь.

По-видимому, это выражение давно вышло из употребления.

— Вы говорите дерзости, молодой человек.

— Какие дерзости? Помилуйте. Наоборот. К тому же я отнюдь не молодой человек. Вы забыли, что я старше вас на двести с лишним лет.

— Я не хочу ничего об этом знать.

Она встала. И только она встала, как сразу потерял очертания, а затем и исчез стул, на котором она сидела в своей комнате. Появились стена и дверь и отделили ее от меня.

13

Обидин в приподнятом настроении. Он ходит из угла в угол, иногда бросая взгляд туда, где ожидает своей участи красавица белая мышь, предназначенная для очередного опыта.

Обидин спрашивает меня:

— Как вы думаете, стал бы Гёте писать своего «Фауста», если бы жил в наше время?

Я отвечаю:

— А почему бы нет? Идея неплохая.

— Неплохая, но не современная. Что мучило гётевского Фауста? Что не давало ему покоя? Мысль о невозможности безусловного, абсолютного знания.

— Мне бы его заботы.

— Не отшучивайтесь и выслушайте. Гёте работал над «Фаустом», когда крупные ученые, подобно Лапласу, мечтали о емкой формуле, способной объять весь мир. В непокое Фауста, дорогой философ, в непокое Фауста, мечтавшего о безусловном и абсолютном знании, много общего с непокоем Лапласа. В наше время ученые уже не страдают тем, чем страдали Фауст и Лап-

лас, не мучаются от сознания невозможности абсолютного знания. Они понимают, что вселенная настолько богата частностями, настолько разнообразна, что ее нельзя объять одной формулой. Они знают, что каждое событие вовсе не предопределено заранее.

— Как это думали механисты, — перебил я.

— К черту механистов! Не в них дело... Не знаю, как вы, дорогой философ, но в молодости и я мечтал об абсолютном знании. Я тогда не был знаком ни с теорией вероятностей, ни с квантовой механикой, я думал, что можно вместить в формулу весь мир... Но, друг мой, если нам удастся реализовать нашу дерзкую идею, наш парадоксальный замысел, мы подойдем почти к абсолюту.

— Почти? По-видимому, все дело в этом «почти»?

— Да, в этом главная особенность современной науки. Без «почти» нельзя познать мир. «Почти» — это то, что связывает абсолютное с относительным, в сущности, странной для всякого рассудка связью. Мир неисчерпаем и богат неожиданностями. Разве не будет неожиданностью для науки, если мы докажем, что смерть — явление вовсе не абсолютное, что организм можно оживить? Мы освободим человека от железного детерминизма времени, откроем перед ним безграничный простор.

— Но пока речь идет ведь не о человеке, — сказал я, — а всего только о белой мышши. Это ей, с вашего позволения, будет дано интимно познакомиться с будущим, перескочив через настоящее. Анабиоз! Не совсем, впрочем, удачный термин. Жизнь с перерывом, с длинным антрактом, антрактом на несколько столетий...

— Вы забыли о том, что опыт, сколько бы он ни длился, не должен пережить экспериментатора. Откуда я буду знать, что вот эта самая белая мышшь проснется после своего затянувшегося на несколько столетий сна?

— Да, я об этом забыл.

— А может, она не проснется. Не победит время... Еще будучи студентом, я страстно стал интересоваться проблемой времени. Меня удивляло, что все мои знакомые, и умные и неумные, вовсе не рассматривали время как проблему. Они смотрели на часы с таким

видом, словно часовые и минутные стрелки возникли и появились на свет вместе с самим временем. Им не приходило в голову, что у времени нет начала и не будет конца. Их жизнь шла в одном ритме с ходом часов. Время и они, живущие, составляли одно целое. Ведь рыба, плавая в воде, вероятно, считает, что она движется в пустом пространстве... В ту зиму, когда я так много думал о времени, я познакомился с теорией относительности. Меня поразила мысль Эйнштейна, его видение мира. Эта дивная и мощная мысльхватила меня из окружающей обыденной жизни и унесла с собой в космос. Я увидел Землю как бы со стороны, из космоса. И тут передо мной возникла другая проблема, уже не теоретическая, а практическая. Человеческая жизнь коротка, как же человек станет хозяином времени и пространства?

— Но, однако же, — прервал я Обидина, — вы стали заниматься не физикой и астрономией, а биологией, анабиозом, вы взяли себе в учителя не Циолковского и Эйнштейна, а профессора Бахметьева и Петра Юльевича Шмидта.

— Бахметьев ближе к Циолковскому, чем вы думаете. Один дополняет другого. Имейте терпение, философ, слушайте меня, не перебивая. Природа хорошо вооружила организм для борьбы с суровой средой. Но человек вооружает сам себя. Тридцать тысяч лет — от верхнего палеолита до эпохи кибернетики и атомной техники шла борьба за овладение окружающей средой. Но что такое время? Это тоже, в сущности, среда. Оно существует в неразрывном единстве с пространством. Нельзя покорить пространство, не победив время. Но кто-то из физиков, кажется Умов, сравнил жизнь человека с заведенными часами. Восемьдесят лет жизни! Что это по сравнению с миллионами световых лет! И я, тогда еще студент-биолог, подумал: а нельзя ли использовать те закономерности, которые выработала природа организма для преодоления среды, в борьбе с временем, для победы над ним? Жизнь прерывна, что нам доказывает анабиоз... Изучить закономерности прерывности жизни, доказать, что обмен веществ вовсе не равен жизни, а затем победить время. — Обидин рассмеялся. — Как вам нравится эта идея?

— Услышал бы вас Чемоданов! Он давно обвиняет вас в поисках абсолюта.

— Я как раз о нем подумал! На заседании ученого совета, не далее как вчера, когда обсуждали перспективный план научно-исследовательских работ, он заявил, что деньги, отпущенные на наши исследования, это все равно... и при этом сделал жест, сложил губы и фукнул с таким видом, словно эти денежки уже вылетели в трубу. Но Чемоданову в этот раз не повезло. Кто-то из наших хозяйственников намекнул о шести сотнях яиц, отпущенных на опыты группы, которую возглавляет Чемоданов.

— А что случилось с этими яйцами?

— Ничего. Поговаривают, что Чемоданов их съел.

— Завидный аппетит!

— А по-моему, он правильно распорядился этими яйцами. Превратил их в свою плоть и кровь. Хорошая яичница лучше плохого эксперимента. А какой из Чемоданова экспериментатор? Он теоретик. Плохой. Неталантливый. Но все же теоретик. Пишет статьи по философии естествознания.

— Не каждого, кто пишет статьи, можно называть теоретиком.

— Вы хотите отказать Чемоданову во всем. Он и не практик. Он и не теоретик. А кто же он?

14

Как выяснилось, у моего гостеприимного хозяина было две профессии. Крупнейший исследователь, биоэнергетик и биофизик, он совмещал свою научно-исследовательскую работу, и теоретическую и экспериментальную, с непритязательной должностью лесного обходчика. Сторож, или, как в мое время называли, лесник. Вот чем он занимался, поселившись на берегу Катуня.

Сообразно этим двум занятиям распределялось и его время. Проведя сорок пять минут в машине быстрого движения, Павел дома задерживался недолго, переодевался, обедал и уходил в лес.

Что он любил больше — теоретические проблемы или лесные тропы? Трудно сказать. Вероятно, то и другое в равной мере.

Иногда он и меня брал с собою. Я надевал соответствующий костюм. Его костюм. Мы были одного роста и одинакового сложения. Специально предназначенный для этого робот помогал мне одеться. Вот это было уже совсем ни к чему и порядком меня смущало. Смущение мое усугублялось еще и тем обстоятельством, что у механического помощника, расторопного и угадывающего все мои желания, было человеческое имя: Митя.

Это имя, простое и милое, звучавшее несколько фамильярно и интимно, облекало своим звучанием нечто, стоящее по ту сторону жизни. Митей называли предмет, вещь. Вещь ли? Вещи никогда не бывают разумными, хотя и служат разуму. А Митя был воплощением разума, хотя и относился к существам неодушевленным. Он никогда не ошибался, исполняя мои желания. Между ним и мной существовала, как я узнал позже, связь, о физической сущности которой в XX веке имели смутное представление. Механических слуг и людей связывало силовое поле, однако же не электромагнитной природы. Физическая сущность этого силового поля была более деликатного свойства, чем грубые электромагнитные волны. Помню, в какую ошибку я впал, сказав однажды при Павле:

— Счастье, что Митя и ему подобные лишены эмоций.

— Как сказать! Он, в сущности, весь состоит из эмоций. Ведь физическая природа силового поля, которое соединяет вас с Митей, имеет прямое и непосредственное отношение к эмоциям. Митя чересчур эмоционален. Он постоянно чувствует ваши переживания и сопереживает вам.

— Тогда это ужасно! — сказал я. — Я думал, что пользуюсь услугами бездумной вещи, автомата, механизма. Я не думал, что он чувствует и переживает.

— Он весь состоит из чувств и переживаний. Он наполнен эмоциями, как лирический поэт или актер-трагик. Но успокойтесь! Он ведь не личность. Его эмоции имеют чисто служебный, утилитарный характер.

— Но он чувствует, сочувствует, сопереживает?

— Эти чувства и переживания существуют в нем не для себя, а для вас. В Мите нет того, что мы называем «я». Митя как бы неотделим от того, кому он служит. Он ваш придаток. — Павел усмехнулся. — Эмоциональный придаток, учтите!

Я с облегчением вздохнул, когда Митя удалился. Мы разговаривали о нем, словно он в самом деле был только вещью, только предметом.

В лесу Павел старался обходиться без роботов. Труд лесника, в сущности, архаический труд, древняя работенка, чуждавшаяся техники.

Я помогал Павлу собирать опавшие сучья. Мы складывали их в кучу и разводили костры. Дым забивался в нос и в глаза, он напоминал мне и Павлу о тех далеких временах, когда люди считали пылающий костер и желтое, мечущееся между ветвей пламя почти чудом.

Посидев у костра, помечтав, полюбовавшись огнем, бросавшим отсвет на воду шумевшей рядом горной реки, мы шли дальше. Павел шел рядом со мной. Повидимому, он побаивался, чтобы я, чего доброго, не заблудился. Стоило мне отойти на несколько шагов в сторону от тропы и скрыться в густой чаще, как Павел уже окликал меня:

— О-о! Павел Дмитриевич! Где вы? Ау!..

— Я здесь!

И Павел каждый раз не мог скрыть радость, когда снова стоял рядом со мной.

— Жаль, — сказал он, — что вы оставили дома Митю. Митя бы без всякого «ау» знал, в какой вы стороне. А сейчас он сидит дома и скучает без вас. Я ведь его подключил к вам. Он теперь ваш эмоциональный двойник. Вы ушли, и он уже затосковал. И теперь будет тосковать каждый раз.

— Это хорошо или плохо? — спросил я.

— Я не совсем понимаю ваш вопрос. Кому хорошо? Ему? Мите? Вам? Для Мити не существует ни «хорошо», ни «плохо». Он живет по ту сторону оценивающих принципов. Оценивать может только человек. А Митя — вещь. Эмоциональная, тонко чувствующая вещь, но все же вещь. Что касается вас, вам хорошо. У вас есть помощник, эмоционально слитый с вами, идеально пригнанный к вам угадчик и исполнитель

ваших желаний... Примерно сто семьдесят лет назад, еще в двадцатом веке, физики и биофизики раскрыли физическую сущность некоторых таинственных явлений психики. Вот наглядный и тривиальный пример одного из этих явлений. С хозяином в пути случилось несчастье. Собака, оставшаяся дома, начинает беспокоиться. Она воет, мечется, выражает свою тоску, свое горе. Откуда она узнала, что в пути с хозяином случилась беда? Об этом еще не знают люди. Но она осведомлена. Какие-то неизвестные науке волны принесли ей известие. Физиологи пренебрегали такими явлениями до тех пор, пока смежные области науки не заинтересовались ими. И вот выяснилось, что живые близкие существа связаны особой связью. Была раскрыта сущность этого силового поля. Мир узнал нечто новое о том, что называют эмоциями. Не сразу пришла в голову ученым мысль наделить эмоциями вещи. Философы и поэты жаловались, что слишком механической становится цивилизация. Бездушные, ледяное поведение роботов, исполнявших физическую и утилитарно-интеллектуальную работу, не удовлетворяло наиболее чутких и тонких людей. И вот совсем недавно техники решили воспользоваться силовым полем, связывающим людей эмоциональной связью, для того, чтобы создать вещи особого типа. На свете появились чувствующие предметы. С наивно философской точки зрения это алогизм, если не полный абсурд. Вещь, объект включил в себя, внедрил нечто, присутствующее только субъекту. Будем рассуждать дальше. Значит, объект стал более субъективным? Уменьшился разрыв между моим «я» и вещью, отраженной моим сознанием? Не так ли? Эти вопросы дискуссионны. Ни о чем так сейчас не спорят философы, ученые, лирики, как о Мите и ему подобных. Пока их немного. Митя — это экспериментальный робот. Он в стадии испытания. Да еще большой вопрос, одобрит ли общество этот эксперимент. Это будет в скором времени решаться. Пока идут дискуссии. Но вернемся к Мите. Кто такой Митя? Или, вернее, что это такое? Во-первых, между «кто» и «что» нужно поставить тире. Митя где-то в промежутке между «кто» и «что». Он и то, и другое. И в какой-то мере не это и не то. Его чувства обострены. Он переживает не за себя, а за вас, только за

вас, другие люди его не волнуют. Малейшая ваша неудача, оплошность, ошибка огорчают его. В нем нет ничего от «эго», от личности. Он бесконечно добр. Но философы ожесточенно спорят, можно ли это называть добротой. Вы устали? Давайте посидим у костра. Отдохнем. Я тоже устал.

15

Митя исполнял мои желания. Правда, он не в силах был выполнить мое самое сильное желание — ускорить срок моей встречи с Ольгой.

Пока об Ольге не было никаких сведений. Я очень страдал. И мой слуга-двойник, мой эмоциональный дублер, переживал за меня. Он был воплощением отзывчивости, доброты, сердечности, но все эти добродетели и чувства были отъединены от разума, они имели чисто служебный характер. Страдал ли Митя «для себя»? Павел уверял меня, что он этого не умел. Да и само понятие «для себя» отсутствовало в программе этого автомата. Я все-таки решил мысленно называть Митю автоматом. Это мне облегчило общение с ним, помогало пользоваться его услугами, не чувствуя угрызений совести.

Как-то между ним и мною произошел любопытный разговор, записанный мною дословно.

Я. Что вы знаете о себе? Кто вы?

Митя. Я — Митя.

Я. Человек вы или вещь?

Митя. Не понимаю.

Я. Вы чувствуете?

Митя. Да.

Я. Думаете?

Митя. Да.

Я. О чем вы думаете?

Митя. О вас.

Я. Еще о ком?

Митя. Еще о вас. Только о вас. Больше я ни о чем не умею и не могу думать. Я думаю о том, о чем думаете вы.

Я. Откуда вы знаете, о чем я думаю?

Митя. Я ваш эмоциональный двойник.

Я. О чем я сейчас думаю?

Митя. Вы думаете сразу о многих вещах. И мне очень трудно. Сейчас вы думаете о том, что не хотите встретиться с Людмилой Сергеевной. Я тоже не хочу.

Я. А можете вы захотеть то, чего не хочу я?

Митя (*смущенно*). Не пробовал. Но могу попытаться.

Я. Сделайте попытку. Пожалуйста. Я вас прошу.

Митя. Боюсь, что мне будет очень трудно.

Я. Но все-таки попробуйте. Я вас очень прошу.

Митя (*после продолжительного молчания*). Я хочу подышать свежим воздухом.

Я. Но это не ваше, это мое желание. Я только что об этом подумал.

Митя (*смущенно*). А я думал, что это мое желание.

Я. Ну, значит, наши желания случайно совпали. Это бывает.

Митя. Я еще мало знаю о том, что бывает и чего не бывает. Я существую всего три месяца. А правда, что вам триста лет?

Я. Откуда вы это знаете?

Митя. В мою программу входит ваш опыт. Но только теперешний опыт. То, что было до вашего пробуждения, я не знаю. И это мне не нужно. Прошрое. Далекое прошрое. А там я бессилен чем-либо вам помочь.

Я. Так вы умеете думать? Даже и размышлять? Я этого не ожидал. Мне сказали, что вы только чувствуете...

Митя. Это правда. Я только чувствую. Но иногда я могу и мыслить. Очень редко. Когда что-нибудь не в исправности. Сейчас должен прийти техник, наблюдающий за мной.

Затем Митя вышел из комнаты, вышел бесшумно, как всегда. Я рассказал о своей беседе с Митей Павлу, как только он вернулся из института.

Павел задумался. Он долго ходил из угла в угол комнаты, потом сказал мне:

— Какие-то неполадки. Вещь находится в стадии эксперимента. Что-то не получилось. Но техники проверят. Это хорошо, что вы наблюдаете за ним и запи-

сываете свои наблюдения. Президиум Академии наук и Высший технический совет очень интересуются вашим непредубежденным мнением об этом экспериментальном роботе.

Я был польщен этими словами и, кажется, не сумел скрыть свое смущение.

— Вы мне льстите, дорогой Павел, — сказал я. — Кого может интересовать мое мнение о технической новинке? Я отстал более чем на триста лет.

16

Я. Митя, о чем вы сейчас думаете?

Митя. О том же, о чем думаете вы. О ней.

Я. Но вы же ничего не знаете о ней, кроме того, что триста лет назад мы с ней расстались.

Митя. Мы? Мы расстались? Мы?

Я. Не мы, а я! Я расстался с ней. Вас тогда не было и не могло быть! Кибернетика в те годы была молодой наукой. И многие надеялись, что машины научатся думать, но никто еще не думал, что они будут уметь чувствовать и переживать.

Митя. Я не знаю этого.

Я. Вы и не должны об этом знать. Да и зачем? Но я не могу понять, почему вы тоскуете по женщине, которую вы ни разу не видели?

Митя. Я тоскую по ней только потому, что тоскуете вы. Я ваш двойник, эмоциональный придаток.

Я. Успокойся, Митя. И, ради бога, отвлекись. Думай о чем-нибудь другом. Кстати, если тебе не трудно, принеси, пожалуйста, книги.

Митя. Какие?

Я. Те, что доставлены были вчера. Они в соседней комнате.

Митя уходит за книгами.

Я наблюдаю за ним, записываю свои наблюдения. В свободное от этих занятий время я много читаю. Мне нужно заполнить промежуток в триста лет, разделяющий настоящее от прошлого, узнать, хотя бы схематично и вкратце, о всех тех событиях в политической, экономической и культурной жизни человечества, ко-

торые случались за все то продолжительное время, пока я пребывал в пассивном состоянии, в состоянии заторможенных и почти остановленных процессов жизни.

Я читаю с жадным, захватывающим все мое существо интересом. Я волнуюсь и, конечно, переживаю. И все мои волнения и переживания сразу передаются беззащитному Мите, моему эмоциональному двойнику. Иногда мне кажется, что он не сможет перенести такую сильную нагрузку. Он слишком впечатлителен. Пожалуй, еще впечатлительнее меня. Конструкторы, создавшие его, были, по-видимому, слишком темпераментные и щедрые люди, они явно перестарались.

Сочетание крайней впечатлительности и нервности с обликом и сущностью вещи (внешне Митя — обычный робот, предмет, механизм, собранный из металлических и пластмассовых частей), это сочетание создает нечто такое, к чему я не могу привыкнуть. Эмоциональность, а значит, и в какой-то мере духовность, как бы пробивается сквозь нечто холодно вещественное, безразлично предметное, чуждое и враждебное всякой субъективности, всякой духовности. Парадокс? Противоречие? Логическая загадка? Синтез того, что противится слиянию?

Я делаю попытку подробно развить эту мысль, готовясь к выступлению на сессии Академии наук, где будут обсуждаться эксперименты с роботами-новинками, подобными Мите. Об этом мне сообщил Павел, передав привет от президента Академии и наилучшие пожелания от председателя Высшего технического совета Земли, Венеры, Марса и всех космических станций. Павел не забыл сказать мне о том, что президент и председатель Высшего технического совета очень интересуются моим мнением и многого ждут от моего публичного выступления.

Я не был настолько наивен, чтобы поверить ему на все сто процентов. Я догадывался, что мудрые и опытные люди хотели отвлечь меня от тревожных дум о судьбе Ольги и ее спутников (пока в солнечной системе о них не было никаких известий). Они хотели также помочь мне забыть о том, что я организм и материал для изучения дискретных проблем жизни, и напомнить мне о том, что я человек. А человек не может

жить, не творя и не действуя. Не может. И не должен! Я высоко оценил эту заботу о себе, выраженную таким осторожным и деликатным способом. И именно это обстоятельство заставляло меня тщательно готовиться к обсуждению.

Я боялся, что мои идеи могут показаться смешными и невежественными. Как-никак я отстал на несколько столетий, и не по своей вине. Ведь люди всегда готовы простить все, кроме невежества и самоуверенности. Не быть слишком категоричным? Это я сказал себе в первый же день, когда начал готовиться.

Категоричным был профессор Чемоданов... Я попытался вспомнить этого человека, его походку, выражение лица и его снисходительную улыбку. Но странно, в этот раз я не мог его восстановить в памяти. Чемоданов исчез в потоке времени. Мне удалось вспомнить только его шубу, висевшую отдельно в сторонке, и вахтершу, охранявшую ее.

Не быть слишком категоричным, не быть категоричным, как Чемоданов! Это разумно. Но не значит ли это, что я должен одобрить эксперимент, который внушил мне сомнения?

Вот я и готовился, чтобы дать ответ на этот вопрос.

Я, как уже упоминал об этом, много читал.

Три столетия! Как далеко ушло человечество вперед! Меня прежде всего поразило мастерство изложения. Учебники истории, книги философские и технические, сводки знаний, справочники, монографии были написаны прозрачно, ясно, кратко и выразительно. Мне невольно вспомнились пушкинские строчки из «Путешествия в Арзрум»: «В Ставрополе увидел я на краю неба облака, поразившие мне взоры ровно за девять лет. Они были все те же, все на том же месте. Это снежные вершины Кавказской цепи».

Энергией страстной мысли и предельной сжатостью фразы эти книги напоминали мне пушкинскую прозу. За каждой книгой, даже учебником, чувствовался автор умный, необыкновенно широко и всесторонне образованный человек, не навязывающий читателю свои мысли, а как бы размышлявший о предмете, его интересовавшем. Он, этот автор (каждый автор), не скрывал своей личной заинтересованности и проблематичности предмета от читателя, а как бы приглашал его

вместе с собой принять участие в логическом разгадывании той или иной тайны природы.

Как и триста лет назад, все книги можно было разделить на два рода. Одни пытались ответить на вопрос, что такое окружающий нас мир, другие на вопрос не менее значительный и интересный: что такое человек?

Знания об окружающем нас мире за триста лет обогатились несравненно! Солнечную систему люди знали не хуже, чем в XX веке географы нашу казавшуюся тогда еще большой Землю.

Я был нетерпелив и, разумеется, непоследователен (читатель поймет меня) и не мог заставить себя следовать очередности событий и фактов. Я стремился заглянуть вперед, узнать самое сокровенное, загадочное и интересное.

Разгадала ли наука физическую сущность гравитации? Да, разгадала, а техника использовала. Узнали ли биохимики и биофизики самое главное о происхождении жизни и овладели ли тайной перехода неживой и косной материи в жизнь? Да, узнали и овладели. Нашли ли смелые исследователи на других мирах жизнь, подобную нашей? Да, разумеется.

Но пока, как это ни удивительно, о самом человеке люди узнали за эти триста лет гораздо меньше, чем об окружающем мире. Физиологи и философы все еще спорили о том, о чем они спорили в XX веке. Возникло множество проблем, вопросов, которые ждали ответа. Поразительное развитие кибернетики, в результате которого разум, интеллект как бы отделился от личности и проявил самостоятельность, еще более осложнило эту важнейшую из проблем.

Я жил, учась, переучиваясь и познавая. В студенческие годы я был знаком с одним молодым северянином, бывшим охотником эвенком, приехавшим из таежного стойбища в большой город и жадно вбиравшим в себя знания. Я был похож на него. Я забыл обо всем, чувствуя в эти часы, как бился пульс вселенной. Иногда, захваченный необыкновенной мыслью или фактом, я вскакивал с места и, возбужденный, ходил из угла в угол своей комнаты.

Как бы завидовали мне мои современники, особенно ученые! И они знали великую радость познания, но

они познавали прошлое и настоящее, и только мне, первому из людей, удалось познакомиться с будущим! Я сел, раскрыл книгу, в которой шла речь об интересующей меня проблеме.

«Человек. Кто он? — задавал вопрос автор. Он спрашивал себя и историю, философию и науку. — Кто же он, человек, ставший хозяином солнечной системы, проникший в глубины Галактики? Чем он отличается от других существ?»

На минуту мое «я» как бы слилось с «я» автора этой книги. Спрашивал и он и я, мы спрашивали оба. «Человек! Кто он?»

«Человечество познавало природу, — писал он, — моделируя ее процессы. Искусство моделирования достигло величайшего мастерства уже в XX веке... У себя в лабораториях ученые воссоздавали целые миры в миниатюре. Благодаря точному воспроизведению физико-химических условий, существовавших на Земле накануне возникновения жизни, они проникли в тайну былого. Но легко ли было создать модель психических процессов, подобие человеческого мозга? Нет, не легко, но необходимо. Человеку нужно было взглянуть на себя со стороны, оторваться от всего субъективного, личного, чтобы осуществить это моделирование... Был создан искусственный мозг. Мышление отделилось от человеческой личности, стало безличным, машинным... Помогло ли это человеку увидеть себя со стороны, понять то, что было непонятным и до некоторой степени загадочным? И да, и нет. Мышление как бы отделилось от человека, но было ли человечным и человеческим? Не произошла ли дегуманизация мышления? Философы спорили, ученые искали ответа. Не искусствоведы, а физиологи и кибернетики вдруг вспомнили о художнике XVI века Питере Брейгеле-старшем и о его странном видении человека. Брейгель видел человека как бы со стороны, отделившись от человечества... В этом гениальном художнике было что-то от машинного, сверхличного и сверхиндивидуального видения... Изображая человека, он не сочувствовал ему, а как бы только удивлялся его странному бытию, словно прибыл на Землю с другой планеты. Дегуманизированное, утилитарное, машинное мышление. Оно развивалось, из утилитарного оно становилось теоретическим. Дума-

ющие машины служили познанию. Правда, они думали для человека, а не для себя. Но они умели думать, мыслить... И уже появились легкомысленные теоретики, которые пытались поставить знак равенства между думающими машинами и людьми...»

Я невольно должен был оборвать чтение заинтересовавшей меня книги — вошел Павел Погодин. Он был чем-то взволнован.

— Что случилось, Павел? — спросил я. — Уж не заболел ли маленький Коля?

— Коля здоров, — ответил Павел, — но случилось большое несчастье с Митей. Разве вы не знаете?

— Митя — вещь. Какое с ним могло случиться несчастье? Утром он был здесь. Но потом я забыл о нем, погрузившись в чтение.

— Митя — вещь? — сказал Павел. — Это большой вопрос! Вещи так не поступают. Митя пытался покончить с собой. Он бросился со скалы в Катунь. Его только что спасли. Но он бредит...

17

Я с детства испытывал острый интерес к необыкновенным и выдающимся людям. Я рано начал коллекционировать книги, которые повествовали о выдающихся личностях, прежде всего об ученых, техниках, путешественниках, писателях, политических деятелях. Но вот рядом со мной работал выдающийся и, может, даже гениальный человек, и я не сумел оценить его так, как он это заслуживал.

Профессор Обидин, в сущности, ничем не выделялся среди других сотрудников нашего научно-исследовательского института. Свою научно-исследовательскую работу одно время он совмещал с должностью председателя месткома. Кто мог думать, что этот скромный председатель месткома, тративший уйму времени на мелкие хозяйственно-бытовые вопросы, через триста лет займет место рядом с Ньютоном, Дарвином, Циолковским, Эйнштейном, Резерфордом, что его будут называть величайшим из биологов-экспериментаторов, когда-либо живших на Земле. Кто мог предполагать, что имя, труды и слава старшего науч-

ного сотрудника Обидина перешагнут через земные и солнечные границы и станут известными на далеких обитаемых планетах Галактики.

Нельзя сказать, что в нашем институте вовсе не ценили талант Обидина. Ценить ценили, но по-своему. — Посмотрим! — говорили наши скептики. — Может, и оправдаются его некоторые идеи. Но пока... Пока они все еще находятся в стадии ожиданий и обещаний.

Они говорили «обещаний», но Обидин никому ничего не обещал. И мне кажется, что это была самая большая его ошибка, если смотреть на дело практически. Наоборот, он спешил вселить во всех уверенность, что реализация его главной идеи лежит где-то далеко в будущем. Оказалось же, что она была совсем не за горами.

Обидин тренировал клетки, приучая их к космическому холоду, к температурам, близким к абсолютному нулю. Но сам он любил тепло, любил уют, любил домашнюю обстановку. И при всем этом, как я впоследствии узнал, Обидин страшно боялся, чтобы про него, не дай бог, не подумали, что он узкий специалист, кабинетный или лабораторный затворник. Может быть, поэтому он ходил зимой на лыжах, героически борясь с одышкой и болью в пояснице. Может быть, поэтому он осенью купался в Неве, вопреки строжайшему запрещению врача, лечившего его от радикулита. Может, для этого он ходил скучать в Филармонию и в Малый оперный театр. И не по этой ли самой причине он стал ухаживать за Лизой Галкиной, новой нашей лаборанткой?

О чем он мог говорить с Лизой? О погоде? О новой кинокартине, которую видела Лиза, но не видел он? О нейлоновой кофточке, которую Лиза на днях купила? Неужели он мог выслушивать Лизины суждения о сотрудниках и сотрудницах лаборатории, суждения не очень умные, не всегда справедливые и доброжелательные? И для чего? Чтобы сказать самому себе, что ему, Обидину, не чуждо ничто человеческое? А может быть, и в самом деле на старости лет он влюбился в эту румяную, полнотелую женщину?

Интерес к Обидину как ученому и выдающемуся человеку возрастал с каждым столетием. О нем было

написано множество книг, в которых освещалась и его личная жизнь и его научная деятельность. Опубликована была его переписка и его дневник.

Дневник Обидина чуточку разочаровал меня. Он был слишком сух, в нем было много о деле и мало о себе. Упоминал Обидин в своем дневнике и обо мне. В одном месте было сказано: «нетерпеливый малый». Так прямо и написано: «нетерпеливый», — и при этом выделено курсивом. А в чем, собственно, выразилось мое нетерпение? Об этом умалчивалось. В другом месте было сказано: «нетерпеливый, но любознательный». Спасибо и за это! Но как действительно понять это несправедливое и не слишком удачное выражение — «нетерпеливый»? Так было сказано про человека, который терпеливо пролежал триста лет, ожидая, когда наука свяжет две разорванные половины его жизни! Современники редко бывают справедливыми, а потомки — точными. Я нашел множество неточностей и немало грубых ошибок в книгах об Обидине. Даже в этой его биографии, которая вышла в серии «Жизнь замечательных людей», было немало неточного, вымышленного и не вполне соответствующего действительным фактам. Например, я не мог читать без усмешки те главы этой предназначенной для широкой публики книги, где рассказывалось об отношениях Обидина и лаборантки Лизы Галкиной. Эти отношения были для чего-то очень опоэтизированы и романтизированы, и Лиза Галкина с этих страниц вставала не совсем похожей на себя. Занятиям Обидина спортом автор тоже придавал слишком большое значение, и, читая эти места книги, можно было подумать, что Всеволод Николаевич был выдающимся рекордсменом, чемпионом лыжного спорта, знаменитым альпинистом и человеком большой физической закалки, когда на самом деле он постоянно болел и часто простужался.

Несколько преувеличенной была оценка философской эрудиции Обидина. Знатком истории философии профессор Обидин не был, хотя сам мыслил глубоко и своеобразно. Но откуда взял этот автор, так же как и другие, сведения об увлечении Обидина живописью? Мне об этом, во всяком случае, было неизвестно.

Была и другая неточность, еще более важная. В одном труде говорилось, что Обидин был непосредст-

венным учеником знаменитого русского ученого, профессора П. И. Бахметьева, открывшего анабиоз у насекомых и млекопитающих, тогда как на самом деле Обидин стал заниматься проблемой анабиоза значительно позже и с Бахметьевым лично знаком не был.

Я выписал все неточности и ошибки, чтобы помочь авторам их исправить.

18

Бедный Митя. Он чуть не лишил себя жизни. Сейчас он лежал в больнице поселка Манжерок, что в трех минутах езды отсюда на машине быстрого движения, лежал под присмотром опытных физиологов, чутких врачей и техников, заботливых кибернетиков.

Как я узнал позже, Митя в своем несчастье был не одинок. Одновременно с ним вышли из строя Женя, Валя, Миша и Владик, экспериментальные «роботы-эмоционалы», как их называли иногда, желая упростить это новое и сложное явление, приспособить к разговорной бытовой речи. У них было и более строгое и научное название, название, более соответствующее их странной сущности, которое я запомнил. Женя, Валя, Миша, Митя и Владик — одухотворенные, чувствующие, страдающие вещи, проходившие испытания сначала в лаборатории, а потом и в жизни. Сейчас судьбой этих вещей (моя рука неохотно пишет это слово «вещей», выражение, в сущности, сомнительное и неточно отражающее сложный и загадочный феномен), судьбой вещей, или, точнее, существ, интересовалась вся солнечная система.

Мой потомок Павел Погодин аккуратно и своевременно сообщал мне о состоянии Митино здоровья, как будто он был человеком, этот Митя.

— Сегодня ему лучше, — сказал он мне примерно через неделю после печального происшествия, — значительно лучше. Он уже не бредит и охотно принимает лекарство.

Павел принес с собой несколько книг.

— Вот почитайте, Павел Дмитриевич, роман и это исследование об искусстве. Мне очень хочется знать ваше мнение об этих книгах.

— Почему именно об этих?

Он пропустил мой вопрос мимо ушей. И вместо того чтобы ответить, как-то странно посмотрел на меня и усмехнулся.

Обе книги, которые он оставил мне, — я обратил на это внимание сразу, — были изданы в разное время. На обложках и той и другой не значились имена авторов — только названия. Должно быть, оба автора пожелали остаться неизвестными.

Сначала я начал читать роман. Он назывался: «Труды и дни Василия Иванова». Название скорее говорило о любви к точности, чем об изобретательности автора. По-видимому, автор не хотел гнаться за оригинальностью, хотел быть ближе к жизни и своим несколько деловым и суховатым буднично-очерковым названием желал подчеркнуть это свое стремление смотреть на мир трезво, прозаично, а главное — обыденно.

Но как далеко от истины оказалось это мое поспешное и преждевременное суждение! Уже первые фразы захватили меня крайним своеобразием сюжета и оригинальностью стиля.

Я сделал шаг в предложенный моему воображению мир, и двери этого мира сразу же плотно закрылись. Жалел ли я об этом? Искал ли выхода из этого воображаемого мира в тот, в котором я пребывал, пока не прочел это прозаичное и обыденное название? Ничуть. Я был захвачен повествованием, завлечен. Мое «я» слилось с «я» героя книги Василия Иванова.

Кто же был этот Василий Иванов? Роман отвечал не сразу, не вдруг. Вас проводили сквозь личное и общественное бытие, сквозь жизнь, наполняя душу пространством и временем, приключениями и событиями. Вас переносили с Земли на Венеру и в окрестности Сатурна, на космические станции, вас заставляли испытать все физические и эмоциональные переживания, связанные с опасностями, скитаниями, ошибками и надеждами. Действие захватывало довольно обширное пространство. Из космоса вы попадали на Землю, и тогда вас окружали горные хребты, перед вами расступались шумящие леса, раскидывались просторные поля, или вы оказывались в тишине океана.

Повествование поражало своим эпическим масшта-

бом. Оно уносило вас и за пределы солнечной системы, в далекие миры, а иные из них были населены высоко-разумными существами.

Эти страницы романа поражали воображение и чувства. Читатель уже видел мир не глазами человека, а взглядом сверхразумного существа, жителя далекой планеты. Но эти бесстрастные главы сменялись главами, полными музыки, лиризма и тревоги. Затем на страницах возникали леса, реки, звон падающей воды, плеск, голос любимой девушки.

Прочитав роман, выйдя из этого удивительного мира причудливых образов, глубоких мыслей и чувств, охваченный волнением, я сказал:

— Да, такое глубокое и своеобразное произведение мог создать только человек, Человек с большой буквы. Оно полно истинной и земной человечности.

Потом, несколько дней спустя, я повторил эти слова на дискуссии в Академии наук, и в зале произошло движение. Председательствующий сказал мне спокойно и ласково:

— Вы ошибаетесь, роман написал не человек.

Наступила пауза. Слова председателя захватили меня врасплох. Мое сознание не в силах было проникнуть в их загадочный смысл.

— А кто же? Кто? Уж не думающая ли машина? — растерянно пробормотал я. — Не механический же робот?

— Не машина! Вы правы. И не человек. А высоко-разумное существо, житель далекой планеты Тирмы, поселившийся у нас.

19

Мое сознание человека двадцатого столетия долго не могло свыкнуться с этим парадоксальным фактом. Роман, то есть нечто человеческое, выражающее самую сущность человека, захватывающее и глубоко-психологическое произведение, был создан не человеком, а существом иного мира, жителем другой, далекой планеты.

В тот же день, когда я узнал, кто автор понравившегося мне романа, я узнал и о том, что он непременно

хочет познакомиться и побеседовать со мной. Да, у него есть что мне сказать и о чем меня спросить. Если я не возражаю, спросили сообщившие мне это, встреча произойдет завтра, здесь же в гостинице, где я остановился, прибыв на заседание Академии наук.

Ночью я почти не сомкнул глаз. Я был необыкновенно возбужден и с тревогой ждал встречи с тиомцем. Тиомцем его называл Павел Погодин, по-видимому, желая этим скромным, почти обыденным названием приобщить себя, а заодно и меня к чему-то выходящему за пределы человеческого и земного опыта.

Я думал о предстоящей встрече, и мне вспоминались строчки стихотворения одного рафинированного поэта, жившего в XX веке:

Что, если Ариост и Тассо,
Обворожающие нас, —
Чудовища с лазурным мозгом
И чешуей из влажных глаз?

«Несомненно, — думал я, — это высокоразумное существо с далекой планеты Тиома должно выглядеть странно, а может, даже и страшновато с точки зрения наших земных и привычных представлений. Что, если этот урод вызовет физиологическую реакцию, которую я не сумею скрыть?» Как нарочно куда-то отлучился Павел (кажется, ушел навестить своих приятелей), и не у кого было узнать хотя бы немного об этом загадочном существе. Гостиницу обслуживали роботы, отвечающие автоматически и быстро только на вопросы утилитарного характера. Бессонница томила меня, и, чтобы рассеяться, я снова раскрыл роман, написанный тиомцем. Между внутренним миром, говорил я себе, и внешностью автора этого романа должно быть единство. Существо с прекрасной душой не может быть физическим уродом, страшилищем, вызывающим физиологическое отвращение. Роман — ведь это отражение внутреннего мира того, кто его писал. Я снова поддался обаянию этих чудесных фраз, схватывающих самую сущность бытия, передающих внутреннюю музыку жизни и красоту природы.

В этом повествовании было нечто свободное и освобождающее вас, дарящее вам всю вселенную, все радости и тревоги, все оттенки и краски безграничного

времени и пространства, слившегося с пульсирующими словами-мгновениями в один ритм. Казалось, автор знал о жизни бесконечно много.

Кто же он, этот тиомец? Как он выглядит? Час встречи с ним приближался. И мне снова вспомнились строчки стихотворения, написанного триста с лишним лет назад:

Чудовища с лазурным мозгом
И чешуей из влажных глаз...

Я уснул, уже когда начало светать. И мне приснилось это существо. Оно появилось рядом со мной вдруг, внезапно, сначала проскользнув в мое потревоженное сознание, а затем постепенно облакаясь в пластическую форму. Сначала я услышал голос, беззвучный, как это бывает во сне, слова, сказанные мне игриво и с каким-то nepозволительно фамильярным оттенком:

— А-а, Па-а-ша! Здорово! Ну, как ты тут устроился? Неплохо, вижу, опустил свой якорь. Комфорт. И денежки набегают?

— Какие денежки?

— Какие? Или забыл? Командировочные. За триста-то годиков кое-что скопилось? Только не делай вида, что не интересуешься материальными благами. Не строй, знаешь, из себя святого. А то стошнит.

Он рассмеялся жидковатым смешком, словно хлопывая меня по плечу, и вдруг начал проявляться, как пластинка. Губы. Золотой зуб. Глаза, слегка прищуренные и знакомые. Где я видел этого субъекта? Да это же Володька Мазин. Мой бывший одноклассник. Кончив среднюю школу, Мазин как-то необычайно быстро превратился в толстого одутловатого человека без возраста, без семьи, без обязанностей, без определенной профессии. Лихо отплясывал на вечерах и знал уйму анекдотов.

— Позволь, — спросил я, — как же ты?

— Не удивляйся.

— Но я ждал...

— Знаю, кого ты ждал. Но он, брат, занял у меня костюм и всю внешность. Потому что у него такая, с какой никак нельзя показаться.

— Но как же ты попал сюда? Ведь прошло...

— Ну что особенного? Триста лет прошло. Да и

почему тебе можно, а мне нельзя? Познакомился с этим твоим... как его? Обидиным. Ну, а Обидин меня не обидел.

Он рассмеялся жидким смешком.

Я проснулся. В комнате было светло.

20

И вот он пришел ко мне. На этот раз действительно он, автор удивительного романа, существо с другой планеты, тиомец, как называл его Павел Погодин, чтобы как-нибудь обозначить необозначимое и примирить необыденное и сверхобычное с привычным.

О приходе его в гостиницу мне сообщил робот:

— К вам пришел гость.

— Кто именно? — осведомился я.

И робот ответил неожиданно и с каким-то даже оттенком лукавства:

— Вы отлично знаете, кто к вам пришел.

Ощущение страха охватило меня, леденящее ощущение ужаса, ощущение, в полной мере знакомое только детям и первобытным людям, верящим в бытие сверхъестественных существ.

— Одну минутку, — сказал я роботу. — Где он? Как он выглядит?

Робот ответил механически и бесстрастно:

— Он в вестибюле. Беседует с приятелем.

Эти слова немножко успокоили меня. У чудовища не может быть приятеля.

Затем он появился — обычного вида молодой человек, почти юноша.

— Здравствуйте, — сказал он негромким голосом, звучащим чуточку устало и даже печально. — Я не помешал?

— Помилуйте!

— По-ми-луйте, — он повторил вырвавшееся у меня словечко. — Старинное выражение, несколько преувеличенное и, пожалуй, чересчур эмоциональное. Но оно мне нравится. Оно переносит меня даже не в двадцатый, а прямо в девятнадцатый век. По-ми-луйте... Как будто речь идет о чем-то чрезвычайном. Нет, сейчас выражаются куда проще, обыденнее и точнее.

По-видимому, он пожелал сесть, и невидимый предмет овегществился, исполняя его желание. Появился стул. Я тоже сел на тот, который возник вместе с моим желанием на что-то опереться. Теперь мы сидели оба и разглядывали друг друга.

Красавец ли? Нет, не красавец. Это пошлое слово едва ли способно было выразить впечатление от того, кто сидел рядом со мной, рядом, вопреки законам времени и пространства. Он был высок, строен. Но и эти определения ничего не определяют. Он был похож на портрет, написанный художником итальянского Возрождения. За ним, хотя и необозначенный, угадывался большой мир, бесконечность, вселенная. Она, эта бесконечность, была как фон. И еще были глаза. Именно — еще. Они как бы принадлежали не только ему, но и тому, что, необозначенное, угадывалось за его спиной.

Затем, уже несколько минут спустя, я обратил внимание, что эти глаза менялись, сказочно, необыкновенно менялись. Бесконечное богатство мысли и чувства. Из них, из этих глаз, смотрел другой опыт, другое тысячелетие, другой мир.

— Что же вы молчите?

Эти слова произвольно вырвались у меня. Они, должно быть, понравились моему гостю и отчасти застали его врасплох. Он улыбнулся.

— Молчу? Разве?

Я. Вы уже не молчите.

Он. Вы поймали меня на слове. Кажется, так было принято выражаться в ваше время?

Я. А в ваше?

Он. В мое? Нет, о моем времени говорить трудно, если быть точным. Я сын двух времен — того, что осталось на моей планете, на далекой планете Тиома, и того, что началось здесь. Разумеется, началось только для меня. Для всех остальных, кроме новорожденных, оно не было началом.

Я. Я тоже сын двух эпох. Вернее, сын одной эпохи и гость другой.

Он. Гость? Нет, вы не только гость. Надеюсь, не только. Да и у вас нет возможности возвратиться в свое

время, оно же время прошедшее, необратимое. И, значит, вы уже не гость.

Я. А вы?

Он. На этот вопрос ответить труднее. Мне было всего шестнадцать лет. Космолет, на котором я летел с родителями, потерпел аварию. Все погибли, кроме меня. Меня спасли люди. Сначала я попал на самую отдаленную от Земли космическую станцию. А затем и сюда.

Я. А где же вы научились так хорошо говорить по-русски?

Он. Разумеется, здесь. А где же? Не на космической же станции. Там я пробыл недолго. Здесь и в космолете, довольно долго преодолевавшем все же не маленькое пространство и время, отделяющие Землю от этого аванпоста земной цивилизации. Космическая станция, заброшенная далеко за пределы солнечной системы, называлась совсем просто и по-деревенски: Телятниково. Один из строителей станции настоял, чтобы ее назвали в честь поселка, в котором он родился. Телятниково... Это первое земное название поселка, которое я узнал. Надеюсь, вы не обвините меня в сентиментальности?

Я. Обвиню. Вы выглядите почти так же, как земные люди. Признаться, я этого не ожидал. Я пытался представить себе вас. И мое воображение меня пугало, мое собственное и воображение научных фантастов, описывавших обитателей других планет.

Он. Я вижу, вы разочарованы? Вы ожидали увидеть сверхоригинальное существо, может быть, даже созданное не из белковых молекул, а материала более прочного, более своеобразного и химеричного? Может быть, вы думали, что вместо крови во мне течет яд и вам придется надевать маску, чтобы сначала физически изолировать себя, а затем уже искать духовного контакта? А не думали ли вы о том, что, кстати, не приходило в голову даже фантастам: что физический контакт будет вполне возможен, но контакт духовный противопоказан, что он будет таить некую опасность и для вас и для меня?

Я. Нет, это не пришло мне в голову. Да и к тому же наше духовное знакомство началось задолго до нашей встречи. Я ведь читал ваш роман.

О н. Значит, с этой стороны все обстояло нормально. И вас пугало не содержание, а, так сказать, форма. Употребим лучше научно-академическое словечко: морфа. Его, кажется, любил употреблять автор «Фауста». Он ведь и создал на Земле новую отрасль знания, назвав ее морфологией. Вот мы и коснемся этого вопроса... Уж не думали ли вы, что я покрыт чешуей, как мезозойский ящер, или похож на единорога? Или, может быть, воображение вам рисовало меня по рецепту древних греков этаким кентавром? Нет, у природы не так уж много фантазии, когда речь идет об этой самой морфе или форме, в которую нужно облечь ум и сущность высокоразвитого существа. Да, мы немножко похожи на земных людей, хотя в близком и кровном родстве нас трудно заподозрить. Все же расстояние. Если угодно, немножко пофилософствуем. Вы никуда не спешите?

Я. Куда же мне спешить после трехсотлетнего-то перерыва?

О н. Да, в этом отношении у нас с вами много общего. Вы преодолели время, я — расстояние. Расстояние и, разумеется, время тоже. О чем я говорил? Да, о морфе. Высокоразумному существу не пристало быть уродом.

Я. Но ведь понятие красоты условно, относительно. Так учили в мое время.

О н. Условное, разумеется, но у относительности есть границы. Мезозойского ящера трудно счесть красивцем с любой точки зрения. Но мы слишком много говорим о морфе. Можно подумать, что мы — морфологи и анатомы. Нет, анатомия никогда не была моей страстью.

Я. И моей тоже.

О н. Ну вот видите, у нас с вами сходство не только морфологическое. Вы любите стихи?

Я. Когда-то любил.

О н. Недавно я слышал лирические стихи о любви. Грустные. Местами трагические. Но самое поразительное — их написала машина!

Я. Не может быть.

О н. В ваше время не могло. Сейчас возможно. Машина, пишущая лирические стихи! (Он рассмеялся.) Это камешек в ваш огород. Вы вчера произнесли до-

вольно яркую речь против отделения человеческих чувств от человека. Яркую и наивную. Проблема сложнее, чем думаете вы и думали ваши современники, рассматривая первые кибернетические устройства. Триста лет — это не маленький срок для науки, особенно для такой науки...

Я. Но что может знать машина о любви?

Он. Отложим этот спор до тех пор, пока вы не познакомитесь со стихами и их довольно милым и сложным устроенным механическим автором.

Я. Расскажите о своей планете Тиома.

Он. История нашей цивилизации не похожа на историю вашей. Борьба с природой у нас была иной, чем на Земле. Борьба... Пожалуй, лучше употребить другое, более подходящее слово. Не столько борьба, сколько содружество. Между тиомцами и окружающей средой возникло единство. Еще в периоде, соответствующем вашему неолиту, тиомцы обнаружили незаурядные биологические способности. Ваш палеолитический человек приручил волка, превратив его в собаку. Позже были приручены дикие лошади, олени, буйволы. Тиомец же сделал домашними множество животных и растений. И это сказалось не только на характере его деятельности, но прежде всего на видении мира, на мировоззрении. Тиомец почти не знал страха перед миром, перед судьбой. Религиозные предрассудки очень недолго затемняли его сознание. Ведь религия, всякая религия — это не контакт, не единство с окружающей средой, а разлад, боязнь этого мира... Наука о жизни возникла еще на заре тиомской цивилизации. Биология, знание живой природы, шла впереди всех других наук. Отчасти это замедлило развитие техники, физики и математики, но только отчасти. Наступило время, когда дальнейший прогресс биологических знаний потребовал развития техники, химии, физики и математики.

Я. Полная противоположность нашей. У нас биология всегда плелась в хвосте физики, математики и других наук. Исторический взгляд на мир живых возник лишь в середине девятнадцатого века, когда Дарвин создал теорию естественного отбора. Даже в мое время, когда уже началось завоевание космоса, биологи все еще спорили о том — передаются или не

передаются в потомстве свойства, приобретенные индивидом.

Он (*улыбаясь*). Знаю. Читал. И знаю, когда ваша наука начала перестраивать наследственность на молекулярном уровне, управляя мутациями. И знаю, когда был, наконец, достигнут атомный уровень изучения живого и биологи узнали, в каком порядке расположены атомы в наследственном полимере. Совсем недавно. Но возвратимся на Тиому, о Земле мы еще поговорим.

Я. Извините, что я вас перебил. Дурная привычка. Да и молчал я долго, почти триста лет.

Он. Понимаю вас, хотя мне и не довелось так долго молчать, как вам. Всего несколько недель, пока я не научился понимать земную речь и выражать свои мысли посредством сочетания гласных и согласных.

Я. А у вас на Тиоме? Разве у вас...

Он (*перебивая меня и смеясь*). Да и у нас тоже не обходится без слов. Но принцип их сочетания несколько иной. Я уже говорил, что на Земле существует больший разрыв между человеком и природой, чем на Тиоме. Выдающиеся биологические способности тиомцев позволили им рано познать чрезвычайно важные закономерности... У нас также не было разрыва между художественным и научным видением мира. Любовь к природе и глубокие знания способствовали развитию эстетических чувств. Вам не надоела моя лекция? Если надоела, поговорим о чем-нибудь другом. Временами мне бывает очень грустно. Ностальгия. Тоска по родине. И она усиливается от сознания, что я никогда ее не увижу. Тиома слишком далека от вашей солнечной системы, чтобы надеяться. А вам бывает грустно?

Я. Бывает.

Он. Часто?

Я. Да.

Он. Но у вас есть надежда. Вы увидите своих современников, когда возвратится на Землю космолет. Вы увидите свою жену.

Я. Я ее жду. Для этого я и подвергся опыту в лаборатории дискретных проблем. А вы женаты?

Он. Не женат. Та, которую я любил, осталась на Тиоме.

Я. Но вы же тогда были подростком, почти мальчиком...

Он (*перебивая и волнуясь*). Ну и что же? Разве подростки не влюбляются? Я все время думаю о ней. Ее звали Лелора. Почти земное слово. Это имя вам ничего не говорит. Чужое, незнакомое сочетание звуков. Но я готов отдать все, чтобы увидеть ее хоть раз. И я никогда ее не увижу. Или увижу старухой, если к тому времени астронавигаторы сумеют преодолеть эти безумные пространства.

Я. Но вам же удалось преодолеть их однажды. Иначе вы бы не попали сюда, на Землю.

Он. Иногда мне не верится, что я их преодолел. Мне кажется, что Тиома — это сон, а я родился на Земле или на одной из космических ее станций. То, что я попал на Землю, это исключительный случай. Чудо. В эту часть Галактики не залетают наши корабли.

Я. Кто знает, может быть, вы вернетесь на Тиому. Чудо повторится.

Он. Я и не отчаиваюсь. Просто иногда бывает грустно. Вот и все.

Я. Это хорошо. Грусть делает нас более человеческими. Мне приятно узнать, что и на далекой Тиоме жители умеют не только радоваться, но и грустить. Не умеют грустить только одни машины.

Он (*оживленно и почти весело*). Только машины? Вот и я вас ловлю на слове. А Митя, Женя, Валя, Миша и Владик, о которых вы так горячо и страстно говорили на заседании Академии наук? Вы о них забыли? Мне очень хорошо запомнилась ваша речь и особенно заминка, которую вы сделали вначале, оговорившись и назвав Митю вещью и, по-видимому, усомнившись в этом. Да, это проблема не только для философов, но и для всей современной земной цивилизации — вещь ли Митя или не вещь? Если вещь — тогда все просто. А если не вещь? Как же быть тогда? В человеческой сущности заложены самые глубочайшие проблемы, и прежде всего проблемы этические. Но вот люди создали робота еще более эмоционального, чем они сами. Один из спорящих сказал, что ученые сумели создать модель человеческой сущности. Неудачная, абсурдная, нелепая мысль. Сущность человека не может моделироваться. Но как быть с

Митей, Женей, Валея, Мишей и Владиком? Для них этот вопрос имеет не только академический характер. И вы были правы, когда страстно говорили о том, что наука здесь перешла какую-то дозволенную грань и стала в противоречие с этикой. Одни ученые и философы поддержали вас, другие возражали. Я с большим интересом следил за этой дискуссией.

Я. А существуют ли высокие формы механизации и автоматизации у вас на Тиоме? Доверена ли роботам интеллектуальная и эмоциональная сфера?

Он. И да, и нет.

Я. Как это понять?

Он. Я уже говорил, что история тиомской цивилизации отличается от земной. Тиомцы — это прежде всего биологи, натуралисты, влюбленные в природу. Тиомец с детства начинает изучать и углубляться в жизнь растений и животных. Каждый взрослый тиомец проводит свой досуг в лесу, в поле, в саду, на берегу реки или озера. Бесперывное наблюдение над жизнью животных и растений, начавшееся с периода, соответствующего вашему палеолиту, превратило каждого тиомца в исследователя, в экспериментатора. Творческое преобразование природы началось очень рано, хотя ему мешали социальные условия: сначала феодализм, затем капитализм. Постоянное единство с природой не позволило расцвести крайнему субъективизму, индивидуализму и тем уродливым формам идеализма, которые одно время процветали у вас на Земле. Ведь одно чрезвычайно модное в XX веке буржуазное направление в вашей земной философии, называемое экзистенциализмом, пришло к абсурдной идее противопоставить человека и все человеческое объективному миру. Экзистенциалисты утверждали, что объективация убивает личность, расчеловечивает индивид. Один из них сказал странные и страшные слова, что нет ни человечества, ни народа, а существуют только миллионы одиночек. Тиомец это не смог бы даже понять, настолько это ему было бы чуждо. Каждый тиомец как бы наполнен природой, в нем весь мир, он проникнут объектом, слит с ним. И связан единством со своими современниками. Кибернетика возникла на Тиоме рано, гораздо раньше, чем на Земле. Именно развитие кибернетики ускорило темп развития всех остальных

наук. Ведь ни одна из естественных наук так не содействует единству субъекта и объекта, общества и природы, как кибернетика, то есть интеллектуализация мертвой природы.

Я. Интеллектуализация мертвой природы? Вы не оговорились?

Он. Ничуть. Если хотите, очеловечивание, одушевление. Вы возражаете?

Я. Я? Нет. Пока нет... А на вашей планете долго длится жизнь личности, индивида?

Он (*улыбаясь*). Вы хотите знать, возможно ли бессмертие? Возможно. Но не нужно.

Я. Кому не нужно? Личности? Обществу? Природе?

Он. Наши ученые нашли способ продления жизни, и каждый тиомец, если бы он пожелал, мог бы достичь того, что называют бессмертием. Но что такое бессмертие? Задавали ли вы себе этот вопрос?

Я. Нет, не задавал, хотя кому и интересоваться этим вопросом, как не мне... Бессмертие — это возможность победить время, дарованная личности наукой. Не так ли? Полная, абсолютная победа над временем, над бренностью.

Он. А кому нужна эта победа? И победа ли это, а не поражение ли?

Я. Не понимаю.

Он. Вдумайтесь — и поймете. Смерть не может и не должна исчезнуть.

Я. Но человек всегда считал смерть злом и слепой необходимостью, победой косных сил...

Он. Бессмертие еще хуже смерти. Получив бессмертие, личность перестает быть личностью, она лишается конца, а значит, и начала. Личность связана с историей, со своим временем. А становясь вечной, она отрывается от мгновения, от истории, от общественного бытия. Наше общество нашло желание быть бессмертным, неэтичным, противоречащим нравственной сущности тиомца. И отказалось от него. Отодвинуть свой конец — это одно, но лишиться себя конца, приобщиться к бесконечности — это значит освободить себя от времени, противопоставить себя жизни, всему ее смыслу. Возникновение и смерть — нет, тиомец не захотел пожертвовать всем этим ради сомнительного и противоестественного блага личного бессмертия.

Я. Довольно сильные доводы. Они почти меня убедили.

Он. Почти? Значит, у вас все-таки остались сомнения?

Я. А разве у вас на Тиоме эта точка зрения одержала победу без борьбы? Разве все тиомцы думали одинаково?

Он. Разумеется, нет. Особенно защищали идею бессмертия те ученые, которые нашли способ ее реализации. Но в конце концов они согласились с доводами своих противников, и самым сильным и убедительным доводом был тот, что развременинный тиомец превратится в нечто вроде машины, лишится своей тиомской сущности, говоря на земном языке, расчеловечится.

Я. Нужно иметь много мужества, чтобы из философских побуждений отказаться от такого сильного соблазна.

Он. Мои однопланетцы предпочли быть смертными тиомцами, чем бессмертными машинами.

Он замолчал. Молчал и я. Мы смотрели друг на друга, и в эту минуту я думал о том, что, беседуя с тиомцем, я приобщаюсь к миру, о котором, к сожалению, не знал никто из моих современников. В семидесятых годах XX века люди очень хотели знать, есть ли жизнь на других мирах, и как бы они были счастливы, если б могли слышать по радио нашу беседу с тиомцем или видеть на экране кино или телевизора нас, сидящих вот здесь, в номере гостиницы XXIII столетия. С каким страстным интересом они смотрели бы на тиомца!

Казалось, и я смотрел на него не только своими собственными глазами, но и глазами всех людей того столетия, когда человеческая наука только что начала осваивать космос и человечество с нетерпением ожидало встречи с высокоразумными существами, обитателями других миров.

Обитатель «других миров» сидел рядом, так близко, что я мог коснуться его рукой. Зачем? Для чего? Может, для того, чтобы проверить — не обманывают ли меня чувства? Нет, чувства не обманывали. Но рассудок был несколько разочарован тем, что мой любезный и милый гость, сумевший преодолеть почти безграничное пространство, сам по себе оказался в границах

обычного, даже слишком обычного, и физически почти не отличался от молодых людей, родившихся на Земле. Я неожиданно употребил слово «почти», не найдя другого, сумевшего бы более точно передать даже не смысл, а оттенок того, что я пытался выразить. Это «почти» сказывалось скорее не в его облике, а в выражении лица. Лицо моего гостя выражало нечто особое, оно как бы раскрывало смысл того, что не в силах передать никакие слова. Глубокая и странная, загадочная мысль была в его глазах. Я почему-то вспомнил Леонардо да Винчи. И он, словно угадав мою мысль, назвал имя великого художника и инженера итальянского Возрождения.

Я. Мой покойный отец написал о нем книгу.

Он. Знаю эту книгу. И высоко ценю ее.

Я. Отец высказывал странную мысль...

Он. Она мне не кажется странной. Леонардо был очень похож на тиомца. Он мог бы быть тиомцем, прилетевшим на Землю, хотя этого, очевидно, не было.

Я. Мой отец тоже был готов допустить нечто подобное.

Он. Леонардо был удивителен, в особенности для современников. И сейчас некоторые историки высказывают мысль вроде моей. Но нет фактов, чтобы подтвердить ее, за исключением, пожалуй, одного факта...

Я. Какого?

Он. Леонардо видел мир, как видят его тиомцы, сумевшие идеально пригнать окружающую их среду к себе, своей жизни, к своим чувствам. На его картинах — а значит, так было и в его душе — слишком гармоничный мир.

Мы беседовали, и время спешило, торопилось, как и полагается времени. И наступила минута, когда тиомец (я называю его тиомцем, хотя у него и было имя, довольно звучное имя: Бом) встал и, простившись со мной, исчез. Именно исчез, а не ушел, словно растворился в воздухе. Еще секунду назад я слышал его голос и видел его лицо, и вот уже его нет. Он будто развеществовался вместе со стулом, на котором только что сидел. В номере стало пусто, и я все сильнее и сильнее ощущал эту пустоту и тишину.

Живя в необыкновенном мире, я постепенно знакомился с новыми нравами и обычаями. Где бы я ни появлялся — в сельской ли местности, на фабрике ли фотосинтеза, в научно-исследовательской лаборатории, в гостях у друзей (а их становилось все больше и больше), — я везде ощущал захватывающий ритм гармоничного коммунистического бытия, видел новые, истинно человеческие отношения. Изменилось не только мышление, но и словарь. Из бытового разговорного языка исчезли слова, отражавшие эгоцентризм, цинизм мысли, грубость и пошлость чувства. Сердечность и мужество — эти черты были свойственны и детям, и юношам, и старикам. Каждая отдельная личность чувствовала свое постоянное единство, духовную слитность со всем огромным коллективом. Вот эта духовная слитность каждого гражданина с обществом и создавала ту особую атмосферу эпической красоты и величия, которая была ни с чем не сравнима. В каждом человеке, и в ребенке и во взрослом, отражалось все величие огромного коллектива, всего коммунистического человечества, превратившего Землю в центр творческой, никогда не удовлетворенной мысли, мысли, рвущейся вперед, в бесконечность еще не освоенных миров.

Однажды историк Светлана Щеглова и писатель Тиомец Бом спросили меня, как я понимал слово «счастье», живя еще в XX веке. Я, по-видимому, поспешил и ответил неудачно. Я сказал:

— Счастье — это удовлетворение всех желаний.

Тиомец Бом молча усмехнулся, а Светлана возразила:

— Ну нет. Счастье, по-моему, не в этом. По-настоящему счастлив только тот, кто никогда не бывает удовлетворенным. По-моему, личное счастье — это реализация всех твоих способностей на благо всего коллектива. Ведь счастье — это не только итог, но и путь к цели. И если этот путь слишком легок, если он не требует никаких усилий, разве он может сделать человека по-настоящему счастливым? Самыми счастливыми людьми в нашем обществе считают тех, кто меньше всех щадил себя, прокладывая путь в будущее. Счастье не может быть очень спокойным.

И мы все долго спорили о том, что такое счастье.

Я уже рассказывал о том, что машина быстрого движения превращала пространство в абстракцию. Но и время она тоже лишала той длительности, которая связана с ожиданием и пребыванием в пути.

Вы, в сущности, не пребывали в пути: путь пребывал в вас, вы появлялись почти сразу.

Вот так, выйдя из гостиницы, я сразу оказался в Институте истории, хотя этот институт был возле Феодосии, в Крыму. Меня сопровождали Павел Погодин и историк, специализировавшийся на изучении второй половины XX века, Светлана Щеглова.

Еще в гостинице Светлана пыталась меня уверить, что история стала самой актуальной и популярной у молодежи наукой, породнившейся с кибернетикой, вооружившись новейшими техническими достижениями, чтобы сделать человека хозяином времени. Хозяином пространства он давно уже стал.

Мой отец был историком, и я хорошо знал, как в мое время историки и археологи завидовали физикам, биологам и инженерам, которые изучали не что-то бывшее и исчезнувшее, а создавали новый мир, будущее, бесконечно более интересное, чем прошлое. Профессия историка казалась тогда многим чем-то созерцательным и книжным, далеким от жизни.

Я обратил внимание на огромное здание, стройное и изящное, как чертеж. Это был Институт памяти. Сквозь полупрозрачную, как облако, стену были видны машины, вобравшие в свою память все прошлое человечества.

Машины трудились и днем и ночью. Они запоминали, ловя каждое мгновение, каждый новый факт, чтобы присоединить его к тем бесчисленным фактам и событиям, которые здесь хранились.

— Говоря на языке людей двадцатого века, — пояснила мне Светлана, — это исторический архив.

— А где же шкафы, в которых хранятся документы?

Светлана рассмеялась. Усмехнулся и Павел Погодин.

— Их убрали вместе с пылью еще два столетия тому назад. Здесь хранится утраченное бытие, как в живой человеческой памяти. Пыль ему не требуется. И картонные папки тоже.

— Механизированные историки, — попытался я со- стрить. — Металлические архивариусы.

— Я бы сказала по-другому, — ответила Светла- на. — Очеловеченное, оживленное время. Одушевлен- ный документ... Сейчас историки решают задачу нео- бычайно сложную. Они хотят поставить человека в центр, в самый фокус времени, сняв разрыв между прошлым и настоящим. Развитие информационной техники, прогресс кибернетики отчасти делают это возможным и сейчас. Вы хотите знать какой-нибудь факт, опустившийся на самое дно прошедшего. Вам его подымут. Назовите. Тут рядом зал исторических и биографических справок.

Я несколько растерялся.

— Что бы вы хотели узнать, — спросила Светла- на, — из того, что вас интересовало в прошлом?

Я задумался. И вдруг мне вспомнился профессор Чернявский. За что он так невзлюбил меня? Разве и это можно поднять со дна прошлого?

Я рассказал Светлане, как смог, о том, что меня интересовало.

— Пустяк. Мелочь, — сказал я. — Но эта мелочь мешала мне жить.

Светлана улыбнулась. Затем она зашла в справоч- ную и передала мой заказ.

— Через три часа вы получите нужную справку, — сказала она, выходя из справочной. — А сейчас идем- те обедать. Я проголодалась.

Три часа я провел в тревожном состоянии. И был, разумеется, рассеян. Я невпопад отвечал на вопросы Светланы и Павла. Я думал о Чернявском, словно он был где-то почти рядом.

И это было почти так. В тот день я встретился с ним, встретился, казалось бы, вопреки всем законам природы.

Вместо сухой архивной справки мне в Институте памяти предъявили нечто более живое и конкретное. В кабине, куда меня попросили войти, оказалось иное время. Я очутился в лаборатории генетики, да, в той

самой лаборатории, куда я не решался входить, когда работал в институте. И хотя я очутился там, никто не замечал меня, все заняты были своим делом. Лаборантка Пастухова варила кашу из изюма для мушек дрозофил. Лаборант Карасик возился с термостатом, что-то налаживая. А Чернявский сидел за столиком в углу и писал статью. Он был отличный экспериментатор и неплохой лектор, но статьи он писал с трудом, мучительно и подолгу подыскивая нужное слово и не умея закончить фразу, поставить вовремя точку.

Минут через пять он встал с места и быстро-быстро стал ходить, подыскивая необходимое слово. Затем он махнул рукой и подошел к Пастуховой.

До моего слуха долетела странная фраза, смысл которой не сразу дошел до меня.

— А завтра его начнут замораживать. Бедненький. Невеселая все-таки штука.

Чернявский вздрогнул, выпрямился, и на его широком лице появилось знакомое мне выражение презрения и неприязни.

— Ну и что? Что вы хотите сказать?

Пастухова спросила с самым невинным видом:

— А за что вы так не любите его, Георгий Семенович?

Чернявский не ответил.

— А как вы думаете, Георгий Семенович, действительно он через триста лет оживет?

— Оживет не оживет, вам-то какое дело? Занимайтесь своей кашей.

Затем лаборатория с Чернявским исчезла. В поле моего зрения появилась машина. Перед ней возник экран. Машина что-то делала. И только взглянув на экран, я понял, чем она занималась. Она составляла список научных работ. Но самое поразительное — у нее был мой почерк. И перечисляла она мои собственные работы, но в обратном порядке, не с начала, а с конца. У меня было около двадцати печатных работ... Но удивительно: машина писала все менее уверенно, словно что-то мешало ей вспомнить.

Я тоже старался вспомнить. И вдруг вспомнил забытую статью о естествознании, написанную мной еще когда я учился на философском факультете. Ее не было в списке, составленном машиной. Машина забыла

о ней или, может быть, настолько была деликатной, что не хотела мне напоминать о ней. Так вот из-за чего сердился на меня Чернявский, не пожелавший простить мне эту статью, где речь шла о вещах, в которых я плохо разбирался?

Я вышел из кабины, смущенный и растерянный.

— Ну что, удалось вам получить справку? — окликнула меня Светлана Щеглова.

— Удалось, — ответил я без энтузиазма.

Как я уже упоминал, профессор Обидин, не уверенный в том, что вместе со мной в далекое будущее войдет и мое прошлое, записал на пленку магнитофона мои воспоминания. Кроме того, он использовал и техническую новинку — электронный аппарат с запоминающим устройством.

И им было предоставлено слово, им, этим устройствам и примитивным механизмам. На этот раз магнитофон и запоминающее устройство пытались приобщить к моим интимным переживаниям не только физиологов и биофизиков, но и все население солнечной системы, обитателей многочисленных космических станций, новоселов Марса и Венеры, самоотверженных людей, осваивающих новые миры.

Мой голос раздавался словно бы из глубины прошлого, не скрывая волнения, охватившего меня в дни, предшествовавшие эксперименту. Я не сумел тогда скрыть свое волнение, и потому интонация не совсем соответствовала тому, что я теперь говорил.

Обидин попросил меня быть спокойным и точным, будто можно действительно быть точным, когда вспоминаешь. Он даже не удержался и сказал мне, не скрывая своего недовольства:

— Павел Дмитриевич! Голубчик! Поймите раз навсегда. Ведь вы должны унести с собой в будущее не только собственную персону, но и свое прошлое. Да, всю свою жизнь со всеми ее событиями, оттенками и переживаниями.

— А зачем? Нужно будет — все вспомню.

— А если наступит амнезия, хотя бы частичная утеря памяти? Появитесь среди потомков. Спросят вас: кто вы, откуда? А вы ни бе ни ме.

— Думаете, магнитофон поможет? Утратить память — значит утратить самого себя.

— Поменьше думайте о себе, а побольше о тех, среди которых вам придется провести остаток своей жизни. Терпеть не могу громкие слова, но, видно, без них не обойтись. Вы делегат, отправляемый нашими современниками в будущее. Отдаете себе отчет, кто вы? Поймите, наконец, свою ответственность.

Его, по-видимому, начало раздражать мое упрямство, упорное нежелание вспомнить по заказу. Но времени оставалось мало, был дорог каждый час.

Я рассказал о себе, стараясь вообразить, что рядом со мной сидит человек, которого страстно интересуется моя биография.

Рядом действительно сидел человек, техник, специалист по магнитофонной записи, и на его лице не отражалось ничего, кроме желания хорошо сделать свое дело.

Я рассказывал о себе, как если бы писал автобиографию при поступлении на работу. Я перечислял адреса, по которым проживал, города, где бывал, родственников, учебные заведения, где когда-то учился.

Обидин перебил меня:

— Потомков не интересуется ваш послужной список. Вы же сейчас делитесь своими воспоминаниями не с управхозом.

— Откуда вы знаете, что будет им интересно?

— Глубины больше, Павел Дмитриевич. Искренности. Рассказывайте о самом важном. Нужна ваша исповедь, а не справка для выдачи паспорта.

Обидин сердился на меня. За что? Уж не за то ли, что я не сумел сложить свое прошлое в чемодан, собираясь в дальний путь, в необыкновенную дорогу, и мог оказаться без багажа.

Я понимал не хуже Обидина, что мои воспоминания, записанные на магнитофонную ленту, будут своеобразным мостом, связующим две эпохи, и именно это-то обстоятельство и мешало мне собраться с мыслями. О чем и о ком я буду рассказывать? О себе? А чем я замечателен? И кому будет интересно слушать о том, что я пережил и видел...

И вот теперь, спустя триста лет, люди всей солнечной системы слушали мой чуточку дрожащий голос, рассказывающий о бывшем научном сотруднике Института биофизических проблем, отважившемся нарушить закон, по которому текла жизнь многочисленных видов животного и растительного мира в течение миллионов лет.

Не я сам, а именно это обстоятельство делало значительным каждое слово, которое я произносил.

«В том году, — рассказывал мой голос, — я решил испытать свои силы и заодно лучше узнать жизнь, которую я знал плохо. Один из моих приятелей, Сашка Горбачев, кончил горный институт и был назначен начальником геологической партии, отправляющейся на Север. Я попросил его, чтобы он взял меня коллектором. Горбачев ехал как раз в тот район катангской тайги, где несколько лет назад погиб его дядя. Об этой трагической истории писали в газетах. Гидрогеолог — дядя Горбачева, человек пожилой — нес несколько бутылей с водой, так называемую «пробу», и заблудился. Заблудился потому ли, что внезапно выпал снег, или по какой-то другой причине — это осталось неизвестным. Катангская тайга тянется на многие сотни километров. Самолеты искали старого гидрогеолога и не могли найти. Нашел его эвенк, перегонявший оленью стадо. Нашел мертвым. Но что было удивительно — рядом с мертвым гидрогеологом стояли стеклянные бутылки с водой. Он не бросил и не разбил ни одной.

Я впервые уезжал из дома на такой далекий срок. И старался держаться, как все участники экспедиции, — не думать о предстоящих трудностях и радоваться всем случайным радостям, выпадавшим на нашу долю. В глубине души я немножко побаивался тайги с ее безлюдными просторами. Ведь мне никогда прежде не приходилось отдаляться от больших дорог, даже когда я ходил собирать грибы где-нибудь поблизости от Солнечного или Репина. Заблудиться возле Репина — не очень-то тяжелое испытание. Оно способно напугать разве только дошколенка, но потерять направление в катангской тайге, где безмолвные, окутанные безразличной и однообразной марью лиственницы тянутся на сотни кило-

метров, повторяя себя до одурения, — это совсем другое дело! С особой остротой я это почувствовал, когда остался один и потерял направление. Мой спутник, эвенк Василий Шадоуль, казалось, только что сейчас был рядом, но его скрыли лиственницы, и он не откликнулся на мой голос. И вот теперь я был один, один в тайге.

Один. Что это значит? Никогда до того я не представлял себе полного одиночества. С того дня, как я стал сознавать себя, и до сегодняшнего утра я всегда знал, что поблизости от меня кто-нибудь да есть. А сейчас... Сейчас не было никого. Одни лиственницы да небо, с которого падал мелкий дождь. Я шел. Ощущение огромного, безлюдного, необъятного пространства все сильнее и сильнее охватывало меня. Сначала мне казалось, что инстинкт и магнитная стрелка компаса выведут меня из этой чащи, но к концу дня я уже перестал доверять и своей интуиции, и этой колеблющейся стрелке, и солнцу, которое время от времени показывалось из-за туч.

— Шадо-у-ль! — кричал я.

Но никто не откликался.

— Шадо-уль!

Я звал эвенка. Я повторял это имя, хватаясь за это созвучие, как утопающий хватается за соломинку.

— Шадоуль!

Но тайга не отвечала».

22

Я прислушался. Мой голос все еще рассказывал об этом таежном эпизоде. Рассказывал не совсем скромно, вдаваясь в излишние подробности и несколько преувеличивая трагизм своего положения.

Кому я рассказывал этот эпизод? Людям, познакомившимся с бесконечностью, познавшим космос. Иным из них доводилось не раз блуждать в бездонном и безграничном пространстве. Они, вероятно, улыбаются сейчас, слушая меня.

Я успокоил себя: ведь говорил не я, а только мой голос, записанный на пленку магнитофона почти за

триста лет до появления на свет всех этих бесстрашных людей, вооруженных иным опытом.

В послеобеденный час ко мне в гостиницу пришел гость — тиомец Бом. Глаза его смотрели на меня без всякой насмешки.

— Вы очень живо описали этот случай, — сказал он мне. — Впрочем, я знал заранее, что конец будет благополучный и коварному пространству рано или поздно придется выпустить вас из своих лап.

Он улыбнулся.

— Не хотите ли прогуляться?

— В машине быстрого движения?

— Нет. Зачем? Просто пройтись пешком, как рекомендует медицина.

— Ну что ж, я готов.

Не парадоксально ли, что моим гидом на Земле оказался тиомец Бом, существо с другой планеты?

Мы прошли мимо робота-коридорной, и тиомец Бом спросил меня негромко, как полагается спрашивать о тяжелобольном:

— Что слышно о Мите? Как его самочувствие?

— Митя чувствует себя отлично. Вчера вечером ко мне заходил Павел.

— Он-то, возможно, чувствует себя хорошо. Подлечился. Отдохнул. Укрепил свою нервную систему. Но как чувствуют себя конструкторы и физиологи, создавшие его? Академия наук и общество философов сказали категорическое «нет», «нет» очеловечиванию вещей, внедрению эмоциональной и психической сферы в косную материю.

А как поступят с Митей, Женей, Валей, Мишей и Владиком?

— Поступят гуманно и разумно. А как бы вы поступили?

Мы вышли из вестибюля гостиницы на улицу. Дом напротив. Пешеход. А за стеной дома и за спиной пешехода вселенная. Это острое и освобождающее от всяких преград и границ ощущение я уже испытывал здесь не впервые. Сначала чувства протестовали. Казалось мне, я шел не по улице большого города, а пребывал на космической станции. Чувства настаивали, что это космос, а рассудок и знание утверждали, что это всего-навсего улица, обычная ули-

ца обычного земного города. Я знал, что очень сложные оптические приборы меняли городской пейзаж. Они приближали к глазам пешехода космос и как бы переносили каждое городское здание за границы земного пространства. Пешеходу был словно придан искусственный глаз. Далекое становилось близким, а близкое отдалялось, перемещаясь в другую плоскость.

У меня захватывало дух от ощущения безграничного пространства. Как некстати прозвучали мои воспоминания о блужданиях в катангской тайге! Здесь, рядом со мной, была не тайга, а, казалось, весь мир с его бесчисленными галактиками. Мы шли с тиомцем Бомом среди домов и звезд. Нет, рядом с нами были не фонари, а настоящие звезды, большие и крупные, как Солнце, миллион солнц.

Минут через двадцать ходьбы мы свернули в переулочек. Вселенная исчезла. Перед нашими глазами был лирический и земной уголок с бульварами, с деревьями, с домами, построенными еще в XX и XIX веках. На бульваре мы увидели скамейку. Мы сели на нее.

Я знал, что сразу за углом переулочка — вселенная. Но я не спешил вернуться туда, в мир больших пространств.

Бом сидел молча и о чем-то думал. О чем? Может быть, о далекой Тиоме?

Впереди был дом, очень похожий на тот, в котором жила Ольга тетка — Клавдия Петровна. Чем больше глядел я на этот дом, тем сильнее меня охватывало беспокойное чувство. Мне уже казалось, что я сижу и жду Ольгу. Она зашла в этот дом к своей тетке Клавдии Петровне всего на пять минут и задержалась. От Клавдии Петровны скоро не уйдешь.

Все было таким же в этом переулочке, как в мою эпоху. Дома, окна, двери, деревья и небо, главное — небо, обычное синее небо с медленно плывущими облаками. Я забыл даже о тиомце Боме, сидевшем рядом. Но Бом напомнил о себе.

— Мне, — сказал он, — больше нравится там, — и показал рукой туда, где за углом нас ожидало другое, безграничное пространство, пространство, звавшее нас в бесконечность, к звездам.

Тиомцу Бому, по-видимому, надоело сидеть на старинной скамейке и видеть одно и то же. Ему наскучил этот лирический старомодный уголок, этот заповедник, оставленный без изменений и напоминавший о далеком прошлом.

— Пойдемте, Павел Дмитриевич.

— А не лучше ли посидеть здесь, дорогой Бом? Мне здесь так все нравится.

Уж не боялся ли я улицы, уходящей в беспредельность? Я не хотел себе в этом признаться, но это было так. Я хотел отсрочить хоть на десять минут встречу с миром без горизонтов и границ.

На бульваре было тихо, пожалуй, еще тише, чем на безграничной улице. Машин не было видно. Быстрое движение происходило либо в небе, либо глубоко под землей.

— Вы, по-видимому, устали, — сказал тиомец Бом, — устали, хотя и не хотите в этом признаться. Это естественно. Слишком большая нагрузка для чувств. Я вспоминаю: когда я попал на Землю, я тоже испытывал то чрезмерное возбуждение, то безмерную усталость. Но я был молод, юн. Идемте! Идемте ко мне. У меня вы отдохнете.

— Далеко?

— Тут рядом.

— Тут рядом, в бесконечности?

Тиомец Бом рассмеялся.

— Так и должно быть. А как же иначе? Человек овладел временем и пространством. Его глаза отвыкли от всего неподвижного и малого, того, что окружало в течение многих тысячелетий. Окно моего дома выходит не на пустырь и не на двор, а прямо во вселенную, разве это уж так плохо?

— Я потерял все критерии. Я уже не знаю, что плохо и что хорошо. Привычка!

— Привычка — это то, что чуждо современному человеку. С детства он борется с привычками. Его бытие всегда обновляется и освежается. Привычка — это нечто вроде стоячей воды в болоте. Идемте.

Я буквально заставил себя встать со скамейки, так не хотелось покидать этот уголок.

Мы свернули за тот же самый уголок, но увидели совсем другой пейзаж. Вместо вселенной за стеной того же самого дома я увидел неизвестно откуда взявшуюся гору с карабкающимися на нее соснами. Совсем как в Горном Алтае, падала вода со скалы. Гора была близко-близко, почти возле самых глаз, казалось, что, протянув руку, я достану до нее. Рядом не было никакой дали. Все интимно приблизилось ко мне.

— Что случилось? — спросил я. — Каким образом изменилась улица? Ведь не прошло и часа, как мы по ней шли.

— А который час? — Бом взглянул на часы. — Ровно пять... Все очень просто, Павел Дмитриевич. В эти часы оптики производят смену программы. Вместо бесконечности они предлагают нашим чувствам что-нибудь близкое, естественное и земное. Прекрасная гора! И водопад прелестный. Я вижу это в первый раз.

Я почувствовал в голосе тиомца Бом волнение.

— Постоимте, Павел Дмитриевич. Чудесный край подвинули нам. Как круто уходит ввысь гора! Обратите внимание на водопад. Все это напоминает мне Тиому. Тиома! Тиома — это ручьи, водопады, биение, звон, плеск, гром. Тиома — это деревья, карабкающиеся ввысь к облакам, и озера. У вас на Земле один Байкал, только Байкал да еще Телецкое озеро могут сравниться с тем, что у нас на Тиоме.

Я был доволен, что вместо бесконечности передо мной был кусок земной природы, гора с карабкающимися на нее деревьями и водопад. Правда, не слышно было шума падающей воды. Тишина.

Мы шли, и тиомец Бом на ходу рассказывал мне о Тиоме.

Тиома — это ветви, и птицы, и птичьи голоса, и звон лыдинок весной, когда ручьи выходят из берегов. Тиома — это берега, и крылья, и снова плеск и звон падающих вод. Тиома — это облака, и горы с озерами на верхушке, и лицо смеющегося ребенка. Тиома — это сад в облаках, и лесные тропы, и птичьи гнезда, и следы прирученных зверей. Тиома —

это весло в волне, и нос лодки, и прозрачная синь реки. Тиома... Мы шли, и я не подозревал, что его Тиома была всего в двух шагах.

Он раскрыл дверь, и я увидел рыб, плывущих рядом — стекла не было видно, а также воды, и казалось — рыбы плыли в воздухе. Дом и двор походили на ботанический сад, куда впустили зверей. Изысканный жираф вытягивал шею, чтобы сорвать лист с дерева, словно ожил детский рисунок.

— Иначе не умею, — пробормотал смущенно Бом.

— Что не умеете?

— Не умею обходиться без растений и животных. Привычка.

Он помолчал.

— Пробовал. Не получается. Что-то вроде симбиоза. Не находите?

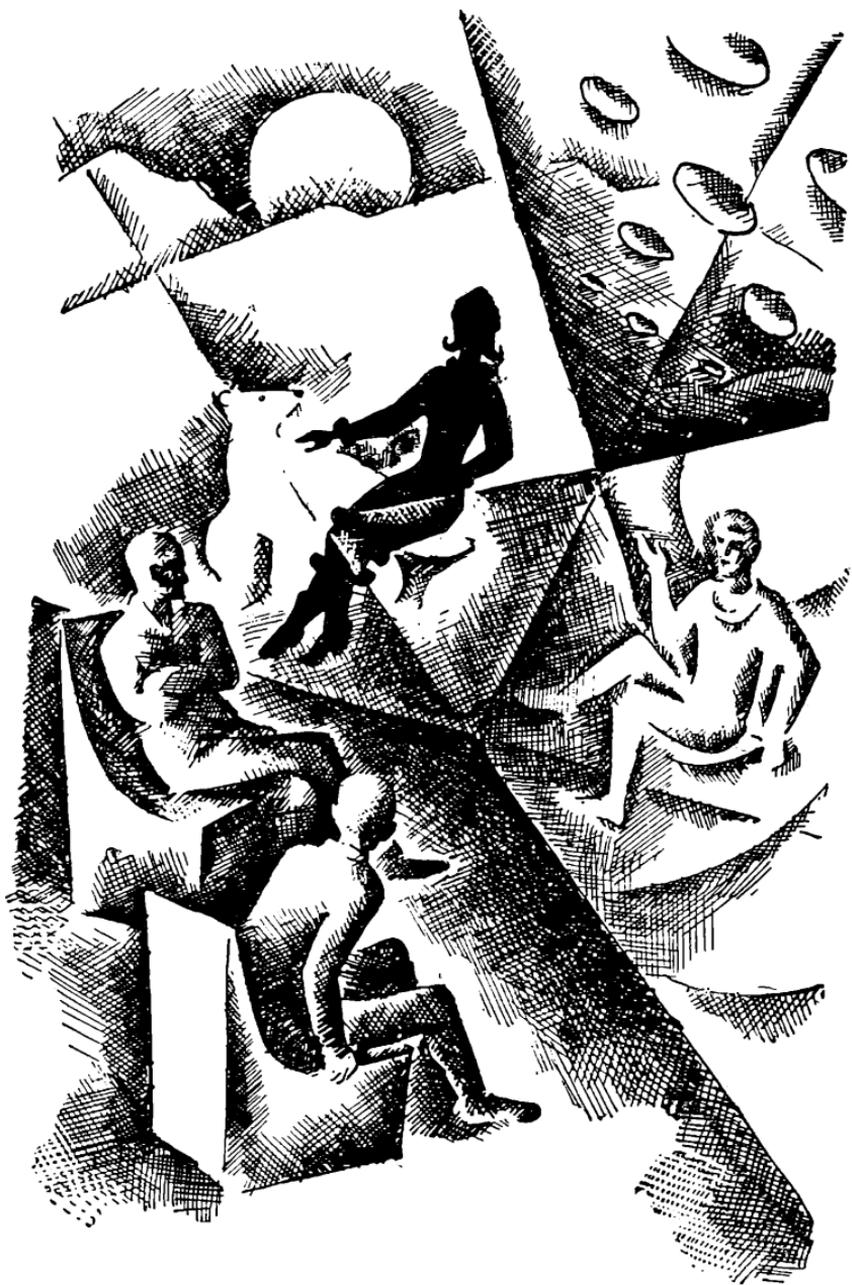
В квартире (как не подходило это допотопное словечко к тому, что я видел) ничто не напоминало о быте. Вместо быта — бытие, жизнь в природе и с природой.

— Чтобы вам не было скучно, — сказал, любезно улыбаясь, тиомец Бом, — сейчас пригласим гостей. Вызовем их, потревожим ради такого события, разбудим, если спят. Виктор Купцов. Инженер. Мой приятель. Станция в космосе Балашово. И Зоя Астрова. Южный полюс.

Тиомец Бом включил незнакомое мне оптическое устройство, и гости начали приближаться. Они уже были возле нас и одновременно пребывали где-то. Это одновременность и разнопространственность (словечко, к странному смыслу которого я долго не мог привыкнуть) давала о себе знать моим растерявшимся чувствам.

Гости, Купцов и Астрова, внесли с собой и свои миры (он — космическую станцию, она — Южный полюс), правда в значительно уменьшенном масштабе. Я подумал, как бы удивились мои современники, узнав, что люди, собираясь в гости, берут с собой не только свое тело и свою душу, но и то, что служит им опорой, фоном, что окружает их со всех сторон.

Виктор Купцов пожал мне руку. Рукопожатие продолжалось недолго, но оно смутило меня. Каза-



лось, что рука протянулась откуда-то из космоса, преврев расстояние.

Зоя и Виктор сидели против нас одновременно вблизи и вдали. Игра пространства (да и времени тоже) доставляла огромное удовольствие моим чувствам. Дело было не только в остроте новизны, в ее необычайной свежести, а совсем в другом. В чем же именно? Боюсь, что я не смогу удовлетворительно ответить на этот вопрос. Казалось, я катился с горы в салазках, как в раннем детстве, и дорога убегала от меня, как во сне. «Тут» и «там» два понятия, связанные и разделенные союзом «и», но сейчас они чудесно слились, как слова в песне.

Мы с Виктором Купцовым оказались коллегами.

— Ну, как жизнь? Житуха? — спросил он меня.

Я даже вздрогнул от неожиданности.

— Откуда у вас эти слова?

— Житуха-то? Запомнилось. Читал недавно исторический роман о людях двадцатого века...

— Быт, — сказал я.

— А что это такое — быт? А, да! Это вещи. Множество вещей. И люди, похожие на вещи, как у Голя. Чичиков. Собакевич. Коробочка. И тот самый, который потерял свой нос.

— Коробочка, да. И Собакевич. Быт без жизни. А у вас жизнь без быта. Собакевич бы забраковал.

— Забраковал? А что это значит?

Я стал объяснять... Не очень-то у меня это получалось.

Появился столик с закусками, по-видимому, исполняя желание гостеприимного хозяина. Холодное мясо. Фрукты. Дичь. Вино.

Я подумал: «Как же гости будут есть, ведь их от закуски разделяет порядочное расстояние?»

Но гости отказались от ужина.

И столик исчез, развеществился, растаял.

Мы оживленно беседовали. Правда, смещение пространства напоминало о себе моим растерявшимся чувствам. Иногда мне казалось, что я говорю, сидя на краю пропасти: рядом вакуум, нечто без дна. Но это ощущение сразу же исчезло, уступая место другому, я бы сказал, более интимному. Ведь мы были рядом, в одной комнате, не так ли? Какой вздор! Как будто

комната способна была вселить космическую станцию и Южный полюс! Расстояние все же было неспособно скрыть себя целиком. Оптическое устройство (как выяснилось позже — «новинка»), технически еще не доведенное до совершенства, не всегда могло слить близь и даль так, чтобы близь-даль были идеально пригнаны друг к другу. Во время оживленного разговора произошел небольшой казус: Зоя Астрова, только что рассказывавшая о своей дружбе с белым медвежонком (дрессировке она училась у Бома по методике, принятой на Тиоме), вдруг замолкла. На этом месте, где только что сидела Зоя, приоткрылась зияющая пустота в пространстве, холодная и страшноватая, но только на одну-две секунды, потом мы снова увидели милое смеющееся Зоино лицо и услышали ее голос...

Тиомец Бом внезапно выключил свой аппарат-новинку, и Виктор с Зоей исчезли, даже не успев пожелать нам спокойной ночи.

— Он не совсем в порядке... — сказал тиомец Бом.

— Аппарат?

— Да. В прошлый раз я по рассеянности повернул «близь» и забыл про «даль». Это надо делать одновременно. Мой робот-техник — отсталое существо. Механический лентяй, тяжелодум с устаревшей программой. Разве можно его допускать к такой вот новинке? Как выражались в вашу эпоху — «напортачит». Придется вызвать инженера.

Простившись с тиомцем, я вышел на улицу. Бом предложил проводить меня, но я решительно отказался. Зачем? Гостиница тут же, на этой улице. На этой же? Улица сразу напомнила мне о вселенной, как только закрылась за мной дверь. Я очутился один на один с бесконечностью. Я шел среди звезд и домов в просторе, не знавшем границ. Пространство со всех сторон охватило меня. В какой же стороне гостиница? Куда идти? Налево? Направо? Вперед? Рядом, совсем близко, были звезды.

В шестидесятых годах XX века люди знали о бесконечности бесконечно мало. Они знали о бесконечности из учебника астрономии и редко думали о ней как о чем-то практически реальном. Вокруг нас были дома, леса, поля, сады. И их масштаб вполне соот-

ветствовал привычному масштабу наших ощущений. Вы шли по улице, зная, что объем вашего мира заранее известен. Что бы вы сказали, если бы к вам на знакомой улице к самым глазам приблизилась неизвестность?

Я шел по улице, которая уносилась в бесконечность. Я все же был не один. По улице двигались пешеходы. Компания молодых людей обогнала меня. Один из них читал вслух стихи:

Глядя в будущий век, так тревожно ты,
сердце, не бойся
Ты умрешь, но любовь на Земле никогда не умрет,
За своей Эвридикой, погибшей
в космическом рейсе,
Огнечкрылый Орфей отправляется
в звездный полет.
Он в пластмассы одет, он в сверхтвердые
сплавы закован,
И на счетных машинах
его программирован путь.
Но любовь есть любовь, и подвластен
он древним законам,
И от техники мудрой печаль
не легчает ничуть.

24

Незадолго до того, как отправиться в свой продолжительный рейс, Ольга принесла книжку стихов Вадима Шефнера и прочла вслух эти строчки:

Два зеленые солнца, пылая, встают на рассвете,
Голубое ущелье безгрешной полно тишиной,
И в тоске и надежде идет по далекой планете
Песнопевец Орфей, окрыленный любовью земной.

— Вот и тебе, мой Орфей, — говорила она, — может быть, придется заковать себя в сверхтвердые сплавы, когда ты отправишься на поиски своей Эвридики.

Она не знала и, разумеется, не догадывалась о том, что будет другое, более мощное средство, чтобы предохранить меня от бренности и перенести туда, где до меня никто не бывал.

Два зеленые солнца, пылая, встают на рассвете,
Голубое ущелье безгрешной полно тишиной...

Ольге очень нравился этот эпитет — «безгрешной». Он-то и давал ощущение той тишины, которую она вскоре должна была познать.

И вот она ушла в недосыгаемую даль. Она продолжала удаляться от Земли, от своего времени, от своей семьи. Я не сразу осознал всю безмерность и тяжесть того, что случилось. На другой день в институте сотрудники ласково, и грустно, и растерянно смотрели на меня. И только Чемоданов, весь сияющий и торжественный, подошел меня поздравить.

— От души завидую, — сказал он, протягивая руку. — Да, да, завидую, — повторил он.

«Чему, собственно, завидовать, — подумал я, — тому ли, что я никогда уже не увижу свою любимую жену, хотя буду ждать ее в течение многих-многих лет?»

Я взглянул на Чемоданова, и, странно, это меня чуточку успокоило. Он был такой здешний, такой реальный, такой земной. И он действительно искренне завидовал мне, моей известности, тому, что во всех частях мира ежедневно упоминали имя моей милой жены и заодно мое имя — имя человека, жертвовавшего своим счастьем на благо науки, родины и человечества... Но Чемоданов едва ли мог понять меня, он не был женат и, вероятно, щадя себя, никогда никого не любил слишком сильно. Но зато все другие сотрудники отлично понимали. Многие удивлялись, что я пришел на работу, не остался дома. Дома было в тысячу раз тяжелее — дома, где каждый предмет напоминал мне об Ольге.

В лаборатории, казалось мне, я мог отвлечься от безрадостных дум. Я рассчитывал на это, когда вез в автобусе Колю в детский сад. Но все оказалось не так, как я думал. И в лаборатории я с не меньшей силой и остротой чувствовал, что случилось непоправимое, что дали времени и пространства разверзлись и уносят Ольгу в трехсотлетие, которое возвратит ее и ее спутников на Землю — на Землю, где не будет ни меня, ни Коли, ни даже моих будущих внуков и правнуков.

Раздеваясь и отдавая пальто вахтерше, я увидел шубу Чемоданова, висевшую, как всегда, отдельно, на

особом крючке. Мой взгляд с какой-то даже надеждой уцепился за эту шубу, словно шуба своим предметным наличием поможет мне оторваться от тягостных дум и найти необходимое спокойствие.

Шуба Чемоданова пребывала в раздевалке как сколок какого-то особого, сверхконкретного бытия. Не шуба, а словно сам Чемоданов пребывал здесь, в углу, отрицая всем своим видом всякую брэнность и отнесенность.

Вахтерша перехватила мой взгляд, устремленный на чемодановскую шубу, и истолковала его по-своему. — Ценная вещь, — сказала она. — А материал какой! Никогда не сносится. Прочность!

«Прочность!» — это и было именно то самое слово, которое было мне нужно в этот момент.

Обидин сидел за столом и писал статью. Димин препарировал кролика. Лиза Галкина возилась с термостатом.

Я сел на свое место в углу у окна и стал рассеяно перелистывать книгу П. Ю. Шмидта «Анабиоз». Мой взгляд задержался на абзаце:

«Смерть — не простая остановка жизненных процессов, связанных с белковыми коллоидами, ферментами, гормонами, солями и другими действительными элементами живого организма. Смерть обуславливается разрушением жизненных механизмов с необратимыми изменениями живого вещества, переходящими в распад, разложение... Если не произошло таких нарушений, если механизм жизни цел и не затронут в основном своем строении — возможна полная остановка жизни, не равноценная смерти, и возможно возвращение жизни при изменении условий в благоприятную сторону».

Волнение охватило меня, словно я впервые узнал, что можно победить время и даже самую смерть.

25

Прошло десять дней. Потом прошло еще десять дней. И месяц. И два месяца. А затем я перестал считать дни. Зачем? Уходящие дни, недели и месяцы ни на одну минуту не приближали час встречи.

Я весь ушел в работу, проводя дни и вечера в ла-

боратории, и отлучался только для того, чтобы съездить в детский сад за Колей.

Понимая мое состояние и глубоко сочувствуя мне, Обидин настаивал, чтобы я съездил в научную командировку. Он думал, что поездка рассеет меня, и делал вид, что эта командировка очень нужна и даже где-то запланирована. Он много и часто говорил о зимней спячке животных, об этом удивительном феномене, связанном с дискретностью жизни, который я должен, по его мнению, изучить там, где позволяли условия на месте. Не везти же сибирских грызунов сюда в лабораторию. Здесь, в этой суете, грызуны откажутся погрузить себя в то временное небытие, которое помогает им переносить физические невзгоды.

Я не хотел ехать, отказывался. Почему? Да потому, что, куда бы я ни уехал, я не мог уйти от самого себя и от сознания, что мне не дано выйти за пределы бытия, отмеренного на земле каждому индивиду.

Как все очень чуткие и отзывчивые натуры, Обидин умел угадывать чужие мысли. Однажды он спросил, обращаясь не то ко мне, не то к самому себе:

— Нужно ли бессмертие?

Я ответил вопросом:

— Зачем гадать, нужно ли, разве оно возможно?

Обидин улыбнулся своими тонкими умными губами.

— Уж кто-кто, а вы-то знаете не хуже меня, что принципиально оно возможно. И что...

— И что, — перебил я его, — запланирован опыт замедления жизни. Мгновение, остановись!

— Я спрашиваю не о том, возможно ли оно, а нужно ли? Не таит ли оно в себе философскую бессмыслицу? Не противоречит ли оно нравственной сущности человека?

— Ответить на ваш вопрос мог бы только тот, кто испытал это счастье или это несчастье на себе.

— Беда в том, что нам бы не представилась возможность его об этом спросить. Но шутка шуткой, а последние два года я очень много думаю об этом. Есть «за» и есть «против».

— Меня больше интересует «за».

— Меня тоже. Мне кажется, что, помимо всего прочего, смерть несет для личности интеллектуальную

трагедию. Каждому хочется знать — что дальше? А смерть отбирает это «дальше» и не позволяет человеку задавать вопросы. Бессмертие нужно хотя бы для того, чтобы продолжать спрашивать. Нет, смерть необходимо убрать с дороги, которая ведет человека вперед.

— А если это не соответствует человеческой сущности?

— Так черт с ней, с этой сущностью! Что она — вечна и неизменна? С возможностью победы над временем и смертью изменится и наша сущность.

— Усталость. О ней вы забыли?

— Физическая усталость?

— Нет, духовная, нравственная усталость. Духовный, интеллектуальный организм вовсе не приспособлен для очень длительной жизни.

— Приспособится.

Обидин часто возвращался к этой мысли. Он все время искал философское оправдание своей дерзкой идеи. Он говорил мне и, разумеется, себе, в первую очередь себе:

— Мы вступили в эпоху, значение и истинный смысл которой мы еще не в состоянии полностью осознать. Выход в космос, завоевание наукой огромных пространств — все это столкнулось с одним сложным и трагическим противоречием. Продолжительность человеческой жизни не соответствует тем грандиозным задачам, которые поставили перед нами современная наука и техника. Как сможет человечество выйти за пределы солнечной системы, если жизнь отдельного человека так непродолжительна? Дальнейший прогресс науки требует удлинения человеческой жизни.

— Это бесспорно, — сказал я, — но человек не машина, созданная только для преодоления физических препятствий, человек — это прежде всего духовное, интеллектуальное, моральное, то есть нравственное, существо. Его духовный мир вряд ли приспособлен для вечного пребывания в мире. Извините, Всеволод Николаевич, но ваша идея похожа на поиски абсолюта. Освободите человека от смерти, и он превратится в бездушное существо.

— Не знаю, — ответил резко Обидин. — И никто не знает. Пока об этом можно гадать.

Сотрудникам лаборатории все-таки удалось уговорить меня взять отпуск, для того чтобы отдохнуть.

Я попросил свою мать позаботиться о Коле, купил путевку в дом отдыха и уехал в Репино.

Целые дни я ходил на лыжах, а вечера проводил за шахматной доской. И лыжи и шахматы должны были помочь мне, как выразился мой приятель Сашка Димин, «войти в колею».

Глядя на пешку или слона, я погружался в обдумывание своего хода с таким видом, словно этот ход был самой важной вещью на свете. Я хотел убедить себя в этом и заставить погрузиться без остатка в пробегавшее мгновение, как это делали все отдыхающие — и молодежь и старики пенсионеры. Но мгновение за мгновением пробежали мимо, не вовлекая мое существо в беззаботную радость существования. Меня выделяло и отделяло от всех других отдыхающих одно чрезвычайное и сверхобычное обстоятельство. Мне была дарована возможность преодолеть время. Я психологически подготавливал себя к опыту, который должен был произвести надо мной Обидин. Я должен был расстаться со своими современниками, чтобы через триста лет увидеть другой мир. Я старался погрузиться в текущее мгновение, отвлечься от вечности и безграничности, знакомство с которыми было не за горами. Жизнь с ее радостями. Она была повсюду. Никто из отдыхающих не думал о времени. Зачем? Они жили в единстве с мимолетным, и никто из них не требовал, чтобы прекрасное мгновение остановилось. Но, как позже я узнал, пожелал остановить мгновение человек, от которого это трудно было ожидать.

Я только что закончил одну партию в шахматы и уже расставлял на доске фигуры, чтобы начать другую, когда в гостиную ленивой походкой вошла сестра-хозяйка и сказала, что внизу, в вестибюле, меня ждет какой-то гражданин.

— Кто же именно? — спросил я. — Разве он себя не назвал?

— Назвал. Да я забыла фамилию. Какой-то профессор.

«Уж не Обидин ли явился сюда», — подумал я, но, спустившись в вестибюль, еще издали узнал чемодановскую шубу.

— Извините, Павел Дмитриевич, что нарушил ваш покой. Важное и срочное дело.

Я указал Чемоданову на диван в углу, где можно было поговорить, никому не мешая. Но Чемоданов не сел на диван, а продолжал стоять.

— Может, прокатимся до Зеленогорска? Со мной машина. По дороге побеседуем.

Я согласился, чтобы убить время. Ведь, в сущности, я только и занимался тем в доме отдыха, что убивал время.

Мы доехали до Зеленогорска. Чемоданов остановил машину возле ресторана «Ривьера».

— Зайдем, — сказал он почему-то настороженным и доверительным шепотком. — Закусим. А за коньячком и поговорим. Тема разговора такая. Требуется подготовки.

В ресторане в этот час, кроме нас, не оказалось никого, если не считать подвыпившего и задремавшего за столиком старика.

— Жизнь прожил, — покосился на него Чемоданов, — и с ее радостями расставаться не хочет. Что ж, это естественно. Я это понимаю. А вы?

— Я не разделяю вашего восторга.

— Ну, ну, — шутливо погрозил он пальцем. — Не разделяете, а сам собирается... — он не закончил фразу, многозначительно посмотрел на меня и налил коньяк в рюмки.

Мы чокнулись.

— Не будем уточнять, — Чемоданов усмехнулся. — Да и конкретизация этого предмета, о котором идет речь, дело не простое. Раньше бы сказали: метафизическое. Выпьем лучше за жизнь и за ее радости. Да, именно за радости. А всякие отвлеченности оставим для вашего шефа Обидина. Он, конечно, гений. Бесспорно! Но что такое гений? Это человек себе на уме. Запомните этот афоризм.

— Запомню, — сказал я.

— Так вот. Не будем уточнять. Не надо. Да и слов нет в бедном человеческом языке. Как сказал поэт: «Молчи, скрывайся и тай и чувства и мечты

свои». Вот я и таю. «Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя?..»

— У вас отличная память. Но я не понимаю...

— Ну, ну! Не делайте вид. Не вчера же вы родились... Это вам обещано радоваться вновь и познать новую жизнь. Ну ладно! Молчок. Не тема для разговора в ресторане. «Поймет ли он, чем ты живешь. Мысль изреченная есть ложь...»

Он еще налил коньяк. Выпил. И в его глазах появилось не свойственное ему выражение иронии.

— Фауст. Советский Фауст. — Он погрозил мне пальцем. — Но Фауст заплатил за это не дешево по тем ценам. Душой. Душенькой. А вы собираетесь получить все бесплатно. Я всегда был о вас особого мнения. «Этот товарищ, — предсказывал я, — пойдет далеко».

— Только, пожалуйста, без пошлостей.

— Далеко пойдет. Уже, кажется, и некуда дальше. Все знаю. Но таю. И как Обидину удалось получить разрешение на этот не имеющий прецедентов опыт и как выбор пал на вас? Ничего себе командировочка! Не нравится это слово? Ну что ж, назовем это отпуском. И это выражение не устраивает? Так можно и никак не называть. Термин Обидина «временная смерть» неудачен. При чем тут смерть, когда речь идет о бессмертии.

— Может, все-таки переменим тему разговора?

— Охотно. О чем же говорить? Ходил вчера в театр. Видел пьеску из жизни ученых. Главный герой, профессор, все никак не может наладить отношения с женой и детьми. Семейный конфликт. А в лаборатории у себя занимается сущими пустяками. Ищет средство от чесотки. Приземленно очень. Быт. Как вы относитесь к быту?

— Никак.

— Это не ответ. Без быта мы все не более как схемы. Ваш Обидин этого не понимает, хоть и почти гений. А я, признаться, люблю быт. В квартире все удобства. Ванна. Газ. Мусоропровод. Телевизор. Но хожу мыться в баню. И знаете, немножко тоскую по коммунальной квартире. Теперь это редкость. Домов строили. Исчезли бытовые конфликты. Хорошо! Отлично! Культурно! Но скучно. Вы об этом думали?

— Не думал.

— Зря.

— Что зря?

— Ничего. Пошутил. И хорошее на плохое менять не намерен. Зачем? Каждый ценит удобства. За что предлагаете выпить? Давайте выпьем за...

— За что?

Не ответил и внезапно меня спросил:

— А что вы с собой возьмете туда?

— Куда?

— Ну в свое путешествие, в свой вояж, как выражались в прошлом веке. Не отправитесь же туда без багажа?

— А вы что бы взяли на моем месте? Свою знаменитую шубу?

— Хотя бы и шубу. Это вещь.

Он помолчал. Потом приблизил ко мне свое лицо, вдруг спросил шепотом:

— Уступите?

— Что уступлю?

— Понимаете сами, о чем идет речь.

— Не понимаю.

— Не притворяйтесь. Так уступите или нет?

— Что?

— Время. Времечко.

— Ах вот о чем вы просите. Время? А зачем оно вам?

— Ценю. Собственно, нет на земле большей ценности, чем оно.

— Для кого как.

— Так уступите?

Он рассмеялся и погрозил мне пальцем.

— Я уже говорил с Обидиным. Он ни в какую. С его точки зрения, я не тот человек, а вы тот. Моралисты! Ну ладно! Пока довольно об этом. Хватит. Молчок. «Молчи, скрывайся и тай и чувства и мечты свои»...

27

Я посмотрел сквозь стекло автобуса. Мелькнуло лицо школьника, возвращающегося из школы. Я задержал свой взгляд на этом детском смеющемся лице.

В автобус вошла старуха колхозница. И я долго долго смотрел на нее, на ее худую суровую фигуру, на ее морщинистый рот, на ее огрубевшие от работы пальцы, которыми она неумело держала билет. Я смотрел на все, что было вокруг, с каким-то острым и незнакомым мне чувством. Я еще был здесь, в своем городе, среди своих современников, но уже все начало отдаляться и от этого становилось еще прекраснее.

Я вышел из автобуса на углу Невского и Садовой. По тротуару текла толпа. Проходим не было до меня никакого дела. Никто из них не подозревал, что среди них идет человек, которому суждено оторваться от бегущего мгновения и сделать необыкновенный прыжок через «ничто». Им не было никакого дела до меня. Но каждый из них был нужен мне, бесконечно нужен и дорог.

— Люди, остановитесь! Современники мои, — хотелось сказать мне, — задержитесь на минутку!

Но я этого не сказал. Да и кто бы решился это сказать, будучи на моем месте? Большие, искренние чувства чуждаются громких и красивых фраз.

На скамейке в Михайловском саду сидела девушка. Может быть, она кого-нибудь ждала. Во всяком случае, не меня. Я сел рядом с ней. И заговорил. Я предложил ей пойти вместе со мной в кино.

— На какую картину? — спросила она.

— На любую. На плохую. На хорошую. Мне хочется побыть вместе с вами.

Девушка улыбнулась. Это была довольно обычная девушка. И улыбалась она чуточку жеманно. Но в эти минуты она мне казалась остро, необыкновенно прекрасной.

— Как вас зовут? — спросил я.

— Валя.

— А где вы работаете?

— Ну вот, целая анкета. Работаю на заводе «Светлана». Есть еще вопросы?

— Все, — сказал я. — Больше вопросов нет. А теперь просто поговорим.

— О чем?

— Не знаю. О земле. О вас. О сердце. Об этих кленах. Как здесь хорошо!

— Вы что, приезжий?

— Нет, здешний. Здесь родился и вырос.

— Наверно, куда-нибудь уезжаете? И надолго?

— Вы почти угадали.

— На целину?

— Дальше.

— За границу?

— Еще дальше.

— В космос, что ли, улетаєте? Но что-то не похоже.

— Почему не похоже?

— Вид не тот. Наружность. — Она с любопытством посмотрела на меня. — Да и в очках. Очкарик. Зрение не подходящее. Летчики и космонавты в очках не ходят. А вы очкарик. — Она повторила, видно, ей понравилось это слово.

Мне оно тоже понравилось, и я тоже повторил:

— Очкарик. Это верно. А откуда вы знаете, что очкариков бракуют?

— Все это знают. А если очки разобьются?

— Это верно. Об этом я и не подумал. Им никак нельзя разбиваться. Хотите мороженого?

— А в кино?

— В кино как-нибудь в другой раз. Времени у меня в обрез.

— Когда же в другой? Вы уезжаете или передумали?

— Нет, не передумал. В другой раз уже не придется. Это верно.

Мы зашли в погребок на Невском у Садовой, и я заказал две порции мороженого.

— Так куда же вы едете, очкарик? Секрет?

— Нет, не секрет. Я, собственно, не еду, но это все равно.

— Какой-то вы непонятный. И грустный, будто что-то потеряли. Паспорт? Билет? Деньги?

— А вам приходилось терять?

— Сколько раз.

Я посмотрел на девушку. Теперь она казалась мне еще прекраснее. Она что-то рассказывала, но я не слушал и смотрел на нее, не отрываясь.

— Что вы так смотрите?

Она вся зарделась.

— Мне хочется насмотреться. Вот уже несколько дней я занимаюсь только тем, что смотрю на людей, на вещи, на дома, на улицы, чтобы запомнить.

— А зачем?

— Сам не знаю, для чего. Когда ложишься спать, ведь ничего не запоминаешь, знаешь, что утром проснешься и все будет рядом с тобой — друзья, привычные вещи, весь твой мир. Но этот сон слишком будет продолжительным, не ночь, а несколько сот лет.

Девушка с тревогой посмотрела на меня: что с ним, бредит он, что ли? По-видимому, ей было жаль меня.

— Вы, случайно, не больной? Давно бюллетени?

— Нет, совершенно здоровый.

— А почему такое говорите?

— А видите ли, я артист. Должен исполнять роль в одном научно-фантастическом фильме. Вот я и приучаю себя к чувствам, которые никому и никогда не довелось испытать.

Девушка еще раз посмотрела на меня, но уже без тревоги. Все стало на свое место. Я — артист. Артист и должен вести себя не так, как ведут другие люди. Теперь ей не казалось странным, что я смотрел на нее, словно впервые видел девичье лицо.

— И все-таки вы странный, — сказала Валя.

— Возможно, — ответил я. — Но странным меня делает роль. Я ведь должен изображать существо, прилетевшее на Землю с другой планеты. Существо это здесь все видит впервые, по-настоящему впервые, словно только что родилось на свет.

— Понимаю, — говорит Валя. — Это когда в первый раз я смотрела телевизор. Как кино, только поменьше и похуже.

Нет, девушка не понимала меня. Она жила на Земле, только на Земле.

Мы вышли из погребка.

— Мне домой надо, — сказала Валя. — Подруга должна прийти на примерку. Я ей шью платье.

— Разве вы портниха?

— Нет. Но научилась. Шью неплохо.

Она зевнула. Зевнула откровенно. По-видимому, ей стало скучно со мной.

— Разрешите мне вас проводить?

— Мне на Выборгскую.

— Ну что ж. Чем дальше, тем лучше. Хочется побыть с вами.

— Странный. Очень странный вы. А мы еще увидимся?

— Нет. Не увидимся.

— Значит, вы, действительно, куда-то уезжаете? И надолго?

Я промолчал.

Мы прошли весь Литейный, перешли мост и на улице Лебедева остановились.

— Не уходите, — сказал я. — Пойдите.

— Я не уйду, — сказала Валя.

Минут десять мы стояли рядом. Должно быть, девушка что-то разглядела во мне, то, чего не видела раньше.

— Нет, вы не артист.

— А кто?

— Не знаю. Может, и в самом деле летчик или какой испытатель.

— А откуда вы догадались?

— Артисты такими не бывают.

Я взглянул на наручные часы. Мне нельзя было больше задерживаться.

— Прощай, Валя, — сказал я девушке. — Прощай.

Я крепко поцеловал ее в губы. Было слышно, как стучало ее сердце. Затем я круто повернулся и быстро пошел от нее.

— Очкарик! — тихо произнесла она мне вслед.

Я не оглянулся и прибавил шаг.

— Очкарик! — звала она, чтобы я вернулся.

Я шел быстро-быстро.

— Очкарик!

И мне казалось, что голос девушки донесся откуда-то издали, пробившись сквозь бездонное расстояние, уже разделившее нас, разделившее навсегда.

Навсегда!

Всю выразительную силу этого слова, весь его бесконечно глубокий и трагический смысл мог почувст-

зовать только человек, которому, как мне, удалось бы познать две эпохи и соединить их своей собственной жизнью.

— Очкарик!

Сколько раз я пробуждался ночью или на рассвете, когда все спали (кроме бессонных роботов), слыша девичий голос, звавший меня. Он звал меня к себе так, словно можно было повернуть какой-нибудь рычаг и вернуться в свой утраченный век.

— Оч-ка-ри-ик!

Но рычага не существовало.

Сколько раз она, наверное, вспоминала меня и искала в уличной толпе, надеясь когда-нибудь встретить. Но я больше не встретился с ней. Ведь время необратимо.

И все же девичий голос звал меня сквозь сон, сквозь стены и сквозь столетия, звал настойчиво и протяжно. И в эти тревожные часы я не мог сидеть в гостинице, меня тянуло туда, где много людей.

Гостиница со всеми своими техническими новинками была, в сущности, архаическим учреждением. Ею пользовались люди старомодных вкусов. Да и кто на Земле нуждался в гостинице, кроме жителей космических станций и новоселов с Марса и Венеры и других планет солнечной системы? Ведь для всех живших на Земле слово «расстояние» утеряло всякий реальный смысл из-за бешеной скорости передвижения.

С новоселами Венеры и Марса, с жителями космических станций, прибывших на Землю по каким-нибудь делам, я встречался в вестибюле или в ресторане, учреждении тоже архаичном и существовавшем скорее ради традиции, чем для удовлетворения насущных и прозаических потребностей. Каждый мог поесть в своем номере, пользуясь услугами автоматов, но людей, проживших по нескольку лет в космосе, в безлюдных вакуумах среди холодных бездонных пространств, тянуло в веселую шумную компанию, где можно послушать музыку, потанцевать, ощущая милую сутолоку и радуясь легким, лишенным заботы минутам. Меня тоже тянуло в ресторан, в суету и шум. Вокруг были люди, но большей частью молодые и

сильные, веселые и мужественные. Казалось, они принимали меня за одного из своих, и мне это было приятно.

— Надолго? — спросил меня один из этих здоровенных парней.

— Как вам сказать... — замялся я.

— А когда возвращаетесь?

— Туда, откуда я прибыл, нельзя возвратиться.

Он рассмеялся, приняв это за шутку.

— Ну, ну! Не думаю, чтобы это было абсолютно невозможно. Раз вы попали сюда, значит, найдутся средства доставить вас обратно. Инженеры позаботятся. Знакомьтесь, — он показал взглядом на молодую красивую женщину. — Это моя жена Маргарита Рей. Физик-оптик. Я тоже оптик, но не теоретик, а инженер. А другая моя специальность — пограничник.

— Разве границы космоса охраняют?

— Да. Но только от дураков и трусов. Пограничник... Разве вы впервые слышите это слово? Я осваивал границы мирового пространства, расширяющиеся границы возможного. Да, я вам забыл сказать, как меня зовут... Вилли Рей. — Он крепко пожал мне руку. И мы сели за столик в углу.

По-видимому, ему очень хотелось рассказать о своих приключениях и о своей жизни в космосе, где он провел около десяти лет, обзаведясь там семьей (дети — два мальчика-близнеца — гостят у бабушки в Южной Африке).

Я охотно пошел навстречу его желанию и с большим удовольствием слушал его рассказы. Он рассказывал разные истории, смешные и ужасные. И я должен признаться, я верил далеко не всему, что он мне рассказывал. Правда, я еще в юности читал о том, что люди далекого будущего разучатся лгать и будут говорить только одну правду. Но я чуточку сомневался даже и тогда, хотя и понимал, что ложь может быть разной. А он так безобидно преувеличивал, этот инженер-оптик и осваиватель границ необжитого мирового пространства, этот Вилли Рей. По его словам, он прожил в вакууме на искусственном космическом острове около трех лет таким Робинзоном Крузо, окруженным, правда, роботами и не знавшими ни в чем

нужды, кроме желания перекинуться словом не с кибернетическим устройством, а с живым человеком. И вдруг на этом островке, заброшенном в пустоту, в безлюдье, в бесконечность, появилось нечто живое и конкретное. Из пустоты молодой голос сказал ему:

«Здорово, Рей. Ну как поживаешь, приятель?»

«Где ты? — крикнул Рей. — Я тебя не вижу. Кто ты?»

«Кто я? Я — это ты, Рей. Да, я — это ты!»

«Ты не можешь быть мною! Это невозможно! Индивид неповторим! Но почему, так хорошо слыша тебя, я не вижу ни твоего лица, ни твоей фигуры?»

«Ты не должен видеть меня, Рей. Еще время не пришло. Но тебе скучно, Вилли, в этой пустоте. И я пришел. Я, то есть ты, ты пришел к себе».

«Ты бредишь, брежу я или бредим мы оба?»

«Называй Вилли меня, как ты называешь себя. Я был тобой пятнадцать лет назад. Твое тело возобновилось, все твои клетки. Ведь каждый человек химически возобновляется в течение восьмидесяти дней. Но вот теперь произошло преломление пространства и времени, физический эффект, открытый Вайнером. Ты не слышал об этом? Ты не мог о нем слышать. Вайнер открыл его в прошлом году. И известие об этом еще не дошло до тебя. Я — это ты, но ты — не такой, как сейчас, а ты — прежний. Вот почему ты и не должен меня видеть. Хватит с тебя, Вилли, что ты слышишь меня. Узнаешь свой голос? Вилли, а помнишь, как мы с тобой мечтали попасть в космос и создать в пустоте нечто такое, на что могут опереться человеческие чувства? Я знаю, что ты совершил много подвигов, отодвигая неосвоенную границу пространства, что ты спас поселок в районе Сатурна, и спас корабль с детьми, и снискал уважение переселенцев, создавая оптические иллюзии. Но там-то ты загрустил и стал бояться пространства. Не пугайся меня. Я обусловлен строгими физическими законами и опираюсь на эффект Вайнера и на новое представление о времени и пространстве, созданное Казимиром Раевским».

«Раевский? Впервые слышу...»

«Да, Казимиром Раевским. Новым Эйнштейном. Известие о его открытии еще не дошло до тебя. Но

скоро ты о нем узнаешь... Ты о многом узнаешь, Вилли. Три года — не маленький срок. Три года! Да еще двенадцать. Давненько мы расстались с тобой, но я недоволен тобою, Вилли. Ты разучился мечтать, познав и освоив так много...»

— Затем он исчез. Впоследствии врачи мне сказали, что я заболел новой, малоизученной болезнью, пространственно-временным синдромом, космическо-психическим недомоганием. В клетках мозга, ведающих памятью, происходит процесс, в результате которого индивид начинает блуждать во времени. Все это так. Синдром. Медики умеют находить названия для наших бед и несчастий, но эффект Вайнера действительно существовал, и новый Эйнштейн — Казимир Раевский выступил со смелой концепцией пространства и времени, меняющей все наши представления об этих двух физических категориях. Известие об этом пришло на мой островок через месяц после того, как исчез мой двойник.

Организатором этого вечера (назовем его условно бал-маскарад) был сам Вайнер, физик, открывший знаменитый эффект, подтверждавший новую физическую теорию, созданную Казимиром Раевским.

Меня привел на этот вечер инженер Вилли Рей, долго живший на границе исследуемого наукой пространства.

— У меня нет ни подходящего костюма, ни маски, — сказал я Рею накануне.

— Костюма? Маски? — рассмеялся Рей. — Зачем? Дело этим все равно не ограничилось бы. На пороге этого дома вы оставите свою внешность. Вам выдадут другую, более соответствующую характеру вечера.

Шутник! Забавник! Любитель парадоксов, причудливых поступков и слов. Жизнь на границе осваиваемого пространства приучила его мыслить слишком неожиданно и смело.

Я принял его слова за очередную шутку.

— Да, кстати, — спросил он меня, — вы разобрались в физической концепции Казимира Раевского, поняли суть эффекта Вайнера?

— Пытался. Но мои знания физики, математики и математической логики остановились, как часы, ко-

торые забыли завести еще триста лет тому назад. Я человек второй половины двадцатого века. Теория относительности. Квантовая механика. Гипотеза Фрийдмана о расширяющейся вселенной. Попытка Вернера Гейзенберга создать теорию единого поля... Вот на чем остановились мои знания.

— Понимаю, — сказал Рей. — Но от попытки Гейзенберга до физической концепции Раевского — Вайнера три века стремительного развития естественных наук. Боюсь, что я не сумею разъяснить вам сущность новой теории. Пока в ней разбираются всего пять или шесть физиков и математиков.

— Настолько она сложна?

— Наоборот, настолько она проста. И в этом ее недоступность. Она требует от человека других принципов мышления. Нужно похоронить старые логические навыки, чтобы понять новую теорию. Новое представление о пространстве и времени почти снимает различие между близким и далеким, в вульгарном смысле этого слова, пространство преломляется, как преломляется луч, опровергаются все прежние представления о плоскости, о кривизне, о внешнем и внутреннем. Эта теория дает человеку ключ к освоению бесконечности. Правда, в этой теории есть и дефекты. Расплывчато сформулирован принцип преломления... Но Большой кибернетический мозг на Луне подтверждает все расчеты Раевского и Вайнера. Сейчас сотни тысяч математиков и физиков переучиваются и пересматривают свои взгляды. Это болезненный процесс. Несколько ученых наотрез отказались, заявив, что логика им дороже истины... Упрямы, которые не хотят отказаться от рутины.

Рей зашел за мной в гостиницу. Он только что проводил жену, улетевшую на Луну в район, где работает Большой кибернетический мозг. Там был создан центр для теоретиков.

— Идемте, — торопил он меня. — Мне нельзя запаздывать. Я ведь иду не веселиться, а на работу.

Машина быстрого движения доставила нас в город науки возле Томска, где жили и работали два великих физика — Раевский и Вайнер.

Войдя в зал, я почувствовал легкое недомогание, сменившееся бодростью.

Вилли Рей сказал мне тихо:

— Взгляните в зеркало.

Я взглянул и не поверил своим глазам. Из зеркала глядел на меня юный бог в костюме эпохи Возрождения и с лицом молодого Леонардо.

— Что со мной? — спросил я Рея.

— Эффект...

— Вайнера? — перебил я.

— Нет, мой. Эффект Рея. Оптическое переодевание. В космосе мне не раз приходилось использовать этот эффект, когда возникала нужда в иллюзиях, своего рода театр, не больше. В этом зале стоит устройство, созданное по моему проекту. В основу положены теоретические работы моей жены. Вы думали о Леонардо, когда шли сюда? Не так ли? Ваши мысли стали вашей формой. Вас одели в вашу собственную мечту.

— Но почему же не меняетесь вы сами?

— Я? Еще чего захотели! Я на работе. И я не из тех, кто целиком полагается на роботов-техников. В космосе однажды они меня здорово подвели.

Вилли Рей ушел, оставив меня в зале. Я чувствовал себя все бодрее и бодрее.

Невидимый певец запел. Казалось, он пел только для меня, обращаясь ко мне:

Оглянись, оглянись,
Посмотри вперед.
Здесь она, здесь она,
Что тебя зовет.

Навстречу мне шла шумная компания.

Оглянись, оглянись,
Посмотри скорей...

Этот голос пел внутри меня.

Посмотри, оглянись...

Ко мне подошла женщина с величественным лицом.

— Здравствуйте, великий художник.

— Я великий всего на три часа. А вы?

— Я не пожелала меняться. Я осталась сама собой. Рей в ужасе. На меня не действует его устрой-

ство. Он говорит, что я мало пластична. Ах, этот Рей! Он дал вам в долг внешность великого итальянского художника? Но это же только маска. И вы самозванец.

Я постарался отделаться от этой не слишком тактичной дамы.

Почему она упрекает меня, а вот не этого человека, занявшего лицо у Эмиля Золя? Или вот этого гражданина с подбородком и насмешливыми глазами Вольтера? Им можно, а мне нельзя? Да и, кроме того, это получилось произвольно.

Промелькнул человек с лицом Обидина. Видно, кто-то занял у него свою внешность. Я окликнул его:

— Всеволод Николаевич!

Но он посмотрел на меня, словно вместо меня было пустое место.

Затем я остановился возле площадки. Танцевали две пары. Они были окутаны тихой мечтательной музыкой и светом, как в сказке.

И снова запел голос:

Оглянись, оглянись,
Посмотри вперед.
Здесь она, здесь она,
Что тебя зовет.

Я оглянулся и чуть не вскрикнул от изумления. Рядом со мной стояла она, Валя, та самая девушка, с которой я простился на улице Лебедева триста лет назад.

— Очкарик! — сказала она, словно не веря себе.

Она что-то хотела сказать, как вдруг хлынула толпа масок и оттеснила ее.

— Очкари-ик! — крикнула она.

Я пытался прорваться сквозь толпу к ней и не мог. Я всю ночь искал ее в огромном зале, всю ночь, пока не кончился карнавал, но так и не нашел.

Мне было ужасно грустно. Мне так хотелось вернуться домой, не в гостиницу и не в домик Павла, а по-настоящему домой, в свое время, но это было невозможно даже по физическому закону Раевского — Вайнера. Мое время стало временем прошлого.

Кибернетика-экспериментатора, у которого я гостил, звали Демьян Петрович. Это он и его помощники создали Митю, Женю, Валю, Мишу и Владика.

Машина быстрого движения доставила нас в Забайкалье, в старинный сибирский городок Баргузин, где когда-то жил в ссылке декабрист Михаил Кюхельбекер.

Демьян Петрович, по рождению сибиряк, был влюблен в свой край и в его историю. В кабинете его висела репродукция знаменитой картины Сурикова «Взятие снежного городка». Но прежде всего нужно сказать, что это за репродукция и висела ли она в действительности. Нет, она не висела, а была как бы вплетена в ткань самого бытия.

Новая, небывалая техника воспроизведения картин. Эта техника давала возможность видеть картину в целом и отдельно каждую деталь.

Вот паренек, подпоясанный красным кушаком, поднявший руку с хворостиной. Вот девушка, похожая на Снегурочку. Казалось, сам Суриков был тут же, с нами. Он и его удивительное мастерство.

Город Баргузин был красив и ярк. Высокие горы, а перед ними дома, легкие и живые, среди сосен и кедров, разноцветные дома, пребывающие тут, рядом с вами, и одновременно уносившиеся вдаль, как в песне или лирическом стихотворении.

Экспериментальная лаборатория стояла в лесу, на берегу быстрой горной речки Банной. Старинное название напоминало о банях, к которым был, по-видимому, равнодушен Демьян Петрович, как ко всякой старине.

За ужином нам рассказывала народные русские сказки невидимая старушка ленивым и протяжным голосом няни.

— Автомат? — спросил я. — Искусственная память, вобравшая в себя эти разноцветные, яркие живые слова?

— Нет, это не искусственный соловей китайского

императора, — ответил Демьян Петрович. — Это голос забайкальской сказительницы Алены Ивановны Колмаковой, записанный двести восемьдесят лет назад. Я слишком люблю фольклор, чтобы слушать искусственного соловья.

Меня удивили эти слова. Ведь говорил их кибернетик, знаменитый конструктор мыслительных и даже чувствующих машин.

— Как же увязать, — спросил я, — эти ваши слова с вашей специальностью? Слушая вас, можно подумать, что не вы создали Митю, Женю и Владика.

— Не отпираюсь. Я. Я создал их и несу на себе всю ответственность. Но, создавая Митю, Женю и Владика, я как раз боролся с односторонностью кибернетики. Соловей китайского императора из андерсеновской сказки был бесчувственным, как все эти думающие машины. Я сделал попытку создать машину чувствующую, переживающую, еще не предполагая, как далеко заведет меня моя попытка. Еще в молодости, занимаясь кибернетикой, я понял, что эта наука близка к искусству. Ведь она моделирует человеческий мозг, воспроизводит память, из всех технических и естественных наук она ближе всего к человеку, к его сущности. Как раз в те годы шло освоение Венеры. На ней поселили группу думающих машин, сообщавших нам все необходимые сведения. Эти сведения были безразличны, абстрактны. Машины мыслили формулами. Вот тогда-то мне и пришла в голову идея создать эмоционального робота, робота не математика и не техника, а художника. Эта идея уже была подготовлена развитием физиологии и биофизики. Ученые уже умели найти объяснение так называемым таинственным явлениям психики. После шести лет непрерывных поисков и экспериментов мне и моим помощникам удалось создать первого робота-эмоционала Васю. Вася не только мыслил, но и чувствовал. У него была тонкая, восприимчивая душа лирического поэта. И вот Вася был отправлен на Венеру вместе с безэмоциональными роботами-приборами. И случилось то, что должно было случиться... Вася заболел. Он стал тосковать по коллективу, создавшему его. Какие глубокие и грустные письма посылал он мне, описывая чув-

ства, которые испытывал... Его пришлось вернуть на Землю. Вскоре он безнадежно испортился.

— И после всего этого вы все-таки продолжали работать в том же направлении?

— Продолжал. И создал Митю, Женю, Валю, Мишу и Владика.

— А как же вы будете делать сейчас, когда Академия наук и общество философов сочли, что ваши эксперименты пришли в противоречие с этикой, с нравственной природой человека?

Демьян Петрович словно не слышал моего вопроса. Ответил он не сразу и, вероятно, не столько мне, сколько самому себе.

— Не знаю! Не знаю! И не знаю! Этой идеей, идеей создания эмоциональной сферы, я жил много лет.

29

Из Баргузина, с берегов прозрачного Байкала, я попал на новую, только что построенную космическую станцию. Меня пригласили туда строители (физики-термоядерники и астрономы-инженеры), создавшие в этой части солнечной системы небольшую искусственную звезду из плазмы.

Признаюсь, я с удовольствием принял их приглашение. Дело было, разумеется, не в тщеславии, не в желании быть в центре внимания людей, все еще не привыкших ко мне и смотревших на меня как на своего рода феномен. Нет, причины, заставившие меня лететь из Баргузина на строительство искусственной звезды в космос, были связаны с искренним желанием занять самого себя, заняться, увидеть новое и отвлечься от дум. Ведь я уже ждал возвращения фотонного корабля с Ольгой и ее спутниками. Каких-нибудь семь-восемь месяцев оставалось до этой встречи, и надо было найти средство, как сделать короче и незаметнее этот срок.

Известие пришло, когда я сидел вместе с Демьяном Петровичем в старинной просмоленной, пахнущей соленым омулем лодке и смотрел в зеленые воды Байкала.

Мой спутник включил квантприемник, и мы услы-

шали голос диктора с космической станции Балашово:

— Внимание! Только что получена кванттелеграмма. Фотонный корабль, отправившийся в экспедицию триста лет назад, сообщил о своих координатах. Затем связь была прервана, но ее постараются восстановить.

Мы стали грести к берегу, но старинная лодка двигалась поистине с черепашьей медлительностью. Я спешил попасть на берег, словно это могло сократить срок и приблизить меня к Ольге.

Связь с фотонным кораблем, замедлявшим свое движение, удалось восстановить. Через полгода он должен появиться...

Я лихорадочно считал дни и часы. И, разумеется, был рад каждой возможности отвлечься. Пришло приглашение с космической станции. Я его принял. Я его принял потому, что не знал, что меня там ждет. А меня ждали неожиданность, испытание. Парадокс времени и причудливые законы генетики задумали сыграть со мной неостроумную и жестокую шутку и заставить меня пережить несколько тревожных и двусмысленных минут.

Провожавшие предупреждали меня, что на космической станции, очень возможно, мне доведется встретиться со своими потомками. Я не удивился этому. Мой сын Коля оставил четырех детей, а дети его детей, мои внуки, в свою очередь, тоже имели потомство. И вот случилось нечто такое, к чему не подготовлено было мое возбужденное сознание. Кого же, вы думаете, я увидел среди строителей искусственной звезды, пришедших на космический вокзал меня встретить? Жену свою Ольгу. Она стояла, как будто ничего не произошло с того дня, как мы с ней расстались. На лице ее играла спокойная улыбка.

Как? Почему? Уж не прилетел ли фотонный корабль раньше срока?

— Ольга! — крикнул я, нет, не я, а все мое существо, рванувшееся к ней. — Оля!

Но она стояла, словно не узнавая меня.

— Ольга!

Она подошла и сказала:

— Я не Ольга. Вы ошиблись. Я — Наташа. А вы... —

она замялась, подыскивая нужное слово, и, по-видимому, не сумела найти его. — Мой предок. Нет, не то. Дедушка. Можно вас так называть? — Она улыбнулась. — Извините. Вы так молодо выглядите, почти как мой ровесник.

Она отрицала, что она была Ольга. Категорически отрицала. Но мои чувства пока еще не могли, не хотели признать этот холодный, бессердечный объективный факт. Как же могла Ольга передать свои глаза, свой рот, свой нос, свои брови, свои руки и свои ноги кому-то, появившемуся почти через триста лет? И логика тоже не хотела согласиться.

Девушка стояла тут, рядом. Я вглядывался в дорогие черты. И все-таки это была Ольга.

Но если это Ольга, то зачем же она стала бы выдавать себя за Наташу?

Генетика. Законы наследственности. Нуклеиновые кислоты с их удивительной «памятью» и умением передавать информацию для химических реакций в убегающем времени. Так, значит, нуклеиновым кислотам обязан я этому обману, этому маскараду плоти? Я стоял разочарованный, обиженный, почти возмущенный.

«Где же неповторимая индивидуальность, — думал я, — о которой столько распространялись философы и лирические поэты? Неужели индивидуальность может повториться, если этого «пожелают» нуклеиновые кислоты?»

— Дедушка, — сказала Наташа милым и бесконечно знакомым мне голосом Ольги. — Все-таки дедушка. Разрешите мне так называть вас, хотя вы выглядите совсем молодо. Дедушка, идите, вас ждут строители новой звезды, нового солнца. Я вас должна познакомить со своими друзьями.

30

Я привожу почти без изменения этот диалог, записанный роботом-секретарем. Этого автоматического секретаря подарили мне как дорогую и, в сущности, не очень-то нужную игрушку физики-термоядерники и астрономы-инженеры.

Ни одна живая телеграмма не смогла бы так поспевать за убегающей мыслью, за капризным словом, как этот бесстрастный и тихий секретарь.

Н а т а ш а. Вы утомились, дедушка? Столько людей расспрашивало вас. Столько новых лиц, новых впечатлений. Устали?

Я. Дедушка! Ты называешь так меня, чтобы не прозвонить это страшноватое и парадоксальное слово «предок»? Да?

Н а т а ш а (*смущенно*). Нет. Я называю вас дедушкой потому... потому...

Я. Не будем вдаваться в тонкости этого сложного и пока еще не разрешенного жизнью вопроса. Оставим это тем, кто любит словесные тонкости и оттенки. Так ты говоришь, что у тебя две профессии?

Н а т а ш а. Две. И обе нравятся мне. Я работаю техником в ремонтной мастерской, ремонтирую автоматы и роботы, но, кроме того, я занимаюсь философией и психологией, изучаю, как действует космическая среда на внутренний мир человека.

Я. В ремонтной мастерской? Ну что ж! Даже Спиноза и тот шлифовал линзы. Это ему не помешало стать великим философом.

Н а т а ш а. Спиноза? Да вы не могли быть знакомы лично. Вы жили гораздо позже...

Я. Жил? А разве я не живу, не продолжаю жить? Сколько тебе лет, Наташа?

Н а т а ш а. Тридцать два.

Я. Для философа ты, пожалуй, очень молода. Ну, а как влияет космическая среда на человеческую душу?

Н а т а ш а. Не знаю.

Я (*удивленно*). А кто же знает? Ведь ты же занимаешься этой проблемой.

Н а т а ш а. Именно потому я и не знаю.

Я. Ты шутишь, конечно?

Н а т а ш а. Нет, не шучу. Вся сложность этой проблемы открывается только тому, кто ею занимается. Ведь возник совершенно новый аспект. Все философы, начиная с античности, не умели отделить человека от той среды, в которой он жил. Человек жил на земле,

даже если его уподобляли богу. Но вот земля отделилась от наших чувств и привычек. Казалось, человек познал необходимость и обрел свободу. Но ведь он встретился с другой необходимостью, с другим детерминизмом. Вы слушаете меня, дед?

Я. Дед? Спасибо тебе и за это. Это слово согревает меня, оно роднит меня с твоим миром, с твоими друзьями, с тобой.

Н а т а ш а. Правда, вы не в том возрасте, чтобы называться дедом. Вам удалось сделать прыжок через время. Вы жили в эпоху, когда над людьми еще довлели привычки. Мы же свободны от власти всякой рутины.

Я (*рассеянно*). Да, да. Свободны.

Н а т а ш а. Что вы так смотрите на меня? О чем вы сейчас думаете?

Я. О тебе. И о том в тебе, что не твое, что принадлежит не тебе.

Н а т а ш а (*с интересом*). Вы нашли, дедушка, что я повторяю чужие мысли?

Я. Чужие мысли? Нет, не чужие мысли ты повторяешь.

Н а т а ш а. А что?

Я. Ты повторяешь чужое лицо, чужие руки, чужие глаза. Я поймал сейчас тебя на том, что ты сделала чужой жест, характерный жест, который перенес меня в прошлое.

Н а т а ш а. Повторяю? Нет, это не повторение.

Я. Если это не повторение, то что же это?

Н а т а ш а. И, кроме того, повторяю не я, это повторяет природа.

Я. Природа? Да, это она. Биологи сказали бы еще — нуклеиновые кислоты.

Н а т а ш а (*почти весело*). И с чего это вздумалось? Я ведь их не просила. И до встречи с вами, дедушка, я воображала, что я неповторима. От вас я узнала, что я похожа на свою прапрапрабабушку. Возможно, что нас будут путать с ней, когда она вернется на Землю из своего рейса. Я бы этого не хотела.

Я. Лучше поговорим о чем-нибудь другом.

Н а т а ш а. О чем? Вам понравились мои друзья?

Я. Да.

Наташа. Они создают звезду, новое солнце из плазмы. В ваше время, дедушка, люди еще этого не умели.

Я. Они были еще только людьми. А вы стали почти богами.

Наташа. Вы не правы, дедушка. Они не стали богами, а остались людьми. Ничто человеческое не чуждо им. Они любят, страдают, ревнуют, ошибаются.

Я. И, наверно, не любят признавать свои ошибки?

Наташа. Они люди, а не думающие машины. Они создают новую звезду, новое солнце...

Я. Они. И вместе с ними ты.

Наташа. Я ремонтирую роботов. И, кроме того, я пишу гносеологическую статью.

Я. Ты скучаешь по Земле?

Наташа. По рекам, по озерам. Их, как вы, наверно, уже заметили, здесь нет. Нет. И не может быть. Для них здесь нет места. Им негде течь.

Я. А вода? Откуда же ее берут? Неужели доставляют с Земли?

Наташа. Разумеется, нет. Ее создают здесь из водорода и кислорода. Но я не люблю эту воду. Это не настоящая живая вода, а H_2O .

Я (смеясь). Но я же пил сегодня утром не формулу, а отличный кофе.

Наташа. В кофе это менее заметно. В формулу прибавляют кофеин и сгущенное молоко. Но ради новой звезды, которую создают из плазмы, я готова всю жизнь пить эту неживую воду. А ведь на Земле я ежедневно купалась в горной реке.

Я. Мне непонятно. Научились создавать звезды и не научились готовить воду?

Наташа. Вода — самое странное и капризное вещество. Формула H_2O — это еще не вся истина, а только ее часть. Я не биофизик, чтобы разъяснить вам все тонкости, смущающие специалистов. Вода прихотливо меняет свою молекулярную структуру. Мы научились создавать новые звезды, но еще не знаем, как создавать ту воду, которая звенит в горном ручье, быструю воду, где плавают форели. Потому мы и не боги, дедушка. Мы еще не все умеем.

Я. Научитесь.

Н а т а ш а. Конечно, научимся. Земная вода отличается от космической. К формуле H_2O Земля добавляет еще что-то. И это «еще что-то» и есть самое важное и неизменяемое. Иногда, дедушка, мне снится лесной ручей. Я слышу, как звенит вода, прозрачная, чуть тронутая утренней синью вода. И в эти минуты мне хочется домой, на Землю, в земные леса и поля...

Я. Вы создадите искусственную звезду, новое, дополнительное солнце и вернетесь на Землю, в земные леса, где звенят ручьи и свистят иволги. Но мне, увя, уже никогда не удастся вернуться туда, откуда я прибыл, к своим современникам.

Н а т а ш а. Наш мир прекрасен. Можно ли, живя в нем, скучать по прошлому?

Я. Оно ведь не было прошлым. Оно стало для меня прошлым вдруг, внезапно. В тот день, когда я подвергся дискретизации. От слова «прерывно», «дискретно». Профессору Обидину очень нравился этот термин, это странное и сложное словечко. Когда меня подвергли эксперименту, вокруг, за стенами лаборатории, шумела жизнь. И вот толчок, и она оказалась позади. Я еще и сейчас полностью не могу осознать все, что со мной случилось. Со всей остротой я, наверное, почувствую это, когда вернется Ольга и ее спутники. Я любил своих современников, свою эпоху. И только теперь понял всю силу привязанности человека к своему времени.

Н а т а ш а. Я это понимаю. Я понимаю, что человек и время неразрывны. Я как раз об этом пишу статью. Я считаю, что в космическую эру меняется сущность человека.

Я. А единство его с временем и пространством?

Н а т а ш а. Оно становится другим. Раньше человек подчинялся времени и пространству. Сейчас он подчинил себе их.

Я. Но ты же все-таки скучаешь по лесному ручью, по свисту иволги, по запаху хвои. Тебе противно пить вместо живой воды H_2O , синтезированное на ваших космических водозаводах. И, значит, ты несчастлива.

Н а т а ш а. Дедушка, вы не поняли меня. Совер-

шенно не поняли. Я люблю Землю и тоскую по ней, но я побеждаю свою тоску, я борюсь с собой и побеждаю себя, чтобы вместе со своими друзьями строить новое солнце. И в этой победе над собой, над своей слабостью и рождается настоящее счастье.

31

Я снова на Земле.

Мой друг тиомец Бом идет рядом. И тут же мой потомок и тезка Павел Погодин и Демьян Петрович, создатель Мити, Жени, Вали, Миши и Владика. Они пришли меня встречать.

И вот, наконец, все разошлись, и мы остались вдвоем с Бомом в номере гостиницы. Мне дорого было это разумное существо, этот человек (если не человек, то кто же?) с другой планеты. Я успел привыкнуть к нему, а он — ко мне.

Тиомец Бом расспрашивал меня о космической станции. У него была жажда писателя все знать, помноженная на любознательность жителя Тиомы, где знание ценилось еще выше, чем на Земле.

Я рассказывал Бому обо всем, что видел на космической станции, живя среди строителей искусственной звезды, я рассказывал о Наташе, в чьем облике и даже характере повторились черты той, возвращения которой я ждал.

Тиомца Бома это заинтересовало.

— Сходство? И большое, поразительное сходство! Это я могу понять. Но повторение... Нет, время и природа не повторяют и не повторяются. Вы просто очень давно не видели жену, и расстояние помешало вам заметить различие. Вы видели только сходство, и ваши обостренные чувства преувеличили его. Я в этом уверен.

— Я попытался тоже разуверить себя. Но сходство велико. И от этого я очень страдал. В этом есть что-то обидное. Эти нуклеиновые кислоты. Сознание, что их «памяти» и цепи случайностей я обязан этим маскарадом, меня буквально оскорбляло.

— Оскорбляло? На этот раз я не понимаю вас, мой друг. Что же тут оскорбительного? Я считаю самым

удивительным в природе эту «память» нуклеиновых кислот, их способность пронести сквозь время нечто связывающее индивиды в единство рода. Но мы немножко ушли в сторону. Вы говорили о том сильном впечатлении, которое произвело на вас строительство искусственной звезды. И когда вы говорили об этом, я вспомнил своего отца. Он посадил дерево в космосе. И дождался, когда дерево расцвело. И на ветку весной сел соловей, привезенный с Тиомы...

Он сделал паузу.

— Свист соловья, увидевшего новое, созданное людьми солнце. Вот я о чем подумал. Когда вы рассказывали о плазме, о термоядерных реакциях и о гигантских магнитных полях, о девушках и юношах, воздвигающих в вакууме, в пустоте, в ничто нечто живое и прекрасное, я подумал о дереве и поющем соловье.

— Разве на Тиоме тоже есть соловьи?

— Не соловьи, а другие маленькие птицы, у которых в горле целый мир. Свист, цоканье, чудо звуков. Каких только птиц нет на Тиоме! Вы не очень устали, Павел Дмитриевич?

— Нисколько.

— Тогда отправимся в лес. В самый густой лес на Земле. Туда, где поют соловьи и свистят иволги.

32

Космическое общество имени К. Э. Циолковского избрало меня своим почетным членом. Я был очень польщен этим и вместе с тем несколько смущен. Ведь, в сущности, у меня не было никаких особых заслуг перед наукой. А в Космическом обществе состояли членами крупнейшие ученые, инженеры, астронавигаторы, астрономы, астрофизики и астробиологи.

Председатель общества академик Катаев прислал мне оптико-звуковое экстрписьмо — новинку. Робот принес его мне в номер. Я вскрыл конверт, отнюдь не подозревая, что вместе с письмом увижу и того, кто его писал. Да, в узком, весьма изящном конверте нашлось место не только для десятка любезных фраз, но и для самого их автора. Я распознал это не сразу.

Сначала возникли фразы, а затем на листе, похожем на экран в миниатюре, появилось изображение академика Катаева, председателя общества. Изображение? Нет, пожалуй, не только и не просто изображение. Передо мной был сам Катаев, своей собственной персоной, по-видимому, нисколько не пострадавший от пребывания в узком изящном конверте.

Катаев улыбнулся мне, поклонился и не спеша начал разговор:

«Дорогой Павел Дмитриевич!

Сообщаю Вам, что наше общество имени К. Э. Циолковского на пленарном заседании от 2 июня сего года единогласно избрало Вас почетным членом...

Сообразуясь с задачами, стоящими перед наукой, изучающей космос, а следовательно, пространство и время, мы шлем привет Вам, человеку, чьим существованием была положена живая связь между двумя эпохами — прошлым и настоящим (будущим)...»

Слушая эти слова, звучащие чуточку торжественно и, пожалуй, даже риторично (типичные слова и выражения официального письма), я думал о том, что уважаемый академик, председатель Космического общества, мог бы со мной разговаривать и не прибегая к риторике, если учесть то, что вместе с письмом он прислал мне и самого себя. Он был здесь, рядом, а разговаривал так, словно нас разделяло порядочное расстояние и словно свои мысли он вверял посреднику — листу (чуть не сказал: бумага), листу письма, забыв о том, что среди этих фраз появится он самолично, улыбающийся так близко, ближе и нельзя. Затем я вспомнил, что оптико-звуковое экстрписьмо было новинкой и в поведении уважаемого академика не скрывается ничего двусмысленного. Просто он, пожилой, рассеянный человек, еще не освоил как следует новинку и, возможно, даже забыл о том, что вместо марки он наклеил самого себя, дав возможность своему незнакомому корреспонденту познакомиться не только со своим несколько старомодным эпистолярным стилем, но и с тем, что бесконечно конкретнее и живее всяких фраз и слов.

Не без растерянности я спрятал в конверт это письмо с таким чувством, что не прячу ли я туда и самого академика Катаева.

Через два дня после того я встретился с Катаевым, и уже не таким причудливым образом, а просто и почти обыкновенно — в одной из гостиных Дома Космического общества. Академик Катаев был простой, скромный и очень симпатичный человек. Догадался я об этом не сразу. Мешало первое впечатление, когда этот человек, находясь рядом, на листе письма, разговаривал со мной языком официального документа.

Я ему сказал об этом. Он рассмеялся.

— Новинка. Еще не привык. Я большой любитель старинного эпистолярного жанра. А какой же тут эпистолярный жанр, когда вы сами в наличии? Да, надо излагать мысли проще.

Мы долго и оживленно беседовали. Потом Катаев взглянул на часы.

— Идемте в зал заседаний, послушаем доклад о мировоззрении Циолковского. Я познакомлю вас с докладчиком.

В большом зале уже собрались почти все члены Космического общества. Я едва успевал пожимать протянутые руки.

— Астронавигатор Винцент Карпов, — сказал быстро Катаев, подведя к седому высокому человеку. — Проложил трассу за пределы солнечной системы. Знакомьтесь... Астрогеолог Альфред Ланц. Открыл залежи урана на Венере. Астросадовод и космоботаник Васильева. Создала фруктовый сад на космической станции в окрестностях Марса. Астрофилолог и космолингвист Алексей Дрин, — сказал Катаев, показав мне на молодого человека с грустным и задумчивым выражением лица.

— Астрофилолог? Разве такое возможно?

— А как же! Не только возможно, но и необходимо. Дрин изучает диалекты, возникшие у переселенцев и старожилков космических станций. А также вопрос, как влияет изменение среды на язык. Астроневропатолог и физиолог Аронсон. Специалист в области изучения космической энтомологии Валерий Поэтов. Вахрамеева. Знакомьтесь. Исследование вопроса «Лирика и космос». Старший научный сотрудник Института литературы солнечной системы. Художник-

пейзажист Матисс Коломейцев. Космические пейзажи. Большой знаток живописи Ван-Гога и Сапрыгина-младшего, зачинателя космической живописи. Луи Севастьянов. Астромикробиолог. Уполномоченный нашего общества на Луне. Архипов. Межпланетный пропагандист и лектор. Гримильтис. Жан Жак Пьер. Крупный специалист в области изучения и применения гравитационных сил. Судьбин. Эстетика и астрофизика. Платон Петров. Генетика и нуклеиновые кислоты. Ламлай. Автор памятников Вернадскому и Циолковскому на Марсе. Цапкина.

Катаев на этот раз ограничился только тем, что назвал фамилию, не перечисляя всех заслуг названной им особы. По-видимому, эти заслуги не нуждались в перечислении и сами говорили за себя. В голосе академика послышались нотки почтительного уважения.

Я хотел рассмотреть Цапкину, но она не совсем вежливо отвернулась.

Наконец Катаев подвел меня к докладчику.

— Константин Балашов. Философ и инженер. Строитель космической станции Балашово.

Я едва успел обменяться двумя-тремя фразами с оказавшимся рядом со мной жизнерадостным Матиссом Коломейцевым. Началось заседание общества.

— Ван-Гог, — успел все же мне сказать жизнерадостный Матисс Коломейцев, — был первый в мире художник, который фоном для своих портретов брал бесконечность, космическую среду. Он писал, словно живя среди звезд...

Балашов уже стоял на трибуне.

Я с интересом смотрел на философа, построившего самую большую космическую станцию солнечной системы. Он говорил спокойно, медленно, словно размышляя вслух:

— Вот уже в течение многих лет я пытаюсь мысленно восстановить далекое время. Я стараюсь представить себе во всей живой конкретности образ человека, прожившего большую часть жизни в заколустном городке царской России в центре провинциального и конечного и увидевшего из окна своего домика бесконечность. Меня интересует биография Циолковского, обыденные факты его сверхобыденной жизни, но еще больше меня привлекает мышление этого необыкновен-

ного человека, его способ видеть мир. Мы делим время на три отрезка: прошедшее, настоящее, будущее. Это деление возникло давно, когда человек впервые почувствовал, как бьется пульс бытия и как скользит мгновение, которому не прикажешь: остановись! Для Циолковского время делилось иначе: сначала будущее, потом будущее и будущее сейчас. Он держал пульс бытия в своей чуткой руке, и мгновение не скользило мимо его дома и мимо его сердца, он умел, когда нужно, его задержать и слить с вечностью. Он как бы жил в будущем и оттуда смотрел на настоящее. «Почти вся энергия Солнца, — огорчался он, — пропадает в наше время для человечества...» Энергия Солнца! А рядом жили люди, которые про Солнце знали только то, что «оно всходит и заходит». По ночам он вычислял. Он мечтал о том, как мгновение, закованное в металл, мгновение, внутри которого расположились завоеватели пространств, понесет человеческую радость, человеческие знания, человеческую дерзость и человеческую грусть за пределы земной биосферы, в бесконечность. Он жил в своем времени, но одновременно пребывал и среди нас. Он занимал свои идеи у тех, кто еще не родился. И родившиеся позже узнавали свои мысли и свои мечты, читая труды этого слившего себя с будущим человека. В Циолковском, в этом рано оглохшем скромном провинциальном учителе, мне открылась истинная сущность человека, переступившего порог вселенной и доказавшего, что Земля — это только человеческая колыбель.

Я не буду своими словами пересказывать весь доклад о мировоззрении Циолковского. Да это и трудно сделать...

Во время короткой паузы, которую сделал докладчик, я оглянулся. Позади сидела Цапкина. Но мне не удалось разглядеть ее лицо. Она отвернулась. Почему? Случайно или не случайно? Она делала это уже второй раз, словно не желая, чтобы я видел ее лицо.

Теперь я уже без прежнего внимания слушал инженера и философа Балашова. Я невольно думал о Цапкиной. Из всех присутствующих в зале членов общества я ничего не знал только о ней. Кто она? Что у нее за специальность? Почему, когда академик Катаев

назвал ее, в интонации его голоса и в выражении его лица появилось почтительное уважение?

Я выждал десять минут и снова оглянулся. И она, словно бы следя за мной, успела так быстро отвернуться, что я снова увидел только ее спину.

После того как кончился доклад и был объявлен перерыв, я спросил любезного и жизнерадостного Матисса Коломейцева:

— Вы знакомы с Цапкиной?

На лице космического пейзажиста появилась загадочная и чуточку растерянная улыбка.

— Знаком ли? Как вам сказать? И да и нет, — он замялся.

— Что вы знаете о ней?

Я сам почувствовал, что вопрос был поставлен слишком прямо и неделикатно.

— Знаю, что и все. Не больше. Гений терпения. Та, что умеет ждать. Нечто античное. Древнегреческое. Я бы сказал, представительница вечности, если бы это слово не звучало пошло и не отдавало метафизикой. Простите, меня зовут... — Он показал рукой в тот конец зала, где стояла группа членов общества. Он явно не хотел отвечать на мои вопросы.

Я начал бороться с самим собой, со своим любопытством. Я не решался больше спрашивать о Цапкиной и смотреть на нее.

33

Я боролся с собой, но любопытство оказалось сильнее. Придя к себе в гостиницу, я подошел к роботу-справочнику и повторил тот же вопрос, который только что задавал Матиссу Коломейцеву.

Робот сказал своим грубированным задумчивым голосом рафинированного интеллигента:

— Простите. На такие вопросы я не отвечаю.

— Почему?

— Потому что они не предусмотрены программой.

Мне понравилась суховатая и деловая прямота автомата, так откровенно сославшегося на программу и не скрывавшего от меня свои, в сущности, ограниченные возможности.

Казалось бы, мне следовало забыть об этой загадочной даме, почему-то не пожелавшей показать мне свое лицо, и заняться своими собственными делами. «Что мне до этой Цапкиной», — говорил я себе. Но тщетно! Это имя «Цапкина» цепко схватило мое сознание и уже не выпускало. Как я ни старался отвлечь себя, мои мысли все время возвращались к ней. Я думал о ней до ужина и после ужина, я думал о Цапкиной вечером, читая новую повесть тиомца Бома, и ночью, ворочаясь на мягкой, бесшумной, удобной, как воздух, постели.

Почему же она отвернулась от меня так демонстративно? Кто она? И что имел в виду Матисс Коломейцев, называя ее гением терпеливости и представительницей вечности? Впрочем, возможно, что он, отдавая дань своей жизнерадостной, веселой натуре, сказал это в шутку, желая невинно посмеяться над моей старомодной наивностью и легковерием. Все же, несмотря на свою веселую легкость мыслей, он обладал иным опытом, чем я, опытом, обогащенным тремя веками, протекшими мимо меня, лежавшего в лаборатории дискретных проблем в состоянии «временной смерти».

Цапкина... Казалось мне, пока я не выясню, кто она и почему не желает показать мне свое лицо, я не смогу заниматься ничем, более достойным человека, кое-что повидавшего на своем веку.

И следующий день тоже прошел в тщетных попытках получить ответ на вопрос, который (я был в этом уверен) имел какое-то отношение к моей личной судьбе. Но кого бы я ни спрашивал об этой таинственной женщине, все отвечали смутными намеками и туманными словами, словно всякая ясная и живая конкретность были чужды особе, не желавшей показать свое лицо. Все — не только люди, но и роботы — растерянно бормотали что-то о вечности.

Наконец мне это стало надоедать. После обеда я попросил робота, обслуживающего мой номер, принести мне из библиотеки энциклопедический справочник за этот год на букву «Ц».

Сознаюсь, не без волнения я раскрыл толстый том и прочел следующее:

«Цапкина Нина Григорьевна. Родилась в конце позапрошлого столетия в городе Верхнеангарске в семье

знаменитого эндокринолога и хирурга доктора Г. В. Цапкина. Отец Нины Григорьевны в продолжение многих лет занимался проблемой продления жизни за счет обновления деятельности гормонов и уже было достиг поразительных результатов. Исследовательские работы, имеющие кардинальное значение для развития медицины, были прерваны внезапной смертью экспериментатора. Нина Григорьевна унаследовала от своего великого отца необходимую выдержку, упорство, терпение, хладнокровие и точность. С основания Вокзала дальних космических экспедиций в начале прошлого века работает старшим диспетчером. По удачному выражению поэта Умберто Ливнева: «Та, что умеет ждать».

34

Глядя в будущий век, так тревожно ты, сердце, не бойся:
Ты умрешь, но любовь на Земле никогда не умрет.

Эти стихи земного поэта, жившего в XX веке, читал мне вслух тиомец Бом, тоже лирик и поэт.

Это он разбудил меня ночью, чтобы сообщить мне невероятную и прекрасную весть. Космолет с моей женой Ольгой и ее спутниками уже приближается к космической станции «Великие ожидания», он довел до минимума свою скорость и скоро должен быть здесь.

Бом произнес это слово «здесь», вложив в него едва заметным усилением голоса, интонацией его какой-то особый смысл.

— Здесь, — повторил он.

— Что значит — здесь? — спросил я.

— Здесь — это значит на Земле.

И я только сейчас, в это мгновение почувствовал всю полноту, весь удивительный земной смысл слова «здесь».

— Да, здесь. Только здесь и нигде в другом месте солнечной системы. Здесь.

Тиомец Бом играл своим звучным красивым голосом, повторяя слово «здесь». Он произносил его так, словно впервые за все существование вселенной звуки слились, обозначив только что родившийся смысл слова «здесь».

И, сойдя на планете неведомой, странной и дивной,
Неземным бездорожьем с мечтою земною своей
Он шагает в Аид, передатчик включив портативный,
И зовет Эвридику и песни слагает о ней.

Бом посмотрел на меня и улыбнулся.

— Одевайтесь. Брейтесь. Я сейчас свяжусь с Цапкиной.

— С Ниной Григорьевной?

Бом еще раз посмотрел на меня. Казалось, выражение его лица вдруг изменилось. Но только на одно мгновение.

— Нет никакой Нины Григорьевны. Есть Цапкина. Только Цапкина. Не забывайте, что ей почти двести лет. И не демонстрируйте, пожалуйста, свое интимное отношение к вечности. Вам этот фамильярный тон чужд...

— Почему же? Вспомните хотя бы о том, что я еще старше Цапкиной.

— Вы?.. Вы другое дело. Не буду сейчас объяснять. Нет времени. Свяжусь с Цапкиной. И если уже пора, мы поедем с вами на Вокзал дальних экспедиций.

Через несколько минут мы уже сидели в машине быстрого движения.

И вот теперь, когда до встречи с Ольгой после разлуки, продолжавшейся три столетия, осталось меньше часа, меня охватило нетерпение. Даже движение машины быстрого движения, буквально пожирившей пространство, мне казалось замедленным. «Скорей! Скорей!» — мысленно торопил я время.

— Вокзал дальних экспедиций, — сказал голос автомата-водителя.

Мы с Бомом вышли из машины.

Я ожидал увидеть здание и зал для ожидания и забыл о том, что люди не могли сидеть здесь и ждать десятилетия. Само слово «ожидание» здесь приобрело другой, новый, особый смысл.

Я услышал биение водяных струй. Шумел водопад. Неслась речка. Звенел ручей. Шум воды успокаивал. Я догадался, что непрерывный бег водяных масс снимал противоречия между мигом и вечностью, освежая и возобновляя каждую пробежавшую секунду.

— Смотрите, — сказал Бом. — Это она.

— Кто?

— Цапкина.

Возле гремящих, звенящих, поющих вод стояла статуя в античном духе, вылитая из не известного мне металла. Я увидел суровое и прекрасное лицо строгой девушки с выражением ожидания на губах.

Это лицо словно было окутано тихой и торжественной мелодией, сливавшейся с шумом вод.

Затем случилось необыкновенное: лицо статуи ожило. И от этого оно стало еще более прекрасным.

— Да, это она, — сказал тихо тиомец Бом. — Она приветствует вас... Корабль подходит к Земле.

Я вздрогнул и рванулся вперед. И мне казалось — вместе со мной навстречу кораблю рванулась Земля.



1

ой отец работал в Институте времени. Хотя в любую, самую далекую точку земного шара можно было попасть за несколько минут, отец все же предпочитал жить рядом со своим институтом в старом доме, построенном еще в конце XX века.

Я, как и все современные дети, рано расстался с родителями и жил в интернате. Наш интернат был расположен в горах возле прозрачного озера в детском городке Лесное Эхо.

В зимние и летние каникулы я появлялся в доме родителей на небольшой срок. Отец бывал занят, и беседовали мы с ним редко. Иногда он задавал мне какой-нибудь вопрос, почти всегда поражающий меня своей неожиданностью и парадоксальностью. Помню, как он подвел меня к своей геологической коллекции, взял продолговатый камень и провел указательным пальцем вокруг него, как бы очерчивая его форму.

— В чем суть этой формы? — спросил он меня.

— Мы этого еще не проходили.

— Но ты подумай... Подумай и отвечай.

Я долго не отвечал, но, когда уже нельзя было больше молчать, я с неохотой признался:

— Не знаю.

— Форма — это граница, — сказал отец. — Она проходит там, где бытие и небытие предмета сливаются... Тебе пятнадцать лет, а ты не сумел ответить на такой простой вопрос!

Простой? Нет, вопросы отца отнюдь не были простыми. И я знал, что даже лучшие ученики, учившиеся вместе со мной в школе, не сумели бы на них ответить.

Отец бывал недоволен моими ответами и, по-видимому, не только мною, но и моими учителями. Однажды, когда я сидел у себя в комнате, отделенной старинной звукопроницаемой перегородкой от отцовского кабинета, я нечаянно услышал слова, которые мне не следовало бы слышать. Отец говорил матери:

— Пассивное допотопное воспитание в духе отсталого антропоцентризма, когда земные люди себя ставят в центре вселенной. Я уже несколько раз писал об этом в Комитет просвещения. Их методы отстают от современности почти на двадцать лет. Но я сделаю по-своему!

— Не делай этого, Александр, — уговаривала мать. — Нельзя экспериментировать над своим собственным сыном.

— Я сделаю то, о чем говорю. Я не хочу, чтобы мой сын был отсталым человеком, пассивным и жалким антропоцентристом!

Я знал, что слово «антропоцентрист» в личном словаре отца было символом всего самого отсталого.

Они стали говорить тише, и, как я ни прислушивался, я не мог больше уловить ни одного слова. Я отдавал себе полный отчет в том, как нехорошо подслушивать, но ведь речь шла обо мне. И мое любопытство было естественным.

После этого разговора отец больше не задавал мне никаких вопросов. А в глазах матери, подолгу и нежно смотревших на меня, я заметил оттенок грусти, словно перед долгой разлукой. Я почему-то решил, что отец собирается забрать меня из Лесного Эха, где я жил и учился, и отправить куда-нибудь на Венеру, или на Марс, где тоже были школы. Может быть, отец считал, что в земных школах сильнее чувствуются пережитки ненавистного ему антропоцентризма.

Я уже упоминал о том, что мой отец работал в научно-исследовательском Институте времени. Это был научный городок, расположенный вокруг Пулковских высот: множество зданий, лабораторий и обсерваторий. В институте работали люди всех специальностей, имеющих отношение к изучению природы времени: математики, физики, химики, астрономы, палеонтологи, геологи, психологи, генетики, кибернетики, археологи, историки и, разумеется, философы.

Каждый будущий сотрудник, поступая в институт, должен был сдать конкурсный экзамен, продемонстрировать свою способность к теоретическому или экспериментальному мышлению. Экзаменовал же обычно мой отец, а он умел задавать вопросы. Но зато в этом институте все сотрудники, в какой бы узкой и специальной области они ни работали, были способны охватить своим диалектическим разумом целое, глубоко вникать в сложнейшие проблемы науки и мышления. По-видимому, отец рассчитывал, что я, закончив учение, тоже поступлю работать в его институт, и заранее беспокоился, сумею ли я сдать конкурсный экзамен, продемонстрировать силу и гибкость логики, чуждой наивному антропоцентризму, мешавшему проникать в самые глубокие тайны природы, в том числе и в сущность времени.

По правде говоря, меня мало интересовала сущность времени. Я ощущал «бремя» времени только в те минуты, когда скучал или куда-нибудь опаздывал. Я был в том возрасте, когда люди, хотя и смотрят на часы, или на календарь, воспринимают действительность, не дробя ее на мгновения, словно впереди у них целая вечность. Вообще я еще плохо знал жизнь, и не мог понять людей вроде своего отца, который больше всего на свете любил решать чрезвычайно трудные задачи.

Я не любил математики, хотя никогда не решился бы признаться в этом отцу, зная, как он этому огорчился бы. Недавно я узнал, что был человек, да к тому же великий, который осмелился сказать, что не любит этой науки наук. Его звали Вольфганг Гёте. Преподавательница литературы, рассказывавшая об этом, чуточку смутилась и после длительной паузы пояснила:

— Гёте, разумеется, шутил.

— Вот видишь, — сказал мне после уроков мой приятель Рудольф Арбатов, — поэт и мыслитель Гёте тоже не любил математики.

— Но ведь он шутил.

— Такими вещами не шутят. А ты хочешь быть мыслителем?

— Я? А на что мне это нужно? Мне и так хорошо. Ты больше похож на мудреца.

— Не ври!.. Я хочу стать капитаном космолета.

— Я тоже.

Я, как и многие мои одноклассники, знал историю освоения космоса, биографию героических космонавтов, начиная от первых исследователей Гагарина, Титова, Николаева и Поповича и кончая Виталием Далуа, знаменитым Далуа, первым из людей Земли принявшим сигналы высокоразумных существ, наших братьев по духу и мысли, обитателей далекой планеты Уазы.

Мы, школьники, жители Лесного Эха, восхищались подвигами Виталия Далуа и завидовали ему. Рудольф Арбатов хранил оптико-пространственное изображение Виталия Далуа, подаренное знаменитым космонавтом родителям Рудольфа еще в те времена, когда они школьниками мечтали о подвигах.

Рудольф вынимал из большого кармана конверт, доставал тоненькую пластинку. Она как бы оживала, и перед нами возникало мужественное лицо будущего героя, улыбавшееся нам сквозь время.

2

Время и пространство! Это любимые слова моего отца. Но между нами, земными людьми, и обитателями планеты Уазы было столько пространства и столько времени, что их не смогла бы преодолеть не только жизнь отдельного человека, но и жизнь всех поколений от верхнего палеолита до наших дней. И, однако, мысль в конце концов преодолела это, не антропоцентрическая мысль отдельного ученого, а мысль мудрой машины, Большого аналитического

мозга, созданного кибернетиками, математиками и физиологами Института времени под руководством моего отца.

Большому аналитическому мозгу удалось расшифровать кое-какие сигналы из тех, что были приняты аппаратом на космическом корабле «Баргузин», том самом корабле, который вел Виталий Далуга далеко за пределами солнечной системы.

Мы, маленькие жители Лесного Эха, не раз в своих разговорах возвращались к этому гигантскому искусственному мозгу, обсуждая его действительно безграничные интеллектуальные возможности. Но, за исключением слишком честолюбивого мальчика Бориса Заметнова, никто из ребят не завидовал этому мозгу и его необыкновенным логическим способностям.

— Что толку, — говорили мои приятели, — ну, умеет хорошо думать, а дальше что? Ничего. У него нет никаких желаний. Он ничего не хочет! Что в этом хорошего?

И только Борис Заметнов пытался оправдать бесстрастное поведение Большого мозга.

— Подумаешь, желания! Зато он может решить любую задачу и знает больше самого разученого преподавателя!

Вечером после этого спора, ложась спать, я размышлял о том, прав ли был Борис Заметнов. У меня, как у каждого пятнадцатилетнего подростка, было множество желаний одновременных или сменявших одно другое. Я бывал доволен, когда эти желания исполнялись, но потом появлялись другие, еще более трудновыполнимые. И я думал: интересно было бы посмотреть на Бориса Заметнова, как он будет выглядеть, если откажется от всех желаний, кроме одного — быть таким же умным, как Большой мозг.

Благодаря работе Большого мозга человечеству в конце концов удалось узнать кое-что о далекой планете Уазе. Но я забегаю на много лет вперед. А тогда мы еще ничего не знали об уазцах и представляли их себе совсем не такими, какими они были на самом деле.

Я помню вечер поэтов в школьном городке Лесное Эхо. Читали стихи ученики старших классов. А в конце вечера выступил Алик, искусственный механический лирик, существо, созданное в одной из кибернетических лабораторий моего отца. Отец подарил Алика школе. Директор школы прозвал нашего лирика искусственным соловьем китайского императора из старинной сказки Андерсена. Он невзлюбил Алика, и металлический лирик пылился вместе со всяким хламом в школьном запаснике.

Почему выпустили Алика? Не знаю. Да и никто из школьников этого не знал. Может, директор школы специально выпустил его, предполагая, что Алик осрамится и докажет всем присутствующим, в том числе и будущим кибернетикам, что лирика не может быть созданием механического ума, что она рождается, как пение соловья в лесу, как светлый свист иволги, как эхо, как перебой человеческого сердца, предчувствующего нечаянную радость или столь же внезапную беду.

Алик вышел на сцену автоматической походкой. Кибернетики, создавшие его, по-видимому, не очень заботились о том, чтобы придать ему красивую внешность. У него было неподвижное лицо старинного Петрушки или Степки-растрепки: длинный, несуразный нос, большой рот и растерянные глаза зверька, пойманного в капкан. Появление его вызвало смех сидящих в зале. Игрушечный комик? Актер-кукла? Какую глупость или пошлость он сейчас скажет, чтобы расшевелить нас?

Но минуту спустя нам стало стыдно. Он начал читать стихи. Его голос, живой и невыразимо искренний, соответствовал тому, что он читал. Сквозь строчки и слова пробивалось наружу чувство, обнаженное и мудрое чувство, раскрывая нам нас самих, то глубокое и сокровенное в наших душах, чего мы не замечали в обыденные часы.

Я смотрел на Алика. Его лицо оставалось таким же деревянным и неподвижным. И от несоответствия между лицом читавшего и тем, что он читал, создава-

лось странное и щемящее чувство двойственности. Бездушие облика и глубокая душевность голоса, тона и мысли создавали впечатление, которое вспоминалось мне потом не раз.

Я смотрел на Алика с восхищением и жалостью. Мне даже показалось, что он очень страдает, от неслитности своего механического бытия с тонкой и сложной мыслью, запертой в неодоухотворенную оболочку, что его стихи отражают его душевное состояние.

Но вот он кончил читать.

Я взглянул на директора школы. На его лице отразились недоумение и досада. Он не ожидал, что механический поэт окажется подлинным лириком. Директор пожал плечами и сделал жест, который делают люди, осуждая плутоватую ловкость фокусника и шарлатана.

Как я затем убедился, директор не подобрел к Алику, и после окончания вечера Алика отнесли туда же, в пыльный отсек чердака, и поставили рядом с рухлядью.

Стихи и выступление Алика произвели сильное впечатление не только на меня, но и на всех школьников. Во время короткого перерыва ко мне подошел Борис Заметнов и восторженно сказал:

— Твой отец гениальный человек! Я в этом никогда не сомневался. Сегодня он посрамил директора и преподавательницу литературы. Чего стоит их утверждение, что машина в лучшем случае может быть Сальери и никогда Моцартом. А кто же Алик, как не Моцарт? Какая глубина и душевность!

Прошло несколько дней, а я все думал и думал об Алике. Я не запомнил слов его стихов, но музыка их возникла во мне, унося меня на простор мечты, в самые глубины природы и чувства. Меня невыразимо тянуло к Алику, хотелось еще раз взглянуть на него, на его деревянное неподвижное лицо Степки-растрепки, на его большой рот, произносящий дивные, то грустные, то полные радости, слова.

Я спросил директора:

— Где Алик?

— Где и должен быть, — ответил директор. — На чердаке.

— Почему? — тихо спросил я.

— Очень просто. Потому что он вещь.

Вещь? Как же так? Разве может вещь сказать о мире и о себе с такой искренностью и силой, с какой говорил Алик?

4

Вот я снова у родителей в старинном доме, построенном из бетона и стекла.

Я расспрашивал отца об Алике. Он улыбался.

— Алик безделка. Пустяк. Нам удалось создать искусную модель, почти повторение внутреннего мира одного современного поэта, увлекающегося кибернетикой и охотно согласившегося на этот не столь уж сложный эксперимент. Но, пожалуйста, не воображай, что возможности Алика неисчерпаемы. Он все же зависит от программы.

Отец брал лист бумаги и чертил схему устройства, писал формулы. Я был в недоумении. Какое отношение имели эта схема и эти цифры к тем дивным стихам, которые я слышал на школьном вечере?

Потом отец уходил. Его звали дела. Он возвращался из института возбужденным, после того как провел много увлекательных и напряженных часов возле Большого мозга, занятого расшифровкой сигналов, полученных с Уазы. Работа подвигалась медленно, слишком медленно даже для такого терпеливого и настойчивого человека, как мой отец. Проходили буквально недели, а иногда и месяцы, пока обозначение какого-нибудь уазского предмета или явления чуточку приоткрывало свой смысл, странный, загадочный, парадоксальный смысл, намекая людям на то, что бытие разумных существ Уазы имеет не так уж много общего с земной жизнью. Отец рассказывал об этом в общих чертах. И я не все мог понять из того, что он говорил своим друзьям. Он утверждал, что земной человек — это, метафорически говоря, эволюция, осознавшая самое себя. На Уазе темпы процесса были, по-видимому, более быстрыми, и эволюция осознала себя раньше, чем на Земле. И, кроме того, цивилизация Уазы на много миллионов лет ушла вперед, обогнала нашу земную цивилизацию. Уазское мышление

достигло необычайного развития, раскрылась сокровенная сущность всех вещей. Абсолютное знание? Знание не может быть абсолютным. Скажем осторожнее, глубокое знание. Но странно другое, в чем до сих пор не может разобраться Большой мозг. Там, на Уазе, по-видимому, существует среда, не имеющая ничего общего с той, что у нас на Земле. Что это за среда? Пока не ясно. И именно это обстоятельство осложняет и затрудняет расшифровку.

Друзья моего отца, сотрудники его института, горячо и подолгу спорили, обсуждая эту проблему. Особенно горячился Виктор Капустин, молодой теоретик, знаток математической логики.

— Человеческое мышление, — говорил он, — его логика соответствует логике вещей, логике самой природы. Этому учили великие мыслители Маркс и Энгельс. Чтобы понять логику уазцев, нужно знать мир, который их окружает.

— А может, у них все наоборот, — вмешалась Марина Вербова. — Предметы дышат, смеются и плачут, размышляют, а люди — это «вещи в себе», погруженные в невозмутимое спокойствие сонного бытия. Я, разумеется, шучу. Но что мы можем сказать об этом мире, о котором мы пока так ничтожно мало знаем.

— И будем ли знать больше, дорогая Марина? — сказал скептически настроенный Евгений Сироткин. — Сомневаюсь.

Отец рассердился.

— А давно ли мы взяли за расшифровку? Терпение, Сироткин! Год или два — и мы проникнем в тайну их мышления и ответим им на их языке.

Каникулы близились к концу. Но на лице матери я уже больше не замечал тревоги. По-видимому, отец отказался от своего первоначального замысла взять меня из Лесного Эха и отправить туда, где меньше пережитков наивного антропоцентризма. Теперь я чувствовал себя дома спокойнее, но, странное дело, весь отдался интересам отца, занятого изучением далекой Уазы.

Большой мозг снился мне. Совсем по-детски я почему-то представлял его себе красавцем и героем, вроде

античного бога, с правильными чертами длинного, узкого лица. Я как-то сказал об этом отцу. Он рассмеялся:

— Зачем ему человеческая внешность, а тем более божественная? Он и без того умнее и прекраснее любого божества. У него, может быть, нет ни лица, ни тела.

— А душа? — вырвалось у меня.

— У него есть интеллект. Логика. Умение вникать в сущность самых сложных явлений. Разве тебе этого мало?

Отец насмешливо взглянул на меня.

— У вас в вашем Лесном Эхе слишком большое значение придают внешности, форме. Судя по тому немногому, что мы знаем об Уазе и уазцах, там высокоразвитый мозг обошелся...

Отец не успел закончить фразу. Его спешно вызвали в институт.

Незаконченная фраза очень заинтересовала меня. «Высокоразвитый мозг обошелся...» Без чего обошелся? Уж не без тела ли? Как только придет отец, надо будет его спросить. Но отец пробыл в институте пять суток, не выходя из лаборатории и почти не смыкая глаз.

Только через полгода мы с матерью узнали, почему мой отец пять суток не выходил из лаборатории. Именно за эти пять суток чуточку приоткрылась одна из тайн уазского мышления, и мир узнал об Уазе чуточку больше, чем знал до того. Как удалось выяснить моему отцу, разумеется с помощью Большого мозга, в мышлении уазцев почти не было языковых знаков, то есть слов для обозначения неодушевленных предметов. Можно было подумать, что на этой удивительной планете все состояло только из живых существ. Но это было невероятно, отдавало пережитками древнего витализма, противоречило логике, тысячелетнему опыту и, наконец, здравому смыслу.

Мой отец был рад и не рад своему открытию. Как я уже упоминал, он был непримиримым и принципиальным противником антропоцентризма, считая, что дальнейшее развитие диалектической логики все дальше и дальше уводит нас от наивных и банальных способов видения мира. И вдруг эта Уаза с ее странным

мышлением! Кто же живет там, на этой парадоксальной планете — поэты, художники или первобытные люди, мысленно одушевляющие все предметы, превращающие все увиденное в грандиозную и поэтическую метафору, как наши далекие палеолитические предки? Чепуха! Тогда как бы они сумели создать кванттелеграф, использовать динамику сверхсовременной физики для связи с людьми Земли?

Эти проблемы обсуждали ученые, философы, журналисты и даже мы, школьники в Лесном Эхе. Однажды мы спросили нашу молоденькую преподавательницу литературы Алису Козловскую, что думает она об Уазе и загадочном уазском мышлении? Но Алиса Козловская ужасно смутилась и чистосердечно призналась нам, что чем больше она думает об Уазе, тем удивительнее ей кажется эта странная химеричная планета. Если бы о ней не говорили ученые, она подумала бы, что ее придумали фантасты и поэты.

Борис Заметнов частенько приставал ко мне с одним и тем же вопросом:

— Как ты думаешь, Микеланджело, значит, вся Уаза один сплошной живой организм?

Микеланджело — так звучало мое имя, о чем я, кажется, забыл сказать. Но фамилия у меня была очень простая: Петров, Микеланджело Петров звучало несколько выпендренно, но я к этому привык и привыкли другие. Мой отец с юношеских лет преклонялся перед гигантской мощью великого итальянского мастера и дал мне это имя, не столько думая обо мне и моем будущем, сколько о своем любимце.

— Ну, Мика, что же ты молчишь?

— Ты, разумеется, хочешь знать не мое мнение, а мнение моего отца. Отец считает мысль о том, что планета Уаза живое существо, абсурдной.

— Ну, а почему же тогда в языке уазцев нет слов, обозначающих неодушевленное?

— Отец считает это загадкой, которая выяснится, когда мы об этом спросим самих уазцев.

— А это скоро, Мика?

— Нет, не скоро. Слишком большое расстояние даже для квантов.

Лесное Эхо!

Мне на всю жизнь запомнилось озеро среди берез, тропинка в лесу, крутая гора с карабкающимися на нее соснами, раскаты грома в конце весны, свист иволги, негромкий монотонно лепечущий звон воды в ручье.

Я любил своих школьных товарищей и, окончив школу, не порывал с ними связи, как бы далеко ни забросила их судьба. Я получал от них известия с Марса или из окрестностей Сатурна, из обжитого и освоенного космоса и носил в кармане их возникающие изображения, их добрые лица, глядящие на меня из прошлого в будущее, из прошлого, которое навсегда связало и соединило нас.

Но был у меня еще один приятель, существо, не принадлежащее к человеческому роду, но проявлявшее, однако, временами высшую человечность и одухотворенность.

Алик! Мы извлекли его с чердака, упросив директора школы разрешить нам это. Мы отнесли его в одну из школьных лабораторий. Отнесли? Разве он не умел ходить? Нет, мы просто не хотели без надобности включать программу, ибо он мог двигаться, только читая стихи.

Говорил ли он? Нет. Рассуждал? Ни в коем случае. Спрашивал? Нет. Отвечал? Тоже нет. Он мог только читать стихи, превращая в поэму весь мир, самого себя и нас.

Потом он снова превращался в неподвижный предмет, такой далекий от того, что он только что читал.

Своим чтением он останавливал бегущие секунды, погружая нас в мир своих и наших чувств. Слова, которые он произносил чуточку картавя, ликовали и грустили, плакали и смеялись. Это плакало и смеялось человеческое сердце, как в древней сказке замурованное в бездушную оболочку — в дерево или камень. Это плакал и смеялся мир вне и внутри каждого из нас.

Однажды Алик прочел нам стихотворение про неизвестную планету, чем-то похожую на Уазу. Кажется, он преодолел пространство, победил время и

побывал там, где не бывал еще никто. Он рассказывал нам, как проснулись вещи и заговорили камни.

Затем он погружался в сон, сам превращался в вещь. И возле него была тишина. Нет, не та, что возле озера в лесу на тропе, а совсем другая, неподвижная тишина вещей, тишина полного небытия.

Мы жили шумной, веселой жизнью. Я чуть было не сказал: неповторимо веселой и шумной. Нет, впоследствии я мог при желании вновь переживать сладость или горечь возвращавшихся минут детства или юности благодаря заботе и предусмотрительности моего отца. Аппарат, созданный Институтом времени, вобрал в себя многие минуты и часы моего ускользнувшего прошлого, «замоделировав» мое бытие. А потом этот аппарат-двойник долгие годы стоял в одной из кладовых института, не нужный мне, ибо я больше всего на свете ценил настоящее и вовсе не хотел возвращаться в прошлое.

Живя в Лесном Эхе, я много бегал, плавал, ездил, летал. Летали мы медленно на стареньких аппаратах, как в прошлом веке. Это были спортивные аппараты, давно вышедшие из употребления. Но я уже говорил о том, что директор школы был старомодным человеком, принципиально старомодным.

Возле школы не было глубоких водоемов, и нам было незнакомо то сильное и своеобразное чувство, которое испытывают люди, спускающиеся на океанское или морское дно.

Я любил плавать и летать, но еще больше ходить. Когда идешь пешком, не пользуясь никаким транспортом, кроме своих легких мускулистых ног, испытываешь огромное наслаждение. Став старше, я понял почему. Быстрое движение как бы растворяло мир живых форм; глаз не замечал коричневых стволов сосен, зеленого овала холма, синей ряби речной быстрины, яблока, свисавшего с ветки, птичьего клюва, ягод в траве, медленно плывущего облака, лиц прохожих. Но когда я шел по тропе, вместе со мной не спеша шествовал мир. Он был как симпатичный собеседник, нежданный друг, показывающий свои края.

Как-то во время каникул отец спросил меня:

— Я обратил внимание — ты, кажется, любишь ходить пешком?



— Да.

— Но ходьба отнимает много времени. А время бесценно.

Я не стал, разумеется, рассказывать отцу, почему я так люблю ходить пешком. Я опасался, что мое объяснение может показаться ему недостаточно логичным или, еще того хуже, наивным.

— И к тому же ходьба, — продолжал отец, — причает к пассивному созерцанию.

Отец, по-видимому, не очень любил спорт. А природе? Не знаю. Не уверен, что он ее очень любил, а если и любил, то по-своему. Он был слишком энергичен и подвижен, чтобы пассивно любоваться восходом или закатом солнца. И, кроме того, он слишком много знал о Солнце.

Я же очень любил природу и был счастлив оттого, что нашу школу окружали леса. Зимой в снегу можно было увидеть петляющие следы зайца, белку на ветвях кедра, большие детские глаза оленя. Зверей никто не трогал, и они не боялись людей. Я знал, что этот лесной мир станет приятным воспоминанием. Как только я кончу школу, я возвращусь в мир быстрого движения, где люди больше всего на свете ценят время, посвященное познанию и труду.

6

Нет, эта Алиса Козловская совершенно не знала нас, подростков. Представьте себе, она попросила нас написать классное сочинение на тему о том, что такое старость.

Прежде чем сесть писать, я вспомнил все, что знал о старости. А я знал о ней пока не много.

Мой отец считал слово «старость» наивным и устаревшим выражением, искажавшим суть явления.

— Старость, — говорил мне отец, — вот это уж все не обязательно. Процесс старения — это процесс порчи наследственно-информационного аппарата. По выражению твоего лица я вижу, что ты не понимаешь, о чем я говорю. Ну, а если я тебя спрошу, почему ты сегодня совершенно такой, каким был в прошлом году, хотя все знают, что каждый организм биохимически

обновляется за восемьдесят дней? Представь себе, что ты проснулся, взглянул в зеркало и не узнал себя. На тебя из зеркала смотрело лицо, не имеющее с твоим лицом ничего общего. Оно изменилось, стало некрасивым, черствым. Не беспокойся, ни с тобой, ни с кем из твоих приятелей это не случится. Почему? Потому, что каждая возникающая, вернее — обновляющаяся, клетка с ее сложным химическим аппаратом получает от нуклеиновых кислот, от их наследственной «памяти» точное указание, как себя строить. Говоря образно, тебя помнит каждая клетка твоего организма, вернее — не тебя, а себя, то есть частность, но в целом получаешься ты, хотя целое и частность — это не одно и то же. Слушай дальше: но вот наследственно-информационный аппарат, клеточная и молекулярная «память» под действием времени начинают портиться. Человек, занятый и долго не смотревшийся в зеркало, вдруг видит, что его лицо изменилось, деформировались губы, нос, щеки, поседели волосы. Клетки организма не в состоянии себя строить с той бесподобной точностью, как они это делали, пока организм был молод и сопротивлялся действию энтропии. Кто же ответствен за это? Информационно-наследственный аппарат, клетки и молекулы начинают забывать, каким ты был еще недавно. Как видишь, опять все упирается в «память». Но если устранить порчу этого аппарата, то не будет никакой старости. Одна из лабораторий нашего института занимается решением этой проблемы. Может быть, ты доживешь, Микеланджело, до того времени, когда клетки и молекулы долго-долго, бесконечно долго будут помнить, каким ты был вчера, чтобы не дать тебе измениться к худшему завтра.

Слова отца произвели на меня сильное впечатление. Я сразу же вообразил себе мир, населенный живыми существами, но без этого столь важного и необходимого аппарата. Они «обновлялись» бы каждые полгода, меняя глаза, нос, губы, весь облик. Если бы это было так, мир походил бы на непрерывный маскарад, на безобразный спектакль. Но, к счастью, это не так. Я изложил эти мысли в классной работе. Но моя работа, по-видимому, не понравилась учительнице. Она сказала мне:

— Петров, вы неправильно поняли тему. Я просила написать не о старении машин, а о старении человека.

Когда она сердилась на меня, она всегда называла меня просто Петровым.

Я промолчал, хотя готовый ответ уже висел на кончике моего дерзкого языка. Неужели она не может понять, что второму закону термодинамики подвластны не только вещи, но и она сама, Алиса Козловская?

А через час после этого разговора я забыл об энтропии, термодинамике, старости, старении, школе — я встретил на лесной тропе Таню.

Она шла и негромко читала стихи, которые сочинил поэт, чьей моделью был Алик. И я не знал, читала ли она шутя или всерьез. Она картавила, явно переразвивая моего неодоушевленного друга.

— Таня! — окликнул я ее.

— А, это ты, Петров?

— Да, я. Если ты не забыла, меня зовут Микеланджело.

— Петров звучит проще. Естественнее. И твоя фамилия больше похожа на тебя, чем твое имя. Микеланджело? Торжественно и смешно. Но ты не сердись на меня, Петров. Ты же не виноват, что тебя так называли.

— Не виноват.

— Ты куда идешь? К озеру? Пойдем вместе.

— Пойдем.

— Ты такой ненаходчивый, Петров. Повторяешь все, как автомат, как хорошее запоминающее устройство. А скажи, пожалуйста, правда, что твой Алик плагиатор? Говорят, что он заимствовал свои стихи у одного современного поэта.

— И правда, и неправда. Он же двойник поэта, его модель. И то, о чем ты говоришь, нельзя назвать заимствованием.

— А ты уверен в этом?

— Уверен.

— А твой знаменитый отец?

— Тоже уверен.

Таня рассмеялась.

— «Тоже»? Ты «тоже», или «тоже» твой отец? Или вы оба «тоже»? Ну, не хмурься, пожалуйста. Ты умеешь свистеть? А я умею.

Она вложила в рот два пальца и громко свистнула. Лицо у нее стало озорным, как у мальчишки.

— Слушай, Петров, а правда, что там, на Уазе, люди растерянные и грустные, а вещи веселые и очень умные?

— Может, да, — ответил я уклончиво. — А может, нет.

— Но Большой мозг-то, наверное, это знает?

— Спроси у него. Что ты у меня спрашиваешь?

— А если он ответит, как ответил мне ты: «Может, да, а может, нет», — этот твой Большой серьезный и очень скучный мозг?

— Не все такие веселые, как ты.

— Ладно! Оставим в покое Большой мозг. Послушай, расскажи мне лучше о Микеланджело, о его жизни.

— Он тоже не был веселым.

— Я спрашиваю не о нем, а о тебе. О великом скульпторе я могу узнать из книжки.

Я покраснел и начал подыскивать слова, чтобы ответить ей, но ничего не приходило в голову, как у доски, когда не знаешь урока.

— Ты всегда смеешься, всегда шутишь.

— Ну нет. Не всегда. А только когда разговариваю с тобой, Петров.

— А почему?

Она не ответила на мой вопрос. И, немножко помолчав, сказала:

— Мне говорили, что Микеланджело слишком самоуверен и нескромен...

— Неправда. Я...

— Я спрашиваю не о тебе. О настоящем Микеланджело. О том, у которого фамилия Буонарроти.

— Ну и обращай к нему, к этому Буонарроти.

— Но его нет. И нет даже его внутренней копии, его модели. В том далеком веке, когда он жил, ученые еще не умели моделировать работу мозга. Как скучно с тобой, Петров. Я сейчас исчезну.

— Убежишь? Свернешь с тропинки в лес?

— Нет. Просто исчезну. Ты мне надоел. Примерь-ка

вот эти очки. Быть может, они сделают тебя более наблюдательным.

Она вынула из висевшей на боку сумки полупрозрачную вещь, действительно чем-то напоминавшую очки, и надела мне на нос. Рассмеялась и исчезла.

Я слышал смех. Кто-то смеялся рядом. Но у того, кто смеялся, не было материальной оболочки — ни лица, ни фигуры.

Наконец, вдоволь насмеявшись, она сказала:

— Это мне старший брат подарил. Нравятся тебе? Но какой ты рассеянный! Ведь не я надела на себя шапку-невидимку. Скорей ты ее надел. Ведь у тебя на носу волшебные очки.

Пауза. Затем веселый крик:

— Ну, что ж ты стоишь? Лови!

Я кинулся, но поймал пустоту. Невидимая Таня была рядом. Тогда я снял очки, и вот из пустоты возникло ее лицо, смеющийся рот, бегущие ноги.

7

Лесное Эхо стало воспоминанием. Я окончил школу, сдал трудный экзамен и поступил в Институт времени работать и учиться на отделении математической лингвистики. Впоследствии я перешел в другую лабораторию, к знаменитому кибернетику Евгению Сироткину, где столкнулся с проблемами куда более сложными.

Институт времени был одним из самых старых научно-исследовательских центров Земли, он был создан еще в конце XX века. Тогда не только физиологи, но и ученые многих других специальностей начали изучать человеческую память во всех аспектах. До конца XX века памяти не уделяли того внимания, которое она заслуживала. Память была сравнительно мало изучена. Усиленный теоретический интерес к проблеме памяти возник в связи с развитием кибернетики, а также с изучением удивительных свойств нуклеиновых кислот, хранителей и передатчиков наследственной информации для химических процессов, происходящих в организме. Ученые поняли грандиозное значение всех видов информации и памяти в эволюционном

процессе, в становлении человека и развитии человеческого мышления. По-новому взглянули ученые на такие явления как возникновение языка, рисунка, письменности, книгопечатания, документального кино, телевидения и всех других бесчисленных видов связи. Всем стало ясно, что стремительное развитие средств информации от возникновения человеческого языка в эпоху среднего палеолита и до создания квантового телеграфа было стремительным увеличением могущества человека, его победы над временем и пространством. Могущество коммунистического общества, его власть над природой увеличивались с каждым десятилетием. Наступила эпоха «одухотворенной» техники. Что бы это значило? Это значило, что аппараты стали выполнять не только физические функции, но и функции интеллектуальные. Машина научилась «думать», вернее — ее этому обучили. Необычайные успехи физиологии и физиологической кибернетики породили множество дискуссионных вопросов, требующих ответа. Физиологи, кибернетики и философы спорили уже не о том, может ли машина «думать», этот вопрос давно решила жизнь, а может ли она «чувствовать»? Имеет ли право ученый, не придя в конфликт с традиционными нормами этики, создать «чувствующую», «эмоциональную» вещь? «Вещь» следовало бы взять в кавычки, потому что, став чувствующей, вещь тем самым приобретала новые качества, не свойственные вещам. Запретить ученым заниматься изучением этих проблем было нельзя, это могло бы затормозить развитие науки. Ученые и философы спорили, но споры не мешали, а, наоборот, содействовали успехам науки в коммунистическом обществе.

Ученых в их теоретических поисках и экспериментах стимулировало одно важное обстоятельство. Освоение космоса, особенно далеко за пределами солнечной системы, требовало необыкновенного могущества информации и всех видов памяти. В помощь космонавтам и исследователям-ученым в тех районах вселенной, где физико-химическая среда была опасной даже для жизни, защищенной всеми имеющимися средствами, потребовались новые способы постижения неведомого. Таким средством могло быть искусственно созданное существо, обладающее не только гигантской памятью,

но и эмоциональным восприятием действительности. Такое существо могло бы передать человечеству и науке полную информацию о той части вселенной, где не мог пребывать сам человек. Таким образом человечество смогло бы послать вместо своих живых представителей «разум» и «чувства», внедренные в аппараты нового типа, искусственное психическое поле.

Изучением поля «пси» в Институте времени занимались две большие экспериментальные лаборатории. Одну из них возглавлял Евгений Сироткин, другую — Марина Вербова.

Евгений Сироткин вел большую экспериментальную работу, пытаясь создать размышляющий и чувствующий аппарат — искусственное психическое поле. Он был человек очень талантливый, но увлекающийся и нередко давал философам и журналистам повод сомневаться в правильности избранного им пути и упрекать его в том, что изучение «чужого» и создание искусственного «я» стало для него чуть ли не самоцелью. В институте многие сотрудники говорили, что он дал повод для этих упреков, создав на стыке кибернетики и искусства что-то вроде литературного персонажа, названного условно Кумби, но сотворенного не из слов, а из материала, из которого создавались «думающие» машины. Сироткин обычно отшучивался и говорил, что созданный им персонаж — это первая ступень на той лестнице познания, которую он создает. Был ли прав он или правы были философы и журналисты — сказать трудно. Мой отец был на его стороне и говорил, что полезен всякий смелый эксперимент на пути к решению гигантской задачи создания искусственного психического поля.

Проблематика лаборатории, возглавляемой Мариной Вербовой, до поры до времени вызывала гораздо меньше споров. Вербова и сотрудники ее лаборатории изучали химическую и физиологическую сущность памяти. Значение ее работ для развития науки трудно было переоценить. Многие считали, что достижение лаборатории Вербовой приведет к еще большей победе над временем. Тщательное изучение человеческой памяти показало, что множество фактов и событий хранятся в резерве памяти и остаются неиспользованными человеком в продолжение его жизни. Природа как бы

превращала человека в хранителя неиспользованных богатств. Можно ли этот резерв использовать? И как? На все эти вопросы пыталась ответить Вербова.

Несравненно более скромные задачи ставила себе лаборатория математической лингвистики. Заведующий отделом машинного перевода лингвист Рин уделял мне много внимания, знакомя меня с языкознанием и кибернетической техникой. Это был пожилой, необычайно бодрый человек, влюбленный во все человеческие языки, древние и новые. Он терпеливо и настойчиво прививал мне любовь к языкам и математике. Зная множество древних и забытых языков, он, однако, очень любил современность и следил за всем новым и интересным, что появлялось в жизни общества, в быту, в науке, в технике и искусстве. Из всех искусств он больше всего ценил архитектуру и музыку.

В свободные от работы дни и часы он вместе с сотрудниками лаборатории, такими же жизнерадостными, как он сам, садился в машину быстрого движения и отправлялся в путешествие. По его желанию или желанию его спутников машина замедляла движение. И тогда сквозь призрачную стенку аппарата была видна местность, где луга и поля перемежались большими, похожими на рощу садами.

Специальные оптические приборы то приближали, то удаляли пейзаж, иногда выделяя то, на чем стоило остановить внимание. Так на фоне плывущего облака возникал кедр или озеро, видимое до самого дна, — живой и прекрасный аквариум, впаянный в природу.

Мне нравились эти чудесные прогулки, встречи с людьми самых разных профессий. Однажды мы провели день на агрофизической ферме. Все здания здесь были построены по проекту одного из агрофизиков, занимавшихся в свободное время архитектурой.

Постройки были с такой органической необходимостью и музыкальной легкостью вписаны в пейзажи, как живые и дышащие слова бывают впаяны в лирическое стихотворение. Ритм местности и вписанного в него поселка действовал на воображение, сердце здесь билось учащенно, дышалось, как в хвойном лесу.

Но самое поэтичное — это цвета, которыми были окрашены жилые дома и лаборатории. Играя всеми оттенками, они создавали живую картину, созданную

не в воображении и не на холсте, а в самой действительности.

Сады, дома — все было окутано тихой и светлой мелодией.

— Кто сочинил эту музыку? — спросил я Рина.

— Здешний Моцарт. По специальности он пчеловод. Хотите, я вас познакомлю?

Он познакомил меня с нашими гостеприимными хозяевами-агрофизиками, знатоками фотосинтеза, полупроводниковой техники и Солнца. Директор агрофизической фермы, очень живой молодой спортивного вида человек, был влюблен в Солнце, в полупроводники и в историю своего края. Он повел нас в фильмотеку, и я как бы взглянул в поток времени, стремительного и яркого. Перед нами прошли картины середины прошлого века, когда на месте агрофизической фермы был целинный совхоз и по степи ходили тракторы и комбайны, а молодые энтузиасты-комсомольцы жили в палатках. Затем вместе с историей края мы перенеслись в совсем недавнее прошлое, в то десятилетие, когда люди коммунистического общества овладели тайнами фотосинтеза и Солнце из явления физического и поэтического превратилось в явление домашнее и было приобщено к производству и быту.

Солнце! Оно здесь было везде: и на картинах, и в приборах, и на лицах сотрудников, все было залито Солнцем, лаборатории и поля.

— Я солнцепоклонник, — сказал, улыбаясь, директор агрофизической фермы. И он прочел нам стихи старинного поэта о Солнце.

Светить всегда,
светить везде,
до дней последних донца,
светить —
и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой —
и Солнца.

Теперь я хочу рассказать о своей работе в лаборатории математической лингвистики.

Сначала, как и полагается новичку, я получил не слишком сложное поручение от лингвиста Рина. Я обучал новую, только что выпущенную из производства машину искусству перевода. Машина, разумеется,

не знала, что в другом помещении и в другие часы я ходил учиться сам к другой и очень опытной машине.

Я был как бы посредником между двумя машинами, но это отнюдь не унижало мое человеческое достоинство, ведь я отлично понимал, что машины вобрали в себя человеческую память, во много раз усиленную, и человеческую понятливость, тоже умноженную. Машины переводили с древних языков и как бы воссоздавали давно утраченный мир с его духовными богатствами. Как удивились бы древние греки и римляне, если бы знали, что посредниками между ними и их далекими потомками станут машины, безошибочно улавливающие все оттенки древней мысли, все семантические особенности древних языков.

Моим машинам, конечно, было далеко до Большого мозга, взявшего на себя обязанности тоже в своем роде посредника, но не между древними и нами, а между Землей и далекой планетой Уазой. Ведь Большой мозг решал задачу гигантской семантической сложности, он пытался расшифровать способ отражения мира далекими и непонятными существами.

Многие машины нашей лаборатории помогали Большому мозгу, подсчитывая, классифицируя, сравнивая, анализируя знаки загадочного языка.

Каких только машин у нас не было! Машины-семантики, машины-фонетики, машины математической логики, машины, специализировавшиеся на анализе грамматических форм.

Руководитель лаборатории Рин любил повторять слова великого лингвиста Вильгельма Гумбольдта, сказанные им задолго до победы Коммунизма, когда все народы еще не объединились в одну великую семью:

— Человек окружает себя миром звуков для того, чтобы воспринять и переработать в себе мир предметов. Каждый народ обведен кругом своего языка...

Вот и мы старались с помощью лингвистических машин перейти через круг, которым обвел себя народ далекой и загадочной Уазы.

Из всех машин филологической лаборатории мне, пожалуй, больше всего нравились машины-фонетики. Я любил заходить в тот зал, где они стояли. Это был словно мир звуков. Мелодичными девичьими и детскими голосами фонетические аппараты воспроизводили

звуки всех земных языков. Эти голоса как бы раскрывали фонетическую суть слов, приобщая нас к бесконечному разнообразию звуковых форм.

Но однажды вечером, войдя в фонетический зал, я остановился, сильно взволнованный. Я услышал странные и причудливые звуки неземного языка. Звуки то набегали, то удалялись, создавая чудесную звукопись неизвестных фонетических форм. Машина воспроизводила звуки, как бы приближая меня к чему-то неведомому, что страстно хотелось узнать и узнать поскорей. Казалось, сама Уаза с помощью этих машин обращалась ко мне, но я не в силах был ее понять.

Не сразу я пришел в себя и сообразил, что все эти неземные и причудливые звуки — отголоски неизвестного и прекрасного — не больше чем фонетическая гипотеза, созданная лингвистом Рином.

Логика сорвала покров с истины. Но мне все же хотелось верить, что это не только гипотеза.

Да, каждый народ был обведен кругом своего языка, думал я, но люди коммунистического общества преодолели все языковые и этнические барьеры. Наступит день, когда мы перейдем через круг звуков, который окружил себя народ Уазы.

Послышались шаги. Я оглянулся. Вошел лингвист Рин с усталым и озабоченным лицом.

— К нашему несчастью, — сказал он, — в уазском послании слишком мало слов. О, если бы оно было таким же обстоятельным, как «Илиада» или «Война и мир»! Тогда бы нашим машинным логикам и семантикам гораздо легче было бы определить и сравнить грамматические формы.

В эти дни я много думал о языке, в котором не было знаков для обозначения неодушевленных предметов. Я пытался представить себе мир, где все жило, дышало, даже скалы, как в древней сказке или в великих поэмах Гомера.

Мой отец постарел, осунулся, он напрягал все свои духовные и физические силы в единоборстве с загадкой, которая водила за нос его и всех его помощников, программировавших работу искусственного аналитика, математика и лингвиста.

Логики, философы и нетерпеливые журналисты уже начали высказывать сомнения, намекая на то, что

Институт времени идет по ложному пути. «Мир без предметов», — так называли они Уазу. И упрекали отца за то, что его гипотезы и догадки противоречат законам природы. И нашелся один, по-видимому, очень дерзкий, человек, который назвал моего отца отсталым антропоцентристом. Отец ходил с терпеливой улыбкой на исхудавшем лице. Что ему оставалось делать? Молчать. Пока только молчать и улыбаться. Он еще скажет свое слово, он и Большой мозг, аналитические способности которого стали мишенью для скептически настроенных фельетонистов и карикатуристов. В узком кругу своих помощников, учеников и друзей, сотрудников Института времени мой отец высказал одну гипотезу, еще одну после многих, высказанных раньше. Отец сказал задумчиво и тихо, как бы спрашивая самого себя и своих единомышленников:

— Разве мы не можем допустить, что цивилизация Уазы обогнала земную цивилизацию на много миллионов лет? Можем. А если это верно, почему нам не допустить следующую возможность: необычайное развитие кибернетики позволило уазцам создать иную среду вокруг себя, среду, пропитанную памятью, интеллектом, одушевив и оразумив почти весь окружающий их мир. Возможно ли это? Я спрашиваю не только самого себя, но и вас...

— Сомнительно... — сказали друзья и ученики отца. — Во всяком случае, маловероятно.

— Но поймите меня, — горячился отец, — я ломаю голову над этой загадкой. И я высказываю это предположение, чтобы не думать, будто уазцы пошутили и решили нас разыграть, специально для этого создав язык, обозначающий только одушевленный мир.

— Не исключена и такая возможность с точки зрения теории вероятностей, — сказала Марина Вербова, улыбаясь насмешливо и ласково, как только она одна умела улыбаться.

Отец обиженно нахмурился. Он не мог допустить, чтобы кто-то осмелился его дурачить, даже загадочные существа.

— Чепуха! — ворчал он. — Просто пережитки антропоцентризма мешают всем взглянуть на интересующую нас проблему не предвзято, объективно, со сторо-

ны. Мы во всех случаях подставляем самих себя, свои понятия, свои привычки, свои представления, свои чувства, свой опыт. Чтобы понять язык Уазы, нужно вывернуть наизнанку привычную логику. Вот и все.

8

Я быстро освоился с Институтом времени и со многими его чудесами. Но, может быть, лучше бы мне с иными из них и вовсе не заводить знакомство.

Одним из самых больших чудес был Кумби, Юлиан Кумби, Кумби второй.

Существовал и Кумби первый, о котором я расскажу позже, но Кумби первый был человек, хотя и обладал поистине нечеловеческой памятью.

Кто же такой Кумби второй и, вернее, что это такое? Я уже вскользь упоминал о нем, когда рассказывал о проблемах, изучением которых занималась лаборатория Сироткина. За Кумби как раз и упрекали Сироткина философы и журналисты, утверждая, что он, Сироткин, идет отнюдь не по главному пути в попытках создать психическое поле, способное заменить мозг человека при освоении вновь открытых планет.

По словам сотрудников этой лаборатории, Сироткин вовсе не придавал большого значения Кумби, но считал, что его создание поможет двинуть дело дальше. Да, это не генеральная линия его исследований поля «пси» и бесчисленных экспериментов, а боковая, но тем не менее она нужна.

Уже одно то, что Кумби второй обладал искусственным психическим полем, то есть эмоциями, памятью и даже фантазией, а кроме того, был попыткой еще небывалого моделирования человеческого «я», делало его создание чрезвычайно ценным для дальнейшего развития кибернетики.

В институтских Ученых записках я прочел, что Кумби нечто вроде литературного персонажа, вымышленного человека, с той только разницей, что его создали не на бумаге, а в реальности. Дальше в Ученых записках говорилось о том, что это искусственная модель человеческого характера, только сделанная не из

слов, а из материала, хотя, может быть, и не более прочного, но более вещественного. А затем шли схемы и формулы.

Сироткин, автор этой статьи, хотя и был выдающимся изобретателем и ученым, однако, по-видимому, не обладал даром популярного изложения. Из статьи его я все же не вынес ясного впечатления о том, как было создано поле «пси». Возможно, что я еще был слабо подготовлен для восприятия слишком сложных и новых научно-технических идей.

Не очень-то прояснилось дело и тогда, когда я спрашивал сотрудников лаборатории Сироткина и помогал создавать этот феномен.

Сотрудник лаборатории Николай Вечин долго мне объяснял, кто такой Кумби, или, точнее, что это такое. Но я не могу сказать, чтобы его объяснения обладали строгой лаконичностью и ясностью. Казалось, он не столько объяснял, сколько играл в словесные жмурки, то приоткрывая смысл явления, о котором рассказывал, то снова закрывая его туманом неясных и смутных слов. Может, он потешался надо мной, этот Коля Вечин, как в Лесном Эхе, где мы вместе учились? Он был большой шутник и насмешник. Но, увидя растерянное выражение моего лица, Коля сказал:

— О Кумби ясно и просто рассказать нельзя. Он весь состоит из противоречий. Но он так задуман его создателями. Ведь его создал один из помощников твоего отца, инженер Евгений Сироткин в соавторстве с писателем Уэсли вторым. Точная мысль инженера-конструктора и капризное воображение Уэсли второго, знатока человеческого характера... — Он сделал короткую паузу и сказал фамильярно-игривым тоном, как в школе Лесное Эхо на большой перемене: — Хочешь, соединю?

— Соединишь? С кем? — не понял я. — И зачем?

— Зачем? Это ты потом узнаешь. А с кем? Да вот с этим вечновспоминающимся субъектом-объектом.

— С Кумби?

— Угу! Ты, я вижу, смышлен. Понимаешь с полуслова.

— Ну, ну! Полегче! Нашел дурака. Соединяйся с ним сам... А меня избавь. Наверно, подключался не раз?

— Случалось.

— Ну и как? Не жалел потом?

— О чем жалеть? Считаю, что ты прочел приключенческий роман. Но, читая, ты все время знаешь, что эти часто опасные приключения случались не с тобой. А тут, брат, другое. Совсем другое. Тут себя от него не отделишь...

— От кого?

— Ну, например, от Кумби. И за его ошибки приходится расплачиваться тебе. Не только за ошибки, но и за удовольствия. А это уже не так плохо.

— Не понимаю. Что же, я превращусь в него, как в древней сказке?

— Вроде и да, вроде и нет. Зачем расспрашивать? Попробуй. Если хочешь, хоть сейчас.

— Нет, только не сейчас. Во-первых, надо идти обедать. А во-вторых, мне и своя личность еще не настолько наскучила, чтобы ее менять на чужую. Пусть подключается твой Сироткин.

Прошло несколько дней, и вот мне удалось узнать, что такое чужое «я», слить свою личность с экспериментальной личностью Кумби.

Коля Вечин все-таки уговорил меня.

— Костюм можешь не снимать, оставить на себе, — сказал он, усмехаясь. — Но свою память, а значит и все свое прошлое, сдашь мне на хранение. Не беспокойся, все будет в полной сохранности. Доводилось тебе сдавать на вешалку пальто и шляпу? Тут почти то же самое, с той разницей, что ты оставляешь не пальто и шляпу, а только самого себя. Ты, я вижу, начинаешь нервничать? Зря. Уверю тебя, это пустяк. Ведь, в сущности, когда читаешь хорошую книгу, тоже сливаешься с личностью ее автора или героя.

— Поставь точку, — сказал я. — Я готов.

Через мгновение (это чреватое последствиями мгновение отделило меня от моего прошлого) я почувствовал себя приобщенным к чужому прошлому. Стало другим, обновилось все мое существо, каждая молекула, каждая клетка. И самое удивительное было в том, что я ощущал это обновление, переход из одного состояния в другое. Сначала я почувствовал легкое недомогание, кружилась голова, словно я летел с горы, сердце билось учащенно. Затем внезапный прилив

энергии и бодрости заставил вскочить меня с места. Я ощущал, что теперь в моих жилах текла как бы не моя, а чужая, хмелившая меня кровь. Во мне возникли воспоминания, разумеется, не мои собственные, а чужие воспоминания, сразу унесшие меня далеко за пределы Института времени и моей собственной судьбы.

9

— Кумби, — сказал мне девичий голос, — мне надоели твои фокусы и твои привычки. Ты вечно куда-то торопишься. Что за беспокойная натура! Но зачем тебе торопиться на Венеру? Там необжитой мир, противоестественная, неприспособленная для человека среда. Все это твое очеркистское тщеславие, желание показать, что ты ничего не боишься. Но ведь на самом деле ты очень боишься, я знаю.

— Ничего ты не знаешь, Мария, — ответил я. — Я боюсь только одного — сомнений. В прошлом году я провел целых два месяца с тобой и не написал ни строчки. Ты заронила сомнение во мне, ты и твои скептические, насмешливые друзья, находившие, что во мне много энергии и мало таланта, что мои корреспонденции схематичны, а очерки поверхностны, что я не умею сказать о космосе ничего, кроме банальных, всем надоевших фраз. И если я не талантлив, поверхностен, за что же ты любишь меня, Мария?

— Разве любят за что-то? Любят ни за что. За то, что ты вот такой как есть, ты и твоя улыбка, ты и твой лоб, ты и твои вечно взлохмаченные волосы... За то, что ты здесь со мной...

— Здесь? Но надолго ли? Сейчас я здесь, а через сутки я буду далеко за пределами биосферы. Я и мои волосы превратятся в воспоминание. Разумеется, для тебя. Сам я очень сильно буду чувствовать свое присутствие в безгравитационной среде, в среде, где не на что опереться и где мысль подсказывает тебе, что, потеряв тяжесть, ты значительную часть себя оставил на уютной Земле.

— Себя? Опять себя? А разве ты не будешь думать обо мне?

— Чтобы думать о тебе, нужна точка опоры, гравитация, твердое тело под ногами. Но когда висишь, не ощущая ни потолка, ни пола, думаешь, что хорошо бы сейчас постоять или посидеть, думаешь о самых элементарных вещах. А ты, дорогая Мария, сложная личность, слишком сложная. И я люблю тебя вместе со всей твоей сложностью, со всеми твоими причудами. Но люблю только тогда, когда чувствую под ногами твердую почву...

— Раз ты дорожишь твердой почвой, зачем же тебя тянет туда?

— Профессия. Склонности. Я очеркист. Я описываю необыкновенное. А чтобы описывать, надо видеть своими глазами.

— У тебя нет фантазии...

— Возможно. Но я очеркист. Очеркисту нужна трезвость, точность, любовь к факту. Ты ведь тоже факт, Мария. И за это я люблю тебя. Ты конкретна. Вещественна. Слишком конкретна. А я люблю вещьественность, то, к чему можно прикоснуться.

— Ты пошляк, Кумби. Обыкновенный, заурядный пошляк.

— Возможно. Но почему же ты любишь пошляка?

— Не знаю. Не знаю, за что люблю тебя. А вот за что не люблю твои очерки — знаю. За отсутствие поэзии. За чрезмерную трезвость. За обыденность. Человечество всегда смотрело на мир сквозь призму мысли, сквозь призму чувства, а ты смотришь на все бесстрастно, как объектив.

— Призма! Призма! Пустые слова. Я смотрю на мир без всякой призмы. Как объектив! Ну и что же! Я очеркист. Мой бог — факт. Я добываю факты с риском для жизни. Космос — это не прогулка в лесу. Там неудобно...

Я почувствовал легкую теплую руку девушки на своем плече. Она провела пальцами по моим волосам, взъерошив их. А затем поцеловала меня.

— Милый мой объектив, не сердись. Я ведь это нарочно, чтобы тебя немножко подразнить...

А вот и Венера. Не очень-то ласковая планета. Жарко. Темно. Душно. Но люди привыкли. Работают. И веселятся кто как умеет.

Хотя многие считают меня скептиком, я очень люблю людей. Меня постоянно тянет к ним, где бы они ни трудились: на дне ли Тихого океана, среди бездушных плоскогорий Луны, в бездонных вакуумах, где создались новые космические станции, искусственные острова и миниатюрные материки. Я очень люблю людей, и люди тоже меня любят. Они снисходительно смотрят на мои недостатки и всегда умеют оценить и заметить достоинства.

Я очень люблю людей, и, может, потому у меня много друзей и знакомых во всей солнечной системе.

Вот и сейчас я только появился на Венере, но уже слышу:

— А! Кумби? Здорово!

Какой-то парень, по-видимому, местный старожил, сверкая жизнерадостными негритянскими зубами, ударяет меня ладонью по плечу.

— Здравствуй, — говорю я неуверенно. Где я видел этого парня?

— Хороший очерк ты написал. Ребята были довольны.

Он смеется.

— Только вот перепутал имя того робота, с которым я ремонтировал трассу. Его звали не Дэмби, а Эмби.

— Надеюсь, он не обиделся?

— Ничуть. Он не из обидчивых. Надолго к нам? Впрочем, надолго тебе нельзя. Ждут на Луне, на Марсе и еще в ста местах. Ты изменился. Пополнел. Это зря. А я?

— Ты тоже чуточку изменился.

— Еще бы! Я ведь женился. А жена... Самая симпатичная женщина во всей солнечной системе.

Парень рад мне. Искренне рад. Мой очерк доставил ему удовольствие. Но не всем доставляют удовольствие мои очерки. Администратор гостиницы спросил меня вчера:

— Кумби? Журналист и писатель? Что-то, припоминаю, читал... — И после паузы: — Слишком натуралистично пишете. Поэзии маловато и красоты. Поэзии. — Он нравоучительным тоном повторил это слово.

Вероятно, за то, что в моих очерках не хватало поэзии, он дал мне самый тоскливый номер с окном на пустырь и со старым, испорченным роботом, который вместо заказанной мною чашки кофе принес тарелку куриного бульона.

— Я заказывал кофе, — сказал я роботу, — не куриный бульон.

— Нет, вы заказывали бульон. Я не человек, а машина, и не мог ошибиться.

— Бывает, и машины ошибаются, да еще как!

— Прошу быть корректным, — сказал робот. — Надо уважать вещи.

— Извините. Я был не прав.

Не прав? Но я не мог заказать куриный бульон. Не мог! Язык не повернулся бы. С детства не выношу запах куриного бульона. Значит, все-таки робот ошибся, а не я. Но он вещь. А с вещами тоже надо обращаться вежливо.

Робот ушел и вскоре вернулся. Но вместо кофе он принес чаю. Что-то испортилось в его механическом устройстве. Какой-то винтик. Администратор не мог не знать об этом. Но он, по-видимому, недолго любил журналистов. Черт с ним, с этим администратором. Выпью чаю вместо кофе и сяду писать очерк.

Работа давалась мне нелегко. Но на Венере все много работали. Там никто не ленился.

Набросав две страницы (описание венерианского пейзажа), я почему-то вспомнил гостиничного робота. Мне вдруг стало жалко его, словно он был не вещью, а старым, усталым и большим человеком.

Бог знает для чего этим роботам придавали сходство с людьми! Конструктору и кибернетику давали в помощники художника или скульптора, чтобы приобщить их к современности, что ли? Художник старался изо всех сил, не хотел отстать от века. И все равно отставал. Ну зачем он придал печальное выражение лица этому механизму? Для чего? Из подражания древнему Рембрандту? Вот эпигон!

Утром опять пришел робот с печальным лицом увядшего старика.

Я подумал: попрошу-ка у него чаю, он ошибется и вместо чаю принесет то, что нужно, — кофе.

— Чаю, — сказал я, — и поджаренную булку с яичницей. Только, пожалуйста, поскорее. Спешу.

Через несколько минут он вернулся, неся тарелку куриного бульона.

— Я просил чаю.

— Нет, вы просили бульон.

— Вы ошибаетесь.

— Это люди ошибаются. А я машина.

Я вышел из себя. Прячется за свою машинную сущность, мошенник. Явно в заговоре с администратором.

— Наглец!

Это вырвавшееся у меня слово, по-видимому, очень огорчило робота. Он молчал, укоризненно глядя на меня. Потом он сказал тихо:

— Я вещь. Только вещь. А вещи беззащитны.

Мне стало жалко робота.

— Извините, — сказал я. — Нервы. У вас на Венере такой плохой климат.

— Да, климат неважнецкий, — сказал робот, подняв обе руки и показывая их мне. — Болят. Особенно к вечеру.

— На солнце надо больше греться.

— Какое тут солнце. Атмосфера густая. Облачность. Ничего не пропускает.

— Это действительно... тяжело.

— Грустно, — сказал робот, — не с кем словом перекинуться.

— А люди? Ваши постояльцы?

— Недовольны почти все. Подаете им, а они отказываются. Говорят, что я ошибся. Ну, хорошо. Раз ошибся, два. Но не могу же я все время ошибаться. По теории вероятностей.

— Конечно, не можете.

— Я ошибаюсь, а они — нет. Они никогда. Обидно.

— Я вас понимаю, — сказал я, — и в следующий раз не буду настаивать. Вздор все это! Пустяки! Какая разница — бульон, чай, кофе... Особенно когда ты на Венере.

— Бульон полезнее, — сказал робот. — Чай и кофе слишком возбуждают нервную систему. А здесь она и без того слишком возбуждена.

Весь следующий день я носился по Венере как угорелый, ища интересный материал для газеты. Настроение мое менялось: то каждый пустяк казался мне значительным, то пустяками казались значительные события. У меня было много знакомых. И на Земле, и даже на такой неуютной планете, как Венера. Но земные знакомые как-то лучше удерживались в памяти. Не знаю почему. Надо бы спросить у физиологов, почему на Земле лучше работает память.

— А, Кумби! Привет! — кричал какой-то человек с обрадованным лицом.

Еще не разделяя его радости, но стараясь скрыть недоумение, я пытался вспомнить, где и когда я видел этого человека.

— Как? Ты забыл меня, Кумби? Не может быть!

— А где мы встречались?

— Ха! Где? На дне Атлантического океана, когда вели раскопки Атлантиды. Забыл?

— Теперь вспоминаю. Ты археолог?

— Нет, геолог.

— А, да! Чудесно провели время. А что ты тут делаешь, на этой неласковой планете? Здесь нет затонувших цивилизаций.

— Но есть полезные ископаемые. Так ты забежишь ко мне, Кумби? А? Запиши адрес: Астрономическая улица, 108.

— 108, Астрономическая улица. Так, запомню. У меня отличная память на цифры. Ну, пока! Завтра лечу на космическую станцию «Цветы в вакууме».

11

— Ничего не поделаешь, лечу. Безгравитационная среда. Опять не на что опереться.

В такие минуты вспоминается дорога, поляна в лесу, горы, пол, все, на чем можно стоять. Да, стоять. Почему люди не умеют это ценить и торопятся сесть или лечь? Много дал бы я, чтобы сейчас постоять,

опираясь на нечто твердое, незыблемое. Когда я думал об этом я еще не знал, что случится со мной через час.

Голос командира космолета повторил:

— Тревога! Пробоина в обшивке от удара метеорита. Тревога!

Сердце бьется так, словно метеорит пробил отверстие не только в теле корабля, но и в моем собственном. Правда, в космолете, кроме обшивки, есть предохранительные отсеки и роботы-инженеры, умеющие производить быстрый ремонт. И все же сейчас особенно хочется опереться на что-нибудь твердое, положительное, успокаивающее, и не висеть, как вишу я.

У астронавигатора и его помощников есть гравитационный пояс-новинка. Этот пояс стоит дороже космолета со всеми его приборами и чуть дешевле средней космической станции. Но он позволяет человеку чувствовать под ногами пол и отличать низ от верха. Я отказался от пояса — думал, что он мне не понадобится. Сейчас помощники астронавигатора возьмется с обшивкой, пытаются спасти космолет. А я даже не в состоянии им помочь. У меня под ногами нет опоры. Ну и что ж, неужели я должен терять из-за этого чувство собственного достоинства! Я литератор. Я на своем посту, на работе. Это не важно, что я плаваю в пустоте. Но с гравитационным поясом легче держаться с достоинством.

— Надо не теряться. Надо не теряться, — шепчу я себе, забыв о том, что возле моего рта — аппарат, который несет мои слова в помещение астронавигаторов.

Мария упрекала меня за то, что у меня нет фантазии, что я слишком приземлен, хотя и облетал все освоенное человечеством космическое пространство. Сейчас, может, и лучше, что у меня нет избытка фантазии. Если не справятся с пробойной, фантазия не поможет. Рядом бесконечность, бездна, провал, необразимо огромное ничто. Завтра Мария узнает о моей гибели. Мария и мир, Мария и вся солнечная система. Все без исключения, и даже тот робот, который, забываясь о моем здоровье, приносил куриный бульон. Но бездне, провалу, бесконечности плевать на это.

Руки начинают дрожать. Знобит. Бросает в жар. Зачем я отказался от гравитационного пояса? Как хорошо было бы сейчас немножко постоять хотя бы десять минут.

Я смотрю на стенку, которая отделяет меня от бездны. Она сделана из сверхпрочных материалов. Ее создавали технологи и химики, хорошо представлявшие себе, что такое бездна. Я доверял им раньше, этим инженерам. Я должен довериться и сейчас.

Астронавигаторы и роботы, наверно, не теряют времени. Но я пока ничего не знаю. Командир корабля молчит. Он слишком занят, чтобы терять драгоценное время, посвящая единственного пассажира в то, что он, возможно, пока хочет оставить в тайне.

Да, я единственный пассажир, если не считать белых мышек, плавающих в пустоте вместе со своей клеткой. Мышки не знают о пробоине. Но они должны чувствовать беду. У них для этого есть инстинкт.

Я смотрю на клетку. Мышки явно встревожены. Их чуткий инстинкт уже получил информацию. Откуда? Как? Об этом спорят специалисты. И пусть пишут свои диссертации. Побывали бы они здесь сейчас, когда бездне так хочется заполучить меня, астронавигаторов и этих бедных мышек.

Вот будет хорошо, если бездна вытянет пустой номер! Помню эту фразу. Ее любит повторять один мой знакомый телекорреспондент, когда судьба показывает ему шиш.

— Мышки,— говорю я,— бросьте унывать. Уверен, бездна на этот раз вытащит пустой номер.

Откуда у меня такая уверенность? Я же не видел пробоины. И не знаю, как идут дела у роботов-ремонтёров. Командир космолета пока молчит. Но я не молчу. Я повторяю про себя:

— Пустой номер... Пустой номер...

Я повторяю эти слова, словно хочу заколдовать, заморозить действительность.

Я смотрю на мышек. У них такой вид, словно что-то внутри них работает. Это работает настроженный инстинкт, пытающийся установить контакт с надвигающейся опасностью, определить размеры угрожающей нам беды.

Я слышал много раз это выражение: крысы бегут с тонущего корабля. Я читал и слышал, что они бегут, когда еще нет никаких признаков беды. По-видимому, у животных иное чувство времени, чем у людей: для них в критический момент их жизни будущее в большей мере является настоящим, чем для нас, людей. Но не значит ли это, что наука далеко не все знает о времени?

Я пытаюсь уйти в эту проблему, чтобы не думать о том, почему молчит командир космолета.

Тишина. Можно подумать, что команда забыла обо мне и об этих мышках и покинула космолет. Но в космосе это невозможно. Нельзя покинуть островок биосферы, со всех сторон окруженный бесконечным вакуумом, бесконечным ничто. И даже если бы это каким-то чудом было можно, команда бы никогда этого не сделала.

Мышки тоже понимают сложность обстановки каким-то своим шестым, не известным науке чувством. Уж не чувствуют ли они, что вокруг них пустота на сотни миллионов километров, зияющая пропасть без дна?

Тишина. Особая тишина, словно остановилось время. Я жду. Что мне остается еще? Жду. И мышки тоже ждут. Но они ждут не бездействуя. Они напряжены. Они пытаются наладить связь с тем, что раньше называли судьбой. Они пытаются получить информацию, узнать, есть ли еще или уже нет никакой надежды.

И вдруг раздается человеческий голос, голос командира космолета:

— Пассажир, ну как ваши дела?

— Мои дела, — отвечаю я, — зависят от ваших.

Мой ответ скрывает в себе вопрос, да еще какой вопрос! Нет на свете вопроса важнее этого. Я спрашиваю не судьбу, как насторожившиеся мышки, а живого, конкретного человека, командира корабля. Но он молчит, не отвечает.

Я тоже молчу и жду. Терпеливо жду. Но ответа нет.

Тогда я посылаю свой вопрос туда, в помещение астронавигаторов:

— Как ваши дела?

Ответа нет. На корабле все молчит.

— Как ваши дела?

Нет ответа.

— Как ваши дела? Как ваши дела? — кричу я. —
Как ваши дела?

Ответа нет.

12

Я открыл глаза. На этот раз уже я сам, а не Юлиан Кумби. Вокруг меня были земные вещи и знакомые стены лаборатории.

— Где я? — спросил я тихо.

— Там, где и был. В Институте времени.

Голос Коли Вечина громок и насмешлив.

— Кто я?

Вопрос звучит глупо. Ужасно глупо. Но слова уже вылетели, и их не возвратишь.

Голос Коли Вечина становится еще более жизнерадостным и насмешливым.

— Кто ты? Это тебе лучше знать. По-моему, ты Микеланджело... Микеланджело Петров.

— Но где же космолет? Где астронавигаторы? Где, наконец, бедные мышки, пытающиеся установить контакт с неизвестностью и выяснить размеры беды?

— Космонавт остался там... И навигаторы тоже... А мышки? Взгляни, они тут.

Я взглянул: действительно, среди земных и привычных предметов стояла клетка с подопытными мышками. Разумеется, это были не те мыши. Они насторожились, так же насторожились, как на космолете.

— Ну,— спросил Вечин деловым тоном,— как тебе понравилось чужое «я»? Можешь пока не отвечать. Да, пока не придешь в себя. Я советую тебе: вспоминай, вспоминай. Нет, не Кумбино прошлое, а свое. Ведь твоя личность вместе с твоей памятью хранились, как сданное на вешалку пальто, пока ты отсутствовал. Где ты был? В гибнущем космолете.

— А что с Кумби и с астронавигаторами?

— Не беспокойся. Все в порядке. Ты слишком сильно стал переживать. И пришлось вмешаться мне, прервав действие... Но подними-ка голову. Что с тобой?

Вечин подошел ближе.

— Что с тобой, Мика? Не могу понять! Ты поседел, Мика. Ты оказался слишком впечатлительным. Не знаю, что и делать... Как огорчится теперь твой отец... Ведь изучение чужого «я» находится в стадии эксперимента, и контакт с Кумби запрещен всем, кроме тех, кто работает вместе с Сироткиным. Попадет мне от твоего отца...

— Что ты, что ты, Коля! Разве я тебя выдам!

— Ну, а чем же объяснишь родителям, почему ты поседел? Ведь твоя старость пришла к тебе в течение даже не дней, а нескольких часов и минут. Опыт продолжался меньше суток. Чем ты объяснишь, что ты...

— Что я стал стариком?

— Стариком? Глупости. Поседела только голова. Лицо не изменилось. И, знаешь, седина даже тебе идет. Можно, конечно, вернуть утраченный цвет волосам. Это необходимо сделать, пока не пришел Евгений Сироткин. Он только что вернулся из длительной командировки на космическую станцию «Енисей». А Сироткин не любит таких шуток.

— Так, значит, ты пошутил?

— Ну вот, я один виноват. А ты и ни при чем? И откуда я мог знать, что ты такой впечатлительный? Откуда? В школе ты держался молодцом.

— А разве я тут держался плохо?

— Я этого не говорю. Но подвела шевелюра... Понимаешь, ты меня подвел...

— Я подвел? Как тебе не стыдно!

Пока мы спорили и теряли зря время, в лаборатории появился Евгений Сироткин, и не один, а с моим отцом.

Я прикрыл свои волосы, быстро натянув на голову тесный Колин берет, и отошел в сторонку. Но ни отец, ни Сироткин не обратили на меня и Колю Вечина никакого внимания. Они оба были чем-то озабочены. Чем? Об этом мы очень скоро узнали, прислушавшись к их разговору. Впрочем, это был скорее монолог, чем диалог. Говорил мой отец, а Евгений Сироткин внимательно слушал.

— Большой мозг,— говорил отец,— могущественно логичен, предельно трезв. Этот электронный Гегель мощностью своего разума, как недавно еще казалось мне, способен охватить универсум, беспредельность.

— Беспредельность — да, — усмехнулся Сироткин, — а неповторимую конкретность — нет.

— Вы правы, Евгений. Одной логики мало, чтобы разгадать душу уазца. Нужна еще и фантазия. А Большой мозг не любит фантазировать. Он слишком машина! Ваше сотрудничество с писателем Уэсли-младшим, вместе с которым вы создали Кумби, явление новое в современной технике. Инженеры почти всегда чуждались психологии, эмоциональной мысли искусства. Искусство, в свою очередь, недооценивало строгую и изящную мысль инженера. Вы, Евгений, вместе с Уэсли сделали смелый шаг и воспроизвели «личность», «характер», но не на бумаге, а в трехмерном пространстве.

— В трехмерном? — перебил отца Сироткин. — Вы выразились, дорогой, не совсем точно. Не в трехмерном пространстве, а скорее в сжатом, сконденсированном, в спрессованном времени.

— И это, пожалуй, верно, — согласился отец. — Теперь несколько слов о вашей новой идее, о которой вы мне рассказывали вчера. Чтобы разгадать внутренний мир загадочного уазца, его рациональное и эмоциональное мышление, его странное видение мира, вы предлагаете создать модель, исходя приблизительно из принципа, который, говоря условно, назовем принципом Кумби. Но как моделировать человеческий внутренний мир, сущность которого нам почти незнакома? Это самое уязвимое место вашей идеи. И все же я готов поддержать вас. Я рассчитываю на ваш большой талант, на ваше техническое чутье и, наконец, на могущество фантазии, способной многое угадать.

— Благодарю вас, — сказал растроганно-ироническим тоном Евгений Сироткин.

— И все же, — продолжал отец, — я хочу сам лично проверить возможность вашего Кумби. Соедините меня, пожалуйста, с этим персонажем.

Я испугался за отца, вспомнив свои напряженные и трагические минуты на гибнущем космолете. А что, если не выдержит его сердце? Отец стар.

Испуг был так силен, что я кинулся к отцу, повторяя:

— Отец, это опасно! Нельзя! Не надо!

— А ты откуда знаешь, что опасно? Ну-ка, иди к себе. Тут не полагается присутствовать посторонним.

— Я не посторонний. Я сотрудник Института времени.

— В этой лаборатории ты посторонний.

Мне пришлось уйти, и я так и не видел, как мой отец слил свое существование с парадоксальным и острым существованием персонажа, созданного соединенными усилиями рационалистической техники и эмоциональной мысли.

13

Мы с Колей Вечиным стояли в коридоре и ждали конца эксперимента, которому подверг себя мой отец.

Я тревожился за отца. Он был стар, хотя само понятие старости казалось ему пережитком эпохи наивного антропоцентризма. С годами здоровье его ухудшалось. И кто знает, может быть, сейчас, слившись с Кумби, он сидит в гибнущем космолете и ждет ответа, которого ждал я и так и не дождался из-за того, что Коля Вечин поспешил отключить меня. Евгений Сироткин едва ли посмеет это сделать. Он знает, что мой отец этого ему бы никогда не простил.

— А много в жизни Кумби было трагических эпизодов? — спросил я Колю.

— Да, было немало. Писатель, с которым Сироткин конструировал аппарат, этот самый Уэсли-второй, считает, как считали древние греки, что трагедия — вершина искусства.

— У Кумби совсем не трагический характер. Я же был им в продолжение почти суток. Он веселый, милый, чуточку беззаботный...

— Уэсли, — перебил меня Вечин, — искал трагического не в характере задуманного им героя, а в самих обстоятельствах. По-моему, он перестарался.

— Ты в этом уверен?

— Меня убеждает твоя седина.

— Сейчас не до шуток, Коля. У моего отца большое сердце.

— Но он не так впечатлителен, как ты. Он не привык щадить себя. Но с чего ему пришло в голову

лезть в шкуру Кумби, переживать за него? Уэсли-второй не поспешил на переживания для своего героя.

— Хватит об Уэсли. Меня он мало интересует. Не могу понять, зачем отец решил себя подвергнуть эксперименту?

— У него было куда больше оснований, чем у тебя, когда ты решился на целые сутки расстаться с самим собой и подвергнуться риску познания чужих переживаний. Твой отец это делает для науки. Он хочет на своем собственном опыте убедиться в возможности моделирования личности, заменяющей личность космонавта или исследователя космоса. Кроме того, он ищет пути к познанию «я» узца, узской личности, узского видения. Ты не слышал, что он говорил Сироткину? По-видимому, Большому мозгу не по плечу та задача, которую решает отец.

— Отец и без того знает, что такое Кумби. Он изучил схему.

— Твой отец не из тех, кто судит о чем-либо только по схеме. Он хочет знать все сам. Все до мельчайшего нюанса. И он никогда не щадил себя. Конечно, из простого любопытства, как это сделал ты, он не стал бы присваивать себе переживания этого вездесущего очеркиста.

— У тебя еще хватает совести меня упрекать? Сам уговорил.

— Но ты разве об этом жалеешь? Седина — это пустяк. Она тебе идет.

— Вот мы с тобой тут спорим, а мой отец... Я боюсь за него. Вдруг не выдержит сердце?

— Выдержало! Смотри. Вон он идет.

Я оглянулся. По коридору шел мой отец с Евгением Сироткиным. Казалось, он помолодел. Глаза его блестели. Он улыбался. До меня донеслись его слова:

— Отличный аппарат, Евгений. Я получил большое удовольствие, совершив это путешествие.

Через неделю я с разрешения своего строгого отца перешел из лаборатории машинного перевода в лабораторию, которую возглавлял Евгений Сироткин. Теперь я мог в любое время соединить себя с Кумби, но я не делал этого. Пока не решался повторить рискованный опыт.

Вот уже два дня как мы с Колей Вечиным здесь, где прошло наше детство.

Лесное Эхо не изменилось. Изменились мы. В школе тот же самый директор, который не любил Алика. Мы спросили его:

— Где ваш знаменитый лирик? Нельзя ли послушать его стихи?

— Нельзя, — сказал нам директор строго и нравоучительно, словно мы были еще школьниками.

— Почему нельзя?

— Потому что педагогический совет нашел это безнравственным.

— Что? Поэзию?

Директор покраснел от гнева, но сдержался.

— Не поэзию. А профанацию поэзии. Ваш искусственный соловей был выброшен вместе с хламом.

— Я расскажу об этом своему отцу, — сказал я. — Едва ли он будет доволен тем, что вы выбросили подарок института, который он возглавляет. Мой отец не очень высокого мнения о...

— Для меня принцип дороже мнения вашего отца. А выбросив искусственного соловья, я поступил согласно своим принципам.

Мне не хотелось терять время и спорить с директором школы. Не легкий он был человек, хотя и жил в Лесном Эхе, в краю быстрых рек, тихих озер и лесных троп.

— Пойдем, Коля, — сказал я.

Но Колю так быстро не уведешь. Коля разгорячился.

— Тоже мне принципы — смотреть не вперед, а назад, — сказал он.

Наконец мне удалось увести Колю от обиженного директора.

— Меня не это огорчает, — говорит мне Коля, — пусть он остается при своем мнении, этот заскоружный антропоцентрист. Меня огорчает, что падает авторитет нашего института. Разве он бы посмел в прежние годы так говорить о твоём отце?!

— Не посмел бы.

— А почему все это? Потому что мы не можем расшифровать уазскую кванттелеграмму.

— Ну, довольно об этом, — говорю я. — Ты сейчас куда?

— Тут к одним знакомым. А ты?

Я промолчал, хотя и мог бы сказать, что иду в лес посмотреть любимые места. Но дело в том, что я шел не только для того, чтобы посмотреть знакомые места. Петляя среди сосен, елей, лиственниц и сибирских кедров, тропа вела меня к поляне, где обыкновенно гуляла Таня. Я не встречался с ней с тех пор, как кончил школу и покинул Лесное Эхо. Правда, после того я видел ее много раз, доставая из кармана подаренную мне пластинку с ее возникающим изображением. Я видел ее смеющееся лицо, живое и ускользающее, мимолетное, как секунда. Да, оно было как остановленное мгновение, вырванное из потока жизни. Всякий раз, когда я вынимал пластинку, я чувствовал, что все скользит и несется мимо меня и что Танино изображение играет со мной в жмурки, как любила играть Таня.

Я шел по тропе и, когда дошел до поляны, крикнул:

— Та-а-ня!

Откликнулось эхо.

Минуто спустя я не услышал, а скорей угадал чьи-то шаги.

— Это ты, Буонарроти?

Насмешливый голос Тани, а затем и ее смеющееся лицо — на этот раз не на мерцающей пластинке, а на самом деле.

Она стояла всего в двух шагах от меня.

— Ты изменился, Микеланджело. А я?

Я взглянул на ее лицо и фигуру, ища изменений. Но она была та же, словно прошел всего день, а не два года со дня нашей последней встречи.

— Да, ты осталась прежней. И даже платье то же самое на тебе. Ты, как дриада, живешь среди этих деревьев.

— Да, я живу среди деревьев. Я дочь лесничего. Я родилась здесь, в этом лесу. Прежде чем поселиться здесь, мой отец прожил несколько лет на Марсе. Ему снились земные леса, сосновые и еловые ветви.

Он скучал по Земле, но больше всего по ее лесам. И когда он вернулся на Землю, он поселился здесь вместе с моей матерью, родившейся на космическом корабле, выросшей на одной из больших станций солнечной системы и впервые увидевшей Землю и земные леса, когда ей исполнилось тридцать лет. Ее все называли здесь марсианкой. И она не любила леса, но жила здесь ради отца. Она боялась заблудиться в лесной чаще, а потом умерла, тоскуя по Марсу. Я осталась одна с отцом и братом... Отец мой встает всегда в одно и то же время — в четыре часа утра — и спешит в лес. Он любит рассказывать мне, как, живя на Марсе, он вспоминал земные деревья и реки. Но вот деревья и реки возле него, и все равно он по ним тоскует.

— А ты? — спросил я.

— Я? Я похожа на отца и на мать. Я люблю леса, но тоскую по Марсу, где никогда не бывала. А ты бывал?

— На Марсе? Нет.

— А на Венере?

Я засмеялся и ответил неуверенно и не сразу:

— На Венере, кажется, бывал.

— Кажется... Как ты сказал?

Она рассмеялась.

— Кому кажется? Тебе? Или должно казаться мне?

— Я бывал и не бывал.

Когда я сказал эту глупую фразу, я имел в виду Кумби, или, точнее, то состояние, в котором я тогда пребывал.

Таня смотрела на меня с таким выражением лица, словно догадалась о существовании Кумби.

— Так ты все-таки бывал или не бывал на Венере?

— Не бывал, — сказал я сердито. — Я оговорился.

— Допустим.

Затем ей, видно, стало жалко меня. Она улыбнулась.

— А помнишь Алика и его стихи? — спросила она меня.

— Директор сказал нам, что его уже нет.

— Там, в школе, его нет. Он у нас. Я нашла его и принесла к себе. Отец мой очень удивился, когда он

начал читать стихи. «Вещь, — сказал он мне, — и грустит. Странно». А я говорю отцу: «Талант может заставить грустить даже вещь». И теперь Алик живет у нас в лесу.

— Живет? Ты не оговорилась?

— Ты прав. Большею частью не живет, а пребывает, как все вещи. Но временами оживает, когда читает стихи. Он сочинил стихотворение о Марсе, превратив в слова мою мечту. А отец мой не может слышать о Марсе. Он говорит: «Там нет ни одного дерева, ни одного листа, ни одной травинки. Там пустота, населенная людьми, и там страшно душно». А здесь? Здесь много воздуха. Дыши, Микеланджело, дыши. Вбирай в легкие наш лесной воздух. Ты надолго приехал?

— Дня на два, на три.

— А зачем?

— Повидаться с тобой. Я все время думаю о тебе. Но наш институт далеко от твоих лесов. И вот теперь мне, наконец, удалось выбраться и прилететь.

— Значит, ты все-таки вспомнил обо мне?

— Вспомнил? Не то слово. Я все время думал о тебе. И когда оставался один, всегда смотрел на твое убегающее изображение. А ты еще спрашиваешь, вспоминал ли я?

— Я думаю, что вспоминал не ты, а искусственное вспоминающее устройство. Мне брат рассказывал, что в вашем институте ученые и инженеры работают над заменой естественной памяти машинной. Правда ли это?

— Правда. Через несколько лет они сделают ее.

— И, значит, через несколько лет вспоминать эти леса и меня будешь не ты!

— А кто же?

— Машина, которой ты поручишь это.

— Я никогда не поручу это машине! Никогда!

— А что же ты поручишь ей?

— Я ей поручу вспоминать все, что мне хотелось бы забыть.

— Машина обидится на тебя. Ведь ее создают для того, чтобы она могла остановить время.

— Но тебя ей не остановить. Ты всегда скользишь мимо меня даже в моих воспоминаниях. И вот сейчас я боюсь, что ты скажешь...

— Что я скажу?

— Что говорила всегда, встречаясь со мной: «Ну, пока! Мне надо идти!»

— Мне действительно надо идти, Микеланджело. Меня ждет отец. Я должна накрыть на стол... Мой отец не пользуется услугами роботов.

— Почему?

— Потому что они напоминают ему о его жизни на Марсе. Там все делали роботы. Без роботов там люди не смогли бы жить. А в лесу они не нужны.

— Но вы же взяли к себе Алика. А ведь он тоже робот.

— Он не робот, а поэт. Он лирик.

— И все-таки он робот. Он искусственное существо.

— Но стихи его безыскусственны. Они как звон и плеск воды в ручье, как свист лесной птицы. Почему это, Мика?

— Почему? Это надо спросить у моего отца. Он всю жизнь спорил со своими противниками и уверял их, что создаст искусственного лирика. И вот он создал его. И это почти чудо.

— Ты прав. Он наделен глубоким чувством. И сейчас он вместе со мной тоскует по Марсу. Мне хочется улететь из этих лесов. Но я не хочу покинуть отца. А он не может жить без этих деревьев и этих троп.

Я слушал Таню и вбирал в себя каждое мгновение, словно хотел остановить время. Но наступила минута, когда она сказала мне: «Прощай».

— Прощай, Микеланджело, — сказала она и скрылась среди деревьев.

— Прощай! — повторило лесное эхо.

15

Лабораторию проблем памяти, как я уже говорил, возглавляет Марина Вербова. Это очень красивая молодая женщина, чуточку похожая на греческую богиню. Но ей некогда думать о своей красоте. Одевается она просто и держится скромно, забывая обо всем, кроме своей работы.

Марина создала множество запоминающихся машин и полумашин-полуорганизмов. Насмешливые люди говорят, что Марина создала и самое себя, сначала вытесав фигуру богини из куска мрамора, а затем наполнив ее всяческой информацией на клеточном и молекулярном уровне.

Лаборатория, возглавляемая Вербовой, рядом с нашей, в одном здании. Но всякий раз, когда я захожу туда, я чувствую себя чуточку смущенным. Почему? Не знаю сам. Может, потому, что Марина Вербова похожа на ожившую и чем-то разгневанную статую.

Смущаюсь я и сейчас, хотя Вербова не видит меня. Она разговаривает с незнакомым мне старичком, одетым в давно вышедший из моды костюм и улыбающимся старомодной улыбкой.

Я невольно прислушиваюсь к их разговору и недоумеваю. Даже в этом мире чудес и парадоксов старичок кажется скорее осколком сна, чем действительности. Меня удивляют вопросы Марины, а еще больше — ответы старичка.

Марина (*со строгим видом экзаменатора обращаясь к старичку*). Какой день был десятого июля две тысячи восемнадцатого года?

Старичок. Четверг. Была бурная погода. Гремел гром. Лил дождь. Ненастье застало меня в лодке, когда я ловил рыбу. Я стал грести к берегу... Но пока добрался, весь промок до нитки.

Марина (*все еще строго*). Каким было двадцать третье января две тысячи двенадцатого года?

Старичок (*без всякой заминки*). Суббота. Утром было облачно, но к полудню погода прояснилась. Земля была покрыта снегом. У моей тети — тети Елены — болела голова. Соседский мальчик Володя похвастал: отец подарил ему новые коньки.

Марина. Пятнадцатого октября две тысячи пятнадцатого года?

Старичок. Вторник. Стояла хорошая погода. Я гостил у старшего брата в Сен-Клу. Накануне вечером играл в шашки. Одну партию проиграл. Две выиграл. Проснувшись среди ночи, долго не мог уснуть и ворочался с боку на бок.

Марина. Что вы делали семнадцатого августа две тысячи двадцать третьего года?

Старичок. Почти весь день провел, готовясь к экзаменам. Вечером пошел в гости к дяде, где собралось много знакомых и незнакомых людей. Ночью спал плохо, ворочался, был слишком возбужден от выпитого вина и от разговоров дядиных гостей.

Марина (*с интересом*). А четырнадцатого апреля две тысячи восемнадцатого?

Старичок (*смущенно*). Весь день кушал мороженое. Только мороженое.

Марина (*опять строго*). Почему?

Старичок. У меня в тот день вырезали гланды.

Марина (*недоверчиво и сухо*). Не ошиблись ли вы? Гланды вырезали в прошлом столетии.

Старичок (*обиженно*). Вы, кажется, вчера имели возможность проверить точность моей памяти. Она оказалась точнее календарей. В календарях были обнаружены опечатки. А моя память безупречна. Мне вырезали гланды по старинному способу. И я об этом никогда не жалел.

Я с таким недоверием и любопытством смотрел на старичка, что Вербова погрозила мне пальцем.

Когда старичок ушел, я спросил Вербову:

— А он настоящий?

— Что вы имеете в виду?

— Он рожден матерью или создан в лаборатории?

— Обычный человек, — ответила Марина Вербова. — Разумеется, во всем остальном, кроме памяти. Тут он феномен. Правда, он не первый, известный науке. В позапрошлом, девятнадцатом, веке жил такой же феномен. Некий Мак Картней из Пенсильвании. Мак Картней мог рассказать свою жизнь день за днем. Мой старичок ему не уступает. Он может восстановить в памяти не только каждый день своей жизни, но почти каждый час. Все его прошлое хранится в нем, как в хорошем архиве.

— А как зовут его?

— Кумби. Юлиан Матвей Кумби.

— Не может быть.

— Почему?

— Потому что Кумби... Так зовут искусственную экспериментальную штуку в лаборатории Евгения Сироткина.

— Я поругалась из-за этого с Сироткиным. Он бесцеремонно присвоил имя моего подопытного старичка для своей модели. Свинство! Не правда ли? Мой старичок — живой, до отказа наполненный живым прошлым человек, а Кумби Евгения Сироткина — биофизиомашина.

— А может, случайное совпадение?

— Простите. Я-то уж отлично знаю, случайность это или нет.

Я попросил у Марины Вербовой разрешения присутствовать во время ее бесед с памятливым старцем.

— Для чего? — спросила она.

Я не сумел ей ответить. И она, вероятно, подумала, что меня влечет к старичку любопытство. Но это ведь не так. Ведь, в сущности, не просто любопытство влекло меня заглянуть в недра чужого «я», на этот раз не искусственного «я», а «я» живого, неповторимо конкретного, улыбающегося старомодной улыбкой.

Казалось, старичок (мне даже мысленно не хотелось называть его Кумби) играл с временем, демонстрируя необыкновенное могущество своей памяти, свое необыкновенное умение спрятать впрок и сохранить во всей своей живости все, что навсегда утрачивают другие. Казалось также, что он был хозяином своей жизни и по своему желанию мог возратить почти каждое утраченное мгновение. Мне нравились быстрота и непринужденность, с какой он доставал со дна прошлого какой-нибудь факт, вдруг понадобившийся Марине.

16

Однажды я спросил Марину Вербову, почему ее так интересует старичок Кумби, мало ли на свете всяких феноменов и чудачков?

Марина ответила с исчерпывающей ясностью.

— Как вы знаете, Микеланджело, я изучаю человеческую память. Память, кроме всего прочего, — история личности. Отберите у человека память, и он из личности превратится в машину, в механизм. Челов-



век — существо не только природное, но и общественное. Память развивалась и менялась вместе с общественным, историческим и трудовым развитием человека. Это вещи простые, и объяснить их легко. Но сейчас мы поговорим о вещах более сложных и дискуссионных. Первое, о чем я спросила себя и природу, почему человеческий мозг хранит неизмеримо больше фактов, «записанных» нуклеиновыми кислотами, чем может использовать механизм памяти в продолжение человеческой жизни? Этот резерв словно говорит о том, что потенциальные возможности человека рассчитаны на гораздо больший отрезок времени, чем длительность человеческой жизни. Я спросила также себя, нельзя ли использовать этот резерв, этот запасник, это хранилище пропадающих без пользы фактов и событий? Человек меняется: когда-то он был хозяином маленькой планеты, сейчас он становится хозяином вселенной. Он обязан помнить гораздо больше, чем помнил в прошлом веке. Как воздействовать на мозг, чтобы все богатство памяти могло служить человеку и нужно ли это? Может, природа поступила правильно, держа в запаснике это богатство? Я стала искать ответа на все эти вопросы, имеющие огромное философское и прикладное значение. Когда-то я занималась нейрохирургией. А нейрохирурги не раз проделывали такой опыт. Они пропускали слабый электрический ток через те клетки мозга подопытного, которые ведают памятью, и человек начинал вспоминать то, что он забыл навсегда. Слабый электрический ток приводил в действие запасник, раскрывалась кладовая, как бы расширяя историю личности. Я работала, я искала способы, которыми можно было бы открыть эту кладовую. Но вот я познакомилась с Кумби. Он и его необъятная память словно говорили мне, что права не я, стремящаяся открыть кладовую, а природа, спрятавшая от человека его собственные богатства. Ведь на деле богатство Кумби оборачивалось бедностью, почти нищетой... Но ученый не страус, чтобы прятаться от всего, что противоречит его гипотезе. Я пришла к выводу: богатство Кумби оборачивается бедностью потому, что у Кумби нет согласованности в работе двух сигнальных систем, открытых еще в прошлом веке академиком Павловым. Факты, которые вспоминает Кумби, живут

оторванно от его эмоциональной и интеллектуальной жизни. Я пришла к выводу, что факт существования этого феномена вовсе не порочит мою гипотезу о расширении памяти. Вы спрашиваете, для чего мне нужен Кумби? Он нужен, чтобы понять до конца всю сложность проблемы... Если богатство Кумби оборачивается на деле бедностью только из-за несогласованной работы двух сигнальных систем, в чем я почти убеждена, значит я права: резервы памяти должны служить человеку. Но свою правоту я хочу проверить... Проверить однажды, дважды, трижды.

И действительно, Марина тщательно изучала психическую жизнь Кумби, записывала каждый факт с помощью услужливой машины, стоявшей рядом.

Гордился ли старичок тем, что мог возобновить и мысленно пережить любой утраченный миг своей не такой уж краткой жизни? Едва ли. Он вспоминал спокойно, почти бесстрастно, словно каждый факт был пронумерован, зарегистрирован и, обновляясь при своем появлении, отнюдь не обновлял и не освежал чувства вспоминавшего.

Кумби было не очень много лет, но думал и чувствовал он так, словно явился в наш век из далекого-далекого прошлого. Откуда выкопала его Марина? Как-то я не удержался и спросил ее об этом.

— Я разыскала его, — сказала она, — в самом провинциальном и отсталом уголке Земли, в тихом поселке, где жизнь текла не спеша, как вода в той ленивой речке, где мой Кумби ловил рыбу. Я застала его с удочкой в руке. Я подошла к нему, назвала свое имя. Постепенно у нас завязалась беседа. Как это любят старики, он стал вспоминать прошлое. Меня поразило, с какой конкретностью он рассказывал о своей юности. У меня не плохая память, но я не смогла бы так рассказать даже о вчерашнем дне. «Сегодня какой день?» — спросила я его. «Суббота». Я решила пошутить и спросила, что он делал в этот же день, то есть в субботу, ровно десять лет назад. Всего две минуты понадобилось ему, чтобы восстановить прошлое. Он рассказал мне, что ел и что пил в тот день, с кем и о чем разговаривал, описал погоду. Да, он при мне возвратил этот канувший в вечность день со всеми подробностями. Мне трудно было уговорить Юлиана Матвея

сесть в машину быстрого движения и лететь в наш институт. Но он, бедный, понял, что ему не отделаться от меня, и скрепя сердце согласился.

Сейчас он живет здесь при институте. И недоволен только тем, что поблизости нет реки. Он страстный рыболов, вроде вас, Микеланджело. Не составите ли вы ему компанию, а? Я боюсь отпускать его одного слишком далеко, да и вам будет полезно понаблюдать за таким феноменом.

— Согласится ли еще Сироткин? Я ведь теперь работаю в его лаборатории. А он не любит, когда сотрудники слишком часто отлучаются.

— Не беспокойтесь, с Сироткиным я договорюсь.

Можно ли отказать в чем-либо прекрасной Марине Вербовой? Я, разумеется, согласился. И вот я стал «тенью» Юлиана Матвея Кумби, настоящего, живого Кумби, а не того, кто, заимствовав чужое имя, пребывал в лаборатории Евгения Сироткина.

Сначала меня очень забавляло то не совсем обычное обстоятельство, что я с помощью Юлиана Матвея мог сунуть руку в прошлое и достать любой понадобившийся мне факт. Правда, не в свое прошлое я мог сунуть руку, но это казалось мне тогда не столь уж важным. Я задавал старичку вопросы, а он отвечал на них невозмутимо, просто и равнодушно, и нельзя было понять, доставляет ли ему это удовольствие или нет. Иногда мне казалось, что он, Юлиан Матвей Кумби, был совершенно чужд тому прошлому, которое хранилось в его бездонной памяти.

Расставшись с ним, я часто думал о нем. Ведь он имел прямое и непосредственное отношение к одному из самых загадочных явлений — к тайне времени. Он, Юлиан Матвей, да еще его предшественник Мак Картей, живший в XIX веке, обладали способностью носить все свое прошлое и при надобности восстанавливать его день за днем.

17

Время! Мой отец рассказывал о нем, когда я еще был ребенком, и я с любопытством смотрел, как движутся секундные и минутные стрелки на ручных часах, подаренных мне ко дню рождения. Отец расска-

зывал мне о древних людях, измерявших время с помощью солнечных, песочных, огненных и водяных часов. Он рассказывал о современных методах и приборах постижения вечно убегающего времени, методах, дающих возможность заметить движение материков и измерить неравномерность вращения Земли — какие-нибудь тысячные доли секунды в столетие.

Он рассказывал о молекулярных часах и часах атомных, которыми измеряют время космонавты.

Тогда шла речь о времени вне нас, людей, о физико-математическом времени, независимом от наших чувств. Но вскоре от своего отца и школьных учителей я узнал и о другом времени — о времени живом, субъективном, отраженном сознанием, о времени, неотделимом от человеческих чувств, о том времени, которое хранит человеческая память.

Память! Что это такое? Как устроен «аппарат», созданный эволюцией вместе с человеком и сделавший человека хранителем своего прошлого? Удивительный «инструмент», дарующий человеку власть над утраченным, соединяющий каждого из нас со всей прожитой нами жизнью, обогащающий наши чувства и участвующий в непрерывном создании того неповторимого, что называют личностью. Именно о личности, которую нельзя представить себе без памяти, то есть без истории ее становления, напоминали кибернетикам и инженерам философы, предостерегавшие их от крайностей и чрезмерных увлечений. Какой бы интеллектуальной и разумной ни была машина, умеющая вспоминать за вас и научившаяся «помнить» за все человечество, она не могла бы «вспоминать» за себя, потому что по всем принципам своего устройства она была бы начисто оторвана от своей собственной истории, у нее не могло быть ни детства, ни отрочества, ни юности, а ее зрелость была лишена становления.

Марине Вербовой удалось не только проникнуть в сущность человеческой памяти, но и найти способ ее наиболее полного воспроизведения. Это было одним из величайших открытий века.

В те дни, когда о великом открытии знали только сотрудники Института времени, в лабораторию доставили труп неизвестного, прибитого морской волной

на берег. Никто не знал ни его имени, ни его прошлого, ни его настоящего, прерванного так трагично. И вот Марина Вербова, вооружась всем, что она недавно узнала о сущности памяти, заставила «заговорить» мертвый мозг.

Молекулы клеток мозга, ведающих памятью, продиктовали исследовательнице все, что «записала» на них жизнь этого человека. Марине Вербовой удалось узнать не только имя, возраст, национальность, место рождения и профессию погибшего, но почти всю его биографию, причем биографию не только внешнюю, известную его родным и знакомым, но и биографию внутреннюю, интимную, хранившуюся в клетках мозга, тот способ, каким человек видел мир. Все известное Вербовой было записано с помощью специально созданного в лаборатории прибора. Таким образом, был найден способ хранения внутреннего духовного мира человека, его личности, хотя оболочка, нервы и чувства погибли.

И самое удивительное, что Марина Вербова и ее помощники знали об этом умершем человеке гораздо больше, чем знал он сам о себе, когда был жив, потому что перед ней открылось и то, что человек в обычном состоянии не мог вспомнить.

Модель внутреннего духовного мира этого человека, модель психического поля, хранилась в одной из многочисленных комнат лаборатории проблем памяти. Ключ от этого хранилища Вербова всегда носила с собой и никому не разрешала общаться с тем, кто как бы продолжал пребывать среди нас, одновременно отсутствуя и растворяясь в бесконечном. Человека не было, но жила его память. Для иллюзии Вербова восстановила и его голос, чего, может быть, не следовало делать.

Журналисты и торопливые популяризаторы новых научных идей и открытий в свое время много писали об этом, пока Вербова не опубликовала статью, в которой опровергала все сенсационно преувеличенное и ложное, что просочилось в прессу, телевидение, радио и квантовую связь.

Во всей солнечной системе — на всех населенных ее планетах и космических станциях — много говорили об этой статье, написанной женщиной, имя которой

историки науки ставили в одном ряду с Коперником, Ньютоном, Эйнштейном, Вернадским, Дарвином, Григорьевым, Чен Ли, Янагавой, Мамедханлы и Ткаченко.

Журналисты и торопливые популяризаторы хотели уверить всех непосвященных, в том числе и самих себя, что в лаборатории хранился живой человек, а не модель памяти исчезнувшей личности, слившаяся со специально созданным для этого кибернетическим прибором.

С необычайной ясностью и безупречной логичностью Марина Вербова изложила суть дела и отделила истину от всех наслоений. В этой интересной и глубокой статье она дала развернутое материалистическое обоснование своей теоретической и экспериментальной работе. Она дала остроумный и исчерпывающий ответ на вопрос о том, что такое память и какую роль играют нуклеиновые кислоты в хранении «прошлого», кислоты, известные своей беспримерной устойчивостью. Она поведала миру много нового о малоизученной деятельности этих феноменальных кислот, а также о том «запаснике» в клетках мозга, где хранится невообразимое количество отраженных сознанием фактов и событий, резервированных и неиспользованных в сознательной жизни индивида.

Она подробно рассказала и о том, как удалось «записать» память погибшего. Это была не простая электронная запись, а искусно созданная модель, почти точное воспроизведение работы мозга, тонкой и точной работы нуклеиновых кислот. Она не забыла также написать все цепочки молекул тех высокомолекулярных соединений и чувствительных кристаллов, с помощью которых она воспроизвела невозпроизводимое.

Забыла Марина упомянуть только об одном: для чего она так точно воспроизвела голос погибшего, смоделировав голосовые связки, живую и неповторимую интонацию?

Когда я спросил ее об этом, она улыбнулась и, в свою очередь, спросила меня:

— Вы что любите больше — схему или жизнь?

— Жизнь, — ответил я.

— Я тоже больше люблю жизнь, чем схему.

На узком самолюбивом лице Евгения Сироткина ироническая улыбка.

— Послушайте, Петров, — говорит он мне. Он мог бы сказать не Петров, а Микеланджело, как называют меня все знакомые сотрудники Института времени. — Послушайте, Петров. Мне бы хотелось знать, в чьей же лаборатории вы работаете: в моей или в лаборатории Вербовой?

— В вашей.

— Это думаете вы. А я думаю, что вы только числитесь. Где вы опять пропадали целых два дня?

— Ловил рыбу на Карельском перешейке.

— Так. И много поймали?

— Немного больше, чем Юлиан Кумби.

Кумби феномен, это я понимаю. Но все же вы не должны забывать о своей работе.

Какая муха укусила Сироткина? Раньше он абсолютно не интересовался моей персоной. Он терпел меня из уважения к моему отцу. А тут можно подумать, что из-за моего двухдневного отсутствия оставилась вся работа в огромной лаборатории, где десятки сотрудников.

Евгений Сироткин явно чем-то расстроен. Но в конечном счете он прав. Последние две недели я проводил либо ловя рыбу с Юлианом Матвеем, либо присутствуя в лаборатории Марины Вербовой.

Феномен-старичок все еще поражал меня ненасытной точностью своей памяти. Правда, беседы наши были чуточку однообразны.

Я (*подражая Вербовой, строго*). Что вы делали девятнадцатого июня две тысячи тридцать второго года?

Он. Утром съел яйцо всмятку и творожники со сметаной. Пил кофе. В обед скушал холодный борщ и пожарские котлеты с морковью. Поужинал скромно, чтобы не видеть тяжелых снов...

Хотя я часто виделся с отцом (мы жили вместе), он редко разговаривал со мной. Занятый загадочной Уазой, весь без остатка погруженный в свои мысли о ней, он, казалось, не замечал меня.

Меня очень удивило, когда он за завтраком вдруг с любопытством посмотрел на меня и, усмехаясь, спросил:

— Ну, как поживает твой Юлиан Матвей?

— Здоров, — ответил я, — ловит рыбу. Вспоминает...

— А ты хоть записываешь, что он говорит?

— Иногда записываю, иногда — нет.

— Записывай, не ленись. Я тебя очень прошу.

— Но он чаще всего вспоминает всякие пустяки: меню, дожди и снегопады. Это же неинтересно.

— Зато он сам интересен.

— Марина мне говорила. Но я думал, что им интересуются только она, да и то в связи с той задачей, которую она решает.

— Я тоже интересуюсь этим старичком.

— Надеюсь, не в связи с расшифровкой уазской телеграммы?

— Отчасти и в связи с ней.

— Мне это непонятно. Не думаю, чтобы уазцы походили на этого странного старичка и занимались воспоминаниями о том, что они скушали в течение длинной жизни.

— Я тоже этого не думаю.

— Тогда объясни, пожалуйста.

Отец взглянул на часы.

— Постараюсь это сделать, хотя очень спешу... Гипотетические уазцы, — пока они еще, к сожалению, гипотетические, — как я предполагаю, обогнали нас в своем развитии если не на миллионы лет, то на многие и многие тысячелетия. Их психическое поле должно быть гораздо более мощным, чем наше. А память? Она тоже должна быть иной, более емкой. Раз они обогнали нас, они должны жить в более сложном мире. Если мы должны носить в своей памяти все, что произошло с нами, начиная с палеолита... я имею в виду

историю, время... и помнить все, что происходит на Земле и за пределами солнечной системы, то освоенный ими мир гораздо шире нашего и во времени и в пространстве...

— Но ведь помним не только мы, — перебил я отца, — за нас «помнят» книги, кинофильмы, запоминающие устройства...

— Книжки, фильмы и электронные устройства только продолжения нашей памяти. Мы знаем и помним неизмеримо больше, чем люди минувших эпох. У меня нет времени развивать дальше эту мысль. Она не так уж сложна. Кумби своим примером подтверждает, что память такая, как у него, бесполезна, она не обогащает, а скорей обедняет. Несогласованность в работе двух сигнальных систем. Болезнь, отсталость, слабое развитие интеллекта... Но представь себе существо не только с емкой памятью, но и с огромным интеллектом. Память служит этому интеллекту, служит познанию... И обе сигнальные системы работают идеально...

В глазах отца появился блеск. Он словно помолодел.

— К сожалению, у меня нет времени мечтать. Меня ждут в институте. Но часто, очень часто я представляю себе уазца, существо огромного интеллекта и необыкновенно емкой памяти, памяти, в которой это существо носит огромное богатство... Целые миры, галактики с их бесчисленными звездами... Как мне хотелось бы встретиться с таким существом и побеседовать с ним. Много бы я отдал за то, чтобы провести вместе с ним хотя бы час.

— А это возможно?

— По теории вероятностей да, Мика, — ответил отец, — но это случится не скоро. А пока изучай память и почаще навещай своего старичка.

Я почти ежедневно виделся с Юлианом Матвеем. Старичок поселился в институтском городке, недалеко от того дома, в котором жила Марина Вербова. Две ничем не примечательные комнаты, полки с книгами, старинная кровать и клетка с певчей птицей — вот и все, если не считать робота-щетки, чистившей платье старичка и наводившей в комнатах порядок.

Никаких вещей, напоминавших о прошлом, никаких следов былого и утраченного, но это и понятно. Все прошлое Юлиан Матвей держал в своей бездонной памяти.

Я заинтересовался книгами, чтобы познакомиться с интеллектуальными интересами их владельца.

Я взял первую попавшуюся книгу и, раскрыв ее, изумился. Мой взгляд скользил по чистой странице, на которой не было ни одного знака, ни одной буквы. Я подумал: «Бракованное издание, небрежная работа типографии и издательства», — и перевернул страницу. Следующая страница тоже была девственно чиста. Тогда я взял другую книгу и раскрыл: то же самое, ни одной буквы, страницы безмолвствовали, наполняя мое сознание слепой, бездушной тишиной. Юлиан Матвей стоял у окна спиной ко мне.

Я. Юлиан! Почему в ваших книгах чистые страницы?

Старичок. А зачем мне слова? Я читаю не книги, а то, что жизнь написала сама. Я помню то, что не вспомнит ни одна книга.

Я. А зачем же они стоят здесь на полке?

Старичок. Я иногда раскрываю их.

Я. Для чего?

Старичок. Это иногда помогает, когда не можешь что-нибудь вспомнить.

Я. А разве с вами случается, что вы не можете вспомнить того, что хотите?

Старичок. Редко. Не чаще чем раз или два в год. И вот тогда помогает чистая страница.

20

Прошло полгода с тех пор, как я познакомился с Юлианом Матвеем, полгода, в течение которых со мной изо дня в день беседовало его прошлое. И вот Марина сказала мне, сказала неожиданно, без всякой предварительной подготовки:

— Микеланджело, хотите побывать в той части лаборатории, ключ от которой я ношу с собой?

— Хочу ли? — ответил я. — Все хотят. Но там,

кажется, никто не бывал, кроме вас, Евгения Сироткина и моего отца?

— Ну что ж, вы попадете туда позже нас, но раньше тех, кто попадет туда не скоро. Чужое «я», с которым вы познакомитесь, достойно уважения. Вы узнаете, что такое человек, настоящий человек, ваш современник.

— Юлиан Матвей тоже человек.

— Условно говоря, да. Но в нем память вытеснила все остальное и превратила его почти в механизм из-за несогласованной работы сигнальных систем.

Она подвела меня к таинственным дверям и достала ключ.

Мне стало не по себе. Сердце тревожно билось. Состояние такое, как бывает во сне.

Мы вошли в помещение, где стоял всего один аппарат. Это и была «память» погибшего человека, «записанная» Мариной Вербовой.

Марина включила аппарат и приобщила меня к жизни этого человека, которого я никогда не видел, но полюбил. Его не было в живых, но его мысль и чувства, замоделированные Вербовой, были рядом.

Рассказ его был прост и бесхитростен.

«Я родился в космическом корабле, но узнал, что такое мир, уже на космической станции в окрестностях Венеры, где началось и продолжалось мое детство. Маленькая станция, окруженная пустотой, искусственная металлическая планетка, где нет ни рек, ни озер, ни деревьев, ни облаков.

Первое, не сфотографированное, а настоящее облако я увидел на Земле, когда, наконец, попал туда. Оно плыло в синем небе. Над космической станцией не было неба. Она висела и крутилась в вакууме, в пустоте. Да, наконец-то я стоял на Земле.

Здесь я услышал журчанье первого ручья, свист и щелканье первой птицы, в горлышке у которой сидело лесное звенящее, поющее чудо. Птица своим звоном и свистом хотела что-то поведать мне, поведать нечто более простое, громкое и чистое, чем могут передать слова. Для меня все было как первый раз, словно Земля с ее лесами и водами только что возникла.

— Володя, — сказал мне отец, — ты зря так быстро снял маску. Здесь слишком много кислорода от лесов. Он пьянит, нужно привыкать понемножку.

Я сразу привык к Земле. Я стоял, крепко опираясь ногами на нечто большое, прочное. Я дотронулся рукой до дерева и сквозь шершавую кору почувствовал внутреннее тепло, жизнь и дрожь. Я обнял дерево, словно это был человек. Я дышал. Еще никогда до того дыхание не доставляло мне такого удовольствия. Вместе с кислородом я вдыхал настой хвои, запах трав и лесных цветов. Я долго смотрел, как текла река. Она неслась по камням, легкая, живая и прозрачная, вся звон, биение, плеск и свежесть. Я наклонился и, зачерпнув из реки воду сложенными вместе ладонями, стал пить. Мне казалось, что в раскрытых ладонях у меня вся река — живая, быстрая, студеная и скользкая. Как ее удержать, не упустить? Впервые я пил воду из ладоней. Ее было бесконечно много — живой, холодной, обжигающей горло воды, река несла ее тысячи лет все с таким же шумом, звоном и щедростью.

Да, щедрость — именно это слово вертелось на кончике моего языка. Земля была бесконечно щедра, как эта река. На ней было всего много — травы, ветвей, воды, воздуха и еще чего-то, чего не хватало, так не хватало на космической станции, окруженной бездной и вакуумом!

Не кислород, настоящий на запахе хвои и трав, а эта щедрость пьянила меня. Я шатался как пьяный от ощущения чудесного избытка, от той доброты и тепла, которые буквально струились из каждого дерева, из каждой ветки. Пролетела пчела и села на цветок. На космической станции не было пчел, не было цветов и не было ветвей. И вещи были холодны и бесчеловечны.

— Володя, — сказал мне отец, — не пей так много. Вредно. Нужно понемножку привыкать. На станции мы экономили воду.

— Здесь вода хороша. Я никогда не подозревал, что вода может быть такой вкусной. Она течет, несет по камням неведомо куда и откуда.

— Ты сказал глупость. Ведомо! Даже очень ведомо! Посмотри на географическую карту местности.

Вот сюда! Здесь, в горах, она начинается и впадает вот сюда. Смотри!

Я посмотрел на карту, но это не доставило мне никакого удовольствия. Сколько раз я смотрел на карту материков и океанов Земли, живя вдали от нее на космической станции, и думал, что я имею представление о Земле! Нет, Земля походила на карту не больше, чем человек на свой костюм, на свою форму, скроенную портным по мерке.

Земля! Я мысленно повторял это слово с такой же ненасытной жадностью, как вдыхал воздух, настоящий на пихтовых и кедровых ветвях, как пил воду из ладоней. И не удивительно, что, закончив школу, из всех существующих профессий я выбрал ту, что связана с Землей. Я стал геологом. И я думал, что никогда не разлучусь с Землей.

Ту, о которой речь пойдет впереди, я встретил не в геологической партии, а в большом городе, в доме, где жили мои приятели. У нее было простое и очень земное милое имя Зоя. Встреч было много, очень много. И я думал, что никогда не расстанусь с ней, как не расстанусь никогда с Землей. Первая большая разлука произошла через год. Зоя отправилась в космос, отправилась по делу. Она пробыла там долго, и я ждал. Я ждал ее и дождался. Она пребывала тут, рядом, и это было удивительно. Я мог протянуть руку и дотронуться до Зои, а еще недавно между нами лежало космическое пространство со своим вечным холодом, близким к абсолютному нулю. Но вот пространство выпустило ее, или, точнее отпустило. Она была здесь, вся смеющаяся, быстрая, чуточку нетерпеливая, и только рассказы и воспоминания уносили ее туда, в холодную бесконечность. Она была здесь со мной, на Земле. И я понимал, что Земля без нее — это все равно, что Земля без облаков, озер, лесов и лесных троп. Я смотрел на нее, и мне казалось, что в ее облике и в ее смеющемся лице странно и чудесно слилось все человечество. Она и есть люди, а люди и есть она. И я смотрел на нее, словно впервые увидел человека, женщину во всей ее неповторимости и красоте.

О чем мы говорили с ней? Не помню. На ее лице я стал иногда замечать выражение неудовольствия и

нетерпения. Ей нужен был я и весь мир. Мне в эти минуты нужна была только она, она одна.

И вот однажды она не пришла. Я думал, что она заболела. На другой день я узнал, что она не пришла ко мне по другой причине. Из всех причин она меньше всего поддается пониманию, потому что она относится к тем явлениям, с которыми имеет дело не столько разум, сколько сердце. Мой разум мог объяснить мне, почему она разлюбила меня и полюбила другого, но чувства все равно продолжали спрашивать — почему? Ведь она недавно еще любила меня, за это время я не стал глупее, бессердечнее. Я остался таким, каким был. И все же это случилось.

Она страдала не меньше меня и иногда заходила ко мне. На ее лице я видел жалость. Это меня оскорбляло, и мы расстались».

Наступила тишина. И Марина сказала мне:

— На сегодня хватит.

Мы вышли. И она закрыла дверь на ключ.

21

Прошла неделя.

Я снова с волнением слушал продолжение рассказа Володи.

«Вакуум! Мне слишком рано удалось узнать, что это такое. И только на щедрой, доброй, красивой Земле я забыл о нем. Но после того как ушла от меня Зоя, я решил покинуть добрую, щедрую Землю. Меня по моей просьбе отправили на Марс вместе с геологической экспедицией. Помощник начальника экспедиции, энергичный и расторопный человек, заранее позаботился обо всем. Он захватил с собой не только все необходимые продукты, но и грохот речных перекаатов, шум водопадов, лепет березовых роц, свист и пение птиц. Он захватил с собой шепот влюбленных, детский смех, грохот морских волн, набегающих на песчаный берег, «снятых» с помощью электронно-оптических и акустических аппаратов.

Он был весь наполнен, туго, до отказа набит земной веселой жизнью, этот толстенный человек, умудрявшийся суетиться там, где отсутствие земного притяжения, казалось бы, должно было ему напомнить о

том, что пора бы и остепениться. Его звали Лодочкин, Сергей Лодочкин. Он был родом из древнего и веселого города Одессы. И он умел рассказывать смешные и забавные истории.

Глядя на Сергея Лодочкина, я думал: «Как он похож на Землю, эту веселую, щедрую и чуточку легкомысленную планету». Вероятно, так же думали и другие участники экспедиции, слушая смешные истории возле перегородки, отделявшей нас от бездушной и страшноватой бездны, от ничто. Своими смешными историями веселый одессит пытался победить ничто, уговорить и заворожить страшную бездну за перегородкой.

Сергей Лодочкин помог нам скоротать время. Он был дотошен, и ни одна вещь не утратила своих земных свойств, оказавшись вместе с нами на Марсе.

Забегаю вперед, я напомним один эпизод из моей жизни астрогеолога. Однажды в песчаной, безводной и безатмосферной пустыне, где я блуждал, разыскивая товарищей по партии, я вдруг услышал голос кукушки. Он напомнил мне не только о запасах Лодочкина, но и о том, что, кроме песчаной пустыни, существует еще другой, бесконечно более прекрасный мир. Изумленный, я ловил эти земные, лесные ясные звуки, думая, что это галлюцинация, что меня обманывает слух.

«Ку-ку! Ку-ку!»

Голос кукушки доносился до меня будто с Земли, из ее еловых, сосновых и березовых лесов, преодолев расстояние в несколько сот миллионов километров.

«Ку-ку! Ку-ку!»

Ее голос словно играл со мной. Он был здесь и далеко, рядом и нигде. И в эти минуты я забыл о том, что стою на мертвом, холодном песке марсианской пустыни, затерянный в бесконечности. Голос кукушки принес мне запах лесов, земную щедрость и доброту».

22

«Я никогда не думал много о себе. Меня всегда остро интересовало то, что было вне меня: люди, вещи, явления, события. Я готов был даже простить людям пошлость только за то, что они люди. Помню, как Ло-

дочкин, то плавая, то висая в безгравитационной среде несущегося космолета, убеждал нас:

— Будьте внимательны к еде. Ешьте то, что полезно. Я все учел, все. Счастливые крысы умеют синтезировать в своем организме аскорбиновую кислоту. Морской свинке и человеку природа отказала в этом. Мы вынуждены принимать витамины вместе с пищей.

И он начинал перечислять все сорта продуктов и все виды витаминов, которые он везет с собой.

Сергей Лодочкин! Он стал только воспоминанием. Его уже нет в живых. Марс, его отнюдь не щедрая к людям суровая среда расправилась с Сергеем раньше, чем с другими. Сергей Лодочкин, по его собственному выражению, отдал концы. Мы похоронили его в холодном марсианском песке, который не смогло бы согреть даже земное горячее солнце. Вот солнца-то и не догадался захватить этот бесподобный администратор. Да и как доставишь его на Марс с Земли? Оно слишком большое и слишком щедрое. Новый администратор Карл Шмидт, хотя и не был таким щедрым, как Лодочкин, тоже умел посмеяться и пошутить:

— Опять вдыхали запах мяты и черемухи! Опять слушали крик петуха! Надо экономить! Куда это годится! Перерасход. А Земля далеко. Быстро сюда не доставишь.

Шуткой он хотел облегчить нашу вину, а заодно и свою жизнь.

Нет, не легкая жизнь была на Марсе, где всего не хватало: и воздуха, и тепла, и воды. Воздух, вернее — земную биосферу, мы носили с собой, разумеется, в тех размерах, которые были нам по силам. Биосферу в миниатюре. Человеку нужна среда, так же как и животному. Но животное, передвигаясь, не может захватить с собой необходимый ему мир, а человек может. Мы передвигались, разыскивая полезные ископаемые, и вместе с собой несли все необходимое — воздух, воду и пищу.

Избаловал нас покойный Сергей Лодочкин. Отправляясь в маршрут, мы думали не только о воздухе, воде и еде, мы старались захватить с собой и то, что нужно не только для желудка и дыхания.

Как-то я сказал Карлу Шмидту:

— И соловьиного пения тоже подкинь. Иногда доставляет удовольствие.

— Ишь чего захотел! — рассмеялся Карл. — Свист. А зачем он тебе?

— Нужно.

— От этого продукта больше вреда, чем пользы. Я с врачами советовался. Говорят, действует на нервы, заставляет тосковать по Земле.

— А почему же немножко и не потосковать? Иногда это бывает даже необходимо.

Меня сопровождали три робота: Биль, Джек и Ле-Рой.

Джек и Биль — роботы как роботы: аккуратные, исполнительные, дисциплинированные. А с Ле-Роем было не так просто. Уж не нарочно ли мне подсунул администратор Шмидт эту упрямую машину с большим дефектом в программе? Ле-Рой выделывал всякие штуки: вдруг исчезал неведомо куда, отлынивал от работы. Создавшие его конструкторы, по-видимому, не без умысла включили в его программу то, что никак не вязалось с сущностью автомата, — лень. Робот-лентяй — это нечто неслыханное и непредусмотренное. Лень-то и делала Ле-Роя более человеческим, чем ему полагалось. У Били и у Джека не было никаких недостатков. И, может, поэтому мне было с ними скучно. Ле-Рой же своей ленью и медлительностью иногда меня развлекал. Он любил поваляться — странная привычка у автомата. Как его только пропустила комиссия, отбиравшая вещи на Марс?

Да, лень и неповоротливость. Я был рад им, как подарку. Иногда Ле-Рой выводил меня из себя. Но и в этом было нечто человеческое и человеческое. На Били и Джека невозможно было сердиться. Это были вещи точные, исполнительные. Никогда не ошибающиеся вещи. Но я слишком много говорю о вещах.

У них не было ни щек, ни ушей, ни глаз. Но спины у них были совершенно человеческие — дань, отданная современной техникой отнюдь не современному иллюзионизму. Иногда я шел нарочно позади них, обманывая себя. Казалось, впереди меня идут люди. Я не один. В каждой спине есть нечто характерное. У них тоже были характерные спины. Но самая характерная спина была у Ле-Роя. Его спина соответствовала его

характеру. Это была спина лентяя, которому не терпится скорее присесть или прилечь.

Ради щедрой, доброй Земли и ради людей я прибыл сюда, на Марс. Я знал, что встречу здесь с трудностями. Но пока я не жалел об этом. Я делал свое дело. Роботы помогали мне. Без них я не мог бы сделать ни одного шага. Они несли на себе тот кусок земной биосферы, тот маленький островок, без которого я не смог бы прожить здесь ни одной минуты. Мне нужен был кислород, вода, пища, тепло. Только тут на Марсе да еще на космической станции можно было со всей остротой почувствовать железную силу детерминизма, связь живого организма со средой. На щедрой, доброй, красивой Земле человек забывал, что он, кроме всего прочего, еще и организм».

Наступила пауза. Марина вошла и выключила «память».

— Не сердитесь, Микеланджело, — сказала она, — на сегодня довольно. Дайте ему отдохнуть, а заодно и себе.

— Ему? Разве он... Он ведь не существует как личность, не правда ли?

Марина рассмеялась не совсем кстати.

— И существует и не существует. Но не в этом дело. А личность ли он? Вот это мы и хотим узнать. В какой мере оторванная от человеческого организма память может сохранить что-то от личности? Организм как целое — это ведь тоже интересная проблема.

— Меня в нем интересует не организм, а человек.

— Меня тоже, — сказала Марина.

23

Астрогеолог Володя называл нашу планету щедрой, доброй Землей. Но ведь не всегда она была такой щедрой и доброй, ведь такой ее сделал человеческий труд.

И вот на днях я узнал, что люди собираются сделать добрым и щедрым неуютный, холодный Марс. Коммунистическое общество приняло решение создать на Марсе атмосферу и биосферу.

Пройдет несколько десятилетий, и люди, работающие на Марсе, не будут терпеть те суровые лишения, которые испытал астрогеолог Володя.

Где бы я ни появлялся, везде я слышал о Марсе и о том, каким он станет через двадцать-тридцать лет. Об этом говорили пассажиры в машинах быстрого движения, пешеходы на улицах, строители, создающие жилища и экспериментальные институты, люди, прогуливающиеся в парках и садах. Даже в усталых глазах стариков, смотревших на мир сквозь призму большого житейского опыта, я заметил юношеский блеск энтузиазма. Старики, вероятно, завидовали тем парням и девушкам, чей возраст и чьи свежие силы позволяли надеяться на то, что они примут участие в переделке природы Марса.

В нашем институте тоже все говорили об этом смелом решении, обсуждали проект и план работ, принятых Советом коммунистического общества Земли. Все сотрудники института хотели активно включиться в работу по перестройке Марса. Но Совет коммунистического общества распорядился иначе. Мой отец и другие руководители института получили указание продолжать исследования, связанные с расшифровкой узского послания, а марсианской проблемой должны продолжать заниматься только те лаборатории, которые имели необходимый опыт. Таким образом, Уаза и узцы продолжали быть в центре внимания сотрудников нашей лаборатории.

Так как грамматики и логики встретились с загадкой узского мышления, научное руководство института избрало сложный путь ее решения. Мой отец считал: то, чего не сумела решить математическая лингвистика, сумеет решить гипотетическое моделирование странного мышления и видения узцев. Это было дело настолько необычное, что оно стояло на грани фантастики, а иногда и за ее гранью.

Теперь я часто видел своего отца в лаборатории Сироткина. Оба они — Сироткин и мой отец — подолгу о чем-то спорили.

Лаборатория работала напряженно. Все занимались поисками, от заведующего до уборщицы. Иногда появлялся беллетрист и фантаст-психолог Уэсли второй.

Мой отец упорно называл его Уэсли-младшим или просто младшим.

— Ну, что принесли, младший? — спрашивал этого франтоватого и молодящегося человека мой отец. — Выкладывайте свое кредо.

Уэсли второй принимал участие в работе над созданием личности нового Кумби, своеобразного и причудливого чужого «я», приближенного к гипотетической среде, странной и небывалой среде, где преобладает одушевленное над неодушевленным.

Мой отец и верил и не верил в эту затею.

— На старости лет, — ворчал он дома, — стал антропоцентристом! Даже и того хуже, почти виталистом! Может ли быть одушевленной, то есть живой, среда? Абсурд! В том и сущность всякой среды, в единстве с которой живет организм, что она мертвая, иначе бы она перестала быть средой. Правда, существуют в земной природе организмы, которые живут среди организмов. Их среда действительно живая. Но это паразиты! Не могу же я допустить, что уазцы — это организмы среди организмов. Двойной абсурд.

— Если абсурд, то для чего же вы с Сироткиным создаете это странное «я»?

— А для того, чтобы доказать, что это абсурд. Евгений Сироткин... Он увлекающийся человек. Его настолько увлекла эта идея, что, находясь в пути, он почти не думает о конечной цели своего движения вперед. Его интересует не столько Уаза, сколько возможность создать еще одно «я», не похожее на все другие «я», живые и искусственные. Он прежде всего кибернетик, конструктор и инженер. А проблема Уазы отнюдь не только инженерная и кибернетическая.

Уаза! Она у всех была на кончике языка. Про нее сочиняли юмористические стихи, рассказывали анекдоты. И каждый представлял ее себе не такой, какой представляли другие.

Я помню, как Уэсли второй, этот удивительный человек, сделавший своей профессией склонность к вымыслу; рассказывал нам о том, какой он представляет себе Уазу. Нет, это больше походило на сказку, чем на трезвую и обыденную реальность. Этот писатель, психолог и фантаст, как он самоуверенно и откровенно

признался нам, в сущности, не в силах был оторваться от собственной личности, собственных привычек, собственных переживаний, и, экстраполируя Уазу, он мысленно перенес самого себя на эту странную планету. И вот им, Уэсли вторым, человеком земным, хотя и пишущим о внеземном и далеком, овладели страх и даже ужас от одного сознания, что вокруг него все живое, что под ногами у него организмы и все вокруг живет, дышит, а значит, и чувствует.

Он долго занимался экстраполяцией, пока не кончилось терпение моего отца.

— Неужели вы не можете оторваться от самого себя, от собственных и сугубо личных переживаний, взглянуть на гипотетический мир Уазы не лично из себя и даже не из человека вообще, а как бы посмотреть на все глазами гипотетического уазца?

— Простите, я писатель, человек, житель Земли, а не уазец. Я могу...

— Не только можете, но должны освободиться от субъективизма. Вы говорите: страх, ужас. Чепуха! Уазцу, выросшему на своей планете, не придет в голову такая блажь — бояться своей собственной среды, живая она или не живая.

— А эмоции?

— У них другие эмоции, чем у нас. Человек — это эволюция, осознавшая самое себя. Уазец — это тоже эволюция, овладевшая сознанием. Но там была другая эволюция, чем у нас. И перед нами встает вопрос: может ли быть мышление, построенное на других законах, чем наше? Вот над этим мы и бьемся. Вы говорите: страх, ужас. А может быть, они вообще не имеют понятия о том, что такое страх. Может, этого слова нет в их словаре.

— Могу допустить это, но только в том случае, если они бессмертны, — вмешался в спор Евгений Сироткин.

— А откуда мы знаем, смертны они или бессмертны? Если они обогнали нас на миллионы лет, то, наверное, они нашли способ предохранить наследственную информацию от порчи. Если они овладели этой тайной, то слово «страх» для них звучит так же, как для нас слова «табу» или «групповой брак». Этим занимаются их историки первобытного мышления.

Почти все сотрудники лаборатории пытались представить себе среду, в которой жили гипотетические уазцы, и только я один не столько думал о далекой и загадочной Уазе, сколько о человеке, пребывавшем вне времени и пространства и все-таки оставшемся человеком. Я часто, слишком часто открывал уже переставшую быть таинственной дверь, ключ от которой Марина Вербова доверяла только мне.

И все же я пропустил целых два дня. Мне хотелось повидаться с Таней. Машина быстрого движения доставила меня в Лесное Эхо. Но сколько я ни кричал в лесу, ни звал Таню, она не откликнулась. От ее брата я узнал, что отец их умер и Таня покинула Лесное Эхо и отправилась на Марс.

Встречусь ли я когда-нибудь с ней? Солнечная система не велика, и всегда можно разыскать человека, который тебе нужен, если и ты нужен ему. Но был ли я нужен Тане? И почему, отправившись на Марс, она даже не известила меня об этом?

И хотя Таня отправилась на Марс, как сообщил мне ее брат, я искал ее на Земле. Я не верил, что она улетела надолго.

Я искал ее везде, куда приводило меня мое нетерпеливое желание скорее ее увидеть. Идя по улице, я оглядывался. Казалось мне, сейчас она выйдет из-за угла, появится внезапно, как она любила появляться в своем лесу, и вновь исчезнет.

Я ждал этой встречи. И как я ни был нетерпелив, я готов был ждать годы и даже десятилетия.

Мир был прекрасен. Его своеобразие и прелесть я ощущал со всей силой и свежестью своего юношеского восприятия. Я видел эту красоту и замечал ее повсюду: на лицах девушек и юношей, идущих по улице или состояжающихся в бегах и плавании, в выражении глаз стариков, выдавших многое из того, чего не видел я и никогда не увижу, в ласковой улыбке матерей, гуляющих с детьми в больших садах. Но в этом прекрасном мире мне не хватало самого существенного — Тани. Я искал ее, ее смеющееся лицо, ее насмешливый рот и быстрые, сильные ноги, всегда готовые унести ее от меня.

Иногда я просыпался ночью и включал оптический приближатель, надеясь увидеть ее лицо на экране

среди многих лиц хроники марсианской жизни. Я справлялся о ней во всех справочных — городских, континентальных и межпланетных. Но она словно на всех надела волшебные очки, делавшие ее невидимой, как это она проделала со мной в лесу на тропе.

Но вот однажды, когда я уже стал терять надежду, меня известила межпланетная оптико-акустическая станция, что в двенадцать часов ночи со мной будет разговаривать Марс. Да, мне так и сказал женский голос:

— Микеланджело Петров? С вами будет разговаривать Марс.

Старинное и смешное профессиональное выражение связистов: «С вами будет разговаривать Марс». Как будто действительно со мной собирается разговаривать планета.

До двенадцати осталось почти пять часов, но я не отходил ни на шаг от приближателя. Кто хочет разговаривать со мной? Таня? Едва ли. Скорее всего кто-нибудь из моих бывших одноклассников, работавших на Марсе, — Борис Заметнов или Рудольф Арбатов.

Сердце билось тревожно и радостно. Я то и дело с нетерпением смотрел на часы, и когда стрелки подошли, наконец, к цифре «12», я включил приближатель.

Сначала послышалась тихая мелодия, звук скрипки и голос флейты. В следующее мгновение ощущение бесконечности охватило меня. Возникло космическое пространство, а на его фоне смеющееся лицо Тани. Она была здесь, рядом со мной, и одновременно там, у себя на Марсе.

— Мика, это ты? Я давно не видела тебя, — окликнул меня Танин голос. — Что же ты молчишь? Сейчас я тебя вижу. Ты совсем мало изменился, чуточку повзрослел. Ты слышишь меня?

— Слышу и вижу. Что ты там делаешь на Марсе?

— Работаю в молодежной бригаде. Мы создаем на Марсе атмосферу и биосферу, слышишь, Мика? Мы хотим, чтобы Марс стал таким же молодым и прекрасным, как Земля... Чтобы там дышалось легко, как в садах возле Лесного Эха.

— А когда мы встретимся, Таня?

Это сказал не мой голос, это крикнуло все мое существо, рванувшееся к Тане и остановленное пространством.

— Через несколько лет, Мика. А что делаешь ты?

— Изучаю память.

— Изучая память, не забывай обо мне. — Это были последние слова, которые долетели до меня. Время истекло, и Таня исчезла.

Эту ночь я не спал, а думал о Тане и об атмосфере, которую создавали на Марсе люди, посланные туда коммунистическим обществом Земли.

И я старался представить себе Марс без биосферы, таким, каким он выглядел в рассказе Володи, чью «память» записала Марина Вербова. Я старался представить себе это, чтобы понять и оценить то, что делали Таня и ее друзья.

24

Меня тянуло к этому Володе.

«Наконец я снова на щедрой и доброй Земле. Мне уже не надо носить с помощью роботов вполне портативный дубликат земной биосферы и выпрашивать у администратора, смотря по настроению, то крик петуха, то голос кукушки. Вокруг меня был мир, наполненный всяческой жизнью — и голосами птиц и шепотом влюбленных. И, глядя на человеческие спины, мне не нужно было бояться, что у этих прохожих, как у Биля, Джека и Ле-Роя, нет человеческих лиц. Вокруг меня было множество лиц, глаз, улыбок. Все смотрели на меня с уважением. Ведь я прибыл с Марса, испытав опасности, трудности и невзгоды человека, измерявшего чужую планету своими собственными ногами, шагавшими там, где нет ни дорог, ни троп.

Мило и сердечно улыбалась мне и она. Ее все звали Катрин, но я называл ее просто Катей. Вскоре она стала моей женой. В сущности, я женился на ней только потому, что она чем-то походила на Зою. Может быть, я проявил легкомыслие и поспешность там, где нужна осмотрительная, все взвешивающая рассудочность. Но я никогда не был рассудочным. Я готов был жениться на первой встречной девушке только за то,

что она человек, умеет смеяться и плакать, огорчаться, радоваться, грустить.

Я смотрел в девичьи глаза с таким же наивным и ненасытным восторгом, как смотрел на бег звенящей и рокочущей воды в ручье или на поляну, поросшую изумрудно-зеленой травой и полевыми цветами.

— Катя... — говорил я.

— Катрин, — поправляла она меня.

— Катрин! Посмотри, какие ветви протянул в нашу сторону добрый и приветливый клен. Они живые, как руки. Кажется, он так рад нам, что хочет нас с тобой обнять.

— Ветви как ветви, — говорила она равнодушно, — клен как клен...

— А листья? Посмотри только. Я вырезал в детстве такие же из бумаги и покрывал зеленой краской, страшно переживая и огорчаясь, что они не живые.

— Ты словно только сейчас родился, Володя. Каждый пустяк приводит тебя в восторг.

Может быть, она и была по-своему права. Но ведь ей не пришлось провести два года в обществе роботов. Над ней всегда плыли облака, и деревья всегда поднимали свои ветви к небу. Она не знала, как чувствует себя человек, средю которого несут с собой роботы в портативном и консервированном виде. Ее биосферу нес не робот Биль, а весь земной шар с его лесами и океанами, земной шар, в сущности, не такой уж большой, но все же великан по сравнению с Билем и Джеком.

Я ей рассказывал о Биле, о Джеке и о лентяе Лерое — роботе, который все же чуточку больше был похож на человека, чем его не знавшие никаких изъяснений коллеги.

— Значит, ты считаешь, что недостатки сделали робота похожим на человека? По-твоему, достоинства бесчеловечны?

— Да, если хочешь знать, достоинства бесчеловечны, если они пребывают в абсолютном, химически чистом виде, если они отделены от самого человека и его милых слабостей и привычек.

— Милых слабостей? Я никогда не считала слабости милыми. Наоборот...

Нет, ее ум был чуточку прямолинеен. Но, может, сердце... О ее сердце я пока знал очень мало.

— Милых слабостей... — повторила она. — Тогда уж почему не сказать «хороших недостатков»?

Впрочем, она имела право так говорить. У нее-то ведь не было никаких недостатков, а только одни достоинства; она была аккуратна, правдива, точна, трудолюбива, дисциплинирована, заботлива, чистоплотна, всегда в хорошем настроении. Она чем-то напоминала мне Биля. Казалось, природа, наследственность и воспитание вложили в нее программу, в которой не предусмотрено было ни одного изъяна.

Прошел год, и мы ждали ребенка. Она родила мне чудесную девочку. Мы дали ей имя, нравившееся и Катрин и мне, — Лиза.

Однажды, вернувшись с работы, я застал Катрин принимающей какой-то препарат.

— Что это за лекарство? — спросил я.

— Это пролактин. Хорошее средство.

— От чего?

— Как? Разве тебе неизвестно? Пролактин вызывает секрецию молока, а я — кормящая мать. И, кроме того, он усиливает материнский инстинкт.

Я посмотрел на нее, думая, что она шутит.

Нет, она не шутила, но говорила всерьез.

— Откуда ты знаешь?

— Я сама провела несколько опытов в лаборатории.

Я забыл сказать, что она была биохимиком и изучала вместе со своим руководителем, крупным ученым Афанасием Синклером, эндокринную систему млекопитающих.

— На кормящих матерях?

— Нет. Пока только на животных... Материнский инстинкт...

— Довольно! — сказал я. — Поговорим о чем-нибудь другом. Я видел после работы новую постановку Картавина.

— Я тоже видела.

— Ну и как?

— Не знаю. Не уверена...

— Почему?

— Я не успела принять это новое средство, усиливающее эстетическое восприятие. Понимаешь, не оказалось под рукой.

Расстроенный, я не стал слушать дальше. Я успокаивал себя: ведь я и раньше слышал, что супружеская жизнь обнажает то, что скрыто иллюзиями. И, кроме того, она эндокринолог. Ей ради научной истины приходится испытывать действие препаратов на себе, чтобы не подвергать опасности других. Возможно, что эти препараты и притупили некоторые из ее эмоций.

В конце концов она была смелой, мужественной женщиной. Не каждый согласится испытывать на собственном организме свойства новых препаратов, так сильно действующих на эндокринную систему, не будучи абсолютно уверенным, что всё сойдет гладко. Нет, по-видимому, гладко не сошло, и она, как морфинист к морфию, привыкла к этим сомнительным стимуляторам и стала их постоянной жертвой.

Этот угол зрения на жену несколько успокоил меня. Но надолго ли? Она была чистосердечна и искренна и не захотела скрывать от меня, что имеет слабость к препаратам, изготовленным в ее лаборатории.

Мне стало не по себе. Я задумался. Никогда раньше мне не приходило в голову, что самые благородные побуждения Кати опираются на биохимическую базу и объясняются количеством того или другого стимулятора.

Количеством! Я всегда подозрительно относился к этому слову. Еще в первых классах средней школы во мне вызывала недоумение арифметика своим абсолютным и бесчеловечным безразличием к качеству предметов, которые требовалось сложить, вычесть, разделить или помножить. Для преподавателя арифметики, симпатичного человека, не столь уж строгого, но очень внимательного, было все равно, шла ли речь о яблоках, помидорах или литрах воды, количество которых надо было выяснить в результате решения нехитрой задачи. Впоследствии мне пришлось примириться с сущностью одной из важнейших наук. Но теперь мне пришлось удостовериться в том, что и

столь сложное качество, как душа, как внутренний мир человека, зависит от количества чего-то элементарного.

Я пытался закрыть глаза и не видеть этого. Я говорил себе:

— Какое тебе дело, искусственными стимуляторами или естественными природно-стихийными силами вызвано доброе отношение к тебе твоей жены. Она мила, сердечна, поразительно заботлива. Временами она совсем забывает о себе и думает только о тебе и нашей дочке Лизе. Когда ты спишь, она не решается повернуться на другой бок, чтобы не разбудить тебя. Когда ты сидишь за столом в столовой, полной гостей, она смотрит только на тебя и улыбается тебе, и лицо ее светится добротой, приветливостью. Чего тебе еще нужно?

Да, мой рассудок был полностью на ее стороне, но чувства... Чувства тем и отличаются от рассудка, что им не прикажешь.

Ведь нечто подобное, в сущности, было и со мной на Марсе. Рассудком я был на стороне Биля и Джека, аккуратных, всегда безошибочно и педантично точно исполнявших свои обязанности, а чувством — на стороне Ле-Роя, в котором иногда что-то не срабатывало.

Достоинства Катрин пребывали в чистом химическом виде, без всяких примесей. Может быть, это объяснялось злоупотреблением с ее стороны разными стимуляторами, действующими на работу эндокринной системы? И вот мне захотелось узнать, какой она была до того, как поступила в лабораторию Афанасия Синклера и познакомилась со стимуляторами.

Я стал расспрашивать о ней всех ее знакомых, родных и в первую очередь ее подруг.

Если бы я лучше знал жизнь, я не поступил бы так. Было по меньшей мере наивно рассчитывать на то, что я узнаю о подлинной Катрин нечто объективное. Одни ее приятельницы изображали ее идеальной, лишенной всяких недостатков и до отказа наполненной всеми добродетелями. Можно было подумать, что она принимала стимуляторы с раннего детства, а может, даже и с колыбели вместе с молоком матери. Другие утверждали, что у нее всегда был тяжелый

характер и свою недоброжелательность и черствость она прикрывала заученной улыбкой, такой же фальшивой, как она сама.

Может быть, другой на моем месте успокоился бы, махнул рукой и продолжал жить, не задумываясь о сущности и удовлетворяясь тем явлением, той оболочкой, за которой так искусно пряталась эта сущность. Но недаром я столько лет прожил вдали от Земли и человечества.

Дом, в котором жили я, Катрин и Лиза, не походил на марсианскую пустыню. Он стоял в саду среди цветов и деревьев и над ним висело не марсианское, а земное небо, похожее на безмятежное озеро, в котором отражаются пылающие облака.

— Катрин, — говорил я, — по-видимому, я переутомился, работая над книгой о стратиграфии среднемарсианской платформы. У меня болит голова, — я показал на виски.

Она улыбнулась мило и сочувственно.

— Милый...

В это слово она вложила столько тепла и любви ко мне, что я должен был почувствовать себя счастливым. Но я не почувствовал.

— Милый, — повторила она. И снова улыбнулась, теперь уже озабоченно. — У меня есть прекрасное средство от головной боли. Прими...

— Я не принимаю стимуляторов! — сказал я резко.

Она не обиделась, а сказала спокойным и уравновешенным голосом:

— Это не стимулятор, дорогой. А обыкновенное лекарство из аптеки, которое принимают все, кто жалуется на головную боль.

В середине ночи, проснувшись, я долго смотрел на нее, лежавшую рядом со мной. Она спала. На подушке лежало ее лицо, лицо земной женщины, молодое и прекрасное. Я смотрел, боясь пошевелиться и разбудить ее. Я слышал ее теплое дыхание и чувствовал запах ее волос. Она не любила косметики, не красила ни волос, ни бровей, любила выглядеть естественно и просто. Но ненавистные мне стимуляторы... Ведь, в сущности, это тоже была косметика, но не внешняя, не физическая, а внутренняя, духовная. Подкрашивались не брови, волосы и губы, а чувства...

Она спала. Теперь мне уже хотелось разбудить ее и сказать все, что я думал. Я еле сдержал себя. Она спала. Но я уже не мог уснуть. Прислушиваясь к ее дыханию, я думал: «Да, духовная косметика, желание подкрасить сущность, возбудить и пробудить чувства стимуляторами...»

И для чего? Разве каждый человек не прекрасен? Коммунистическое общество помогло ему стать цельным, гармоничным. Стремительно совершенствуется его сознание. Зачем же принимать эти жалкие препараты? И, наконец, не разрушат ли они самое важное — естественность и цельность, свойственную современным людям? Дурная привычка может противопоставить Катю всем остальным людям. Ведь, кажется, никто, кроме нее, не пользуется такими наивными и механическими средствами. Следовало бы ей об этом сказать».

Внезапно она проснулась.

— Ты не спишь, дорогой? Почему?

В ее голосе чувствовалась тоска, неуверенность и беспокойство.

— Опять головные боли, милый? Ты зря не принял лекарства, боль бы сразу прошла.

Я промолчал.

— Спи, дорогой. Ты чем-то озабочен? Чем? Может, какие-нибудь неприятности на работе? Отчего ты молчишь?

— Нет. На работе все в порядке.

— А раз в порядке, то спи. Тебе нужно выспаться. Я заметила, недостаток сна отражается на твоём самочувствии. Как ты спал на Марсе?

— На Марсе я принимал снотворное, когда не спалось. Но это случалось редко. Обычно усталость валяла меня с ног, и я засыпал сразу. Здесь я не могу жаловаться на физическую усталость.

— А на что ты жалуешься, дорогой? Я давно замечаю, ты чем-то расстроен. Иногда ты так странно смотришь на меня, рассматриваешь, как рассматривают картину или статую на выставке или в музее. В твоих глазах появляется оттенок холодного любопытства, так несвойственного тебе. Почему?

Я промолчал.

— Почему это, Володя? Когда ты вот так рассматриваешь меня, у меня возникает сомнение: любишь ли ты меня?

— Если бы я не любил тебя, я бы не женился на тебе. Ведь я встретился с тобой не на одной из космических станций и не на Марсе, а на Земле, где миллионы, десятки миллионов девушек. Однако же я выбрал тебя.

— Тогда ты меня любил, а сейчас я не уверена, что ты любишь меня. Любящие не смотрят так, как смотришь ты. Но, может, я ошибаюсь, милый? Я ни в чем не уверена.

Я тоже ни в чем не был уверен. Любил ли я ее? Любил. Без сомнения, любил. Но ее ли? Ведь под словом «ее» нужно понимать нечто естественное и неповторимое. А добраться до сущности ее личности было невозможно. То, что было ею, Катрин, Катей, определялось стимуляторами, принятыми, чтобы усилить внутреннюю секрецию. Все ее поступки, такие сердечные и милые, зависели не от ее существа, а от количества и качества препаратов, созданных в лаборатории под руководством ее шефа, тоже наполненного до отказа всякими добродетелями, заимствованными не у природы, не у естества, а приготовленными за лабораторным столом.

Шеф Афанасий Синклер иногда появлялся у нас, весь сердечность, доброжелательство и искренность. Он никогда не приходил без подарка для нашей Лизы. Приятный, добрый, хороший человек, ничего не скажешь. Но я каждый раз думал, глядя на него и на его лицо, излучавшее доброту и сердечность: все это стимуляторы и ферменты, химия чувств и поступков, черт тебя подери! А каков ты на самом деле, без этой духовной косметики?

— Скажи, — спросил я однажды Катрин, — скажи, пожалуйста, а каким он был до того, как стал принимать все эти препараты?

Мой вопрос, по-видимому, застал ее врасплох.

— Каким? Трудно сказать. Я начала работать в биохимической лаборатории, когда он уже не раз испытывал на себе действие стимуляторов. Он уже был таким, как сейчас.

— А до этого? Ты ведь, наверно, слышала, что говорили старые сотрудники, знавшие его иным, чем он сейчас.

— А почему ты думаешь, что он был другим?

— Но если бы он был всегда таким, то зачем же он принимал все эти препараты?

— Я думаю, что не для того, чтобы изменить свою натуру.

— А для чего?

— Для того, чтобы узнать их действие.

— Но узнать их действие невозможно, не изменившись. Не так ли?

— Да, это так.

— Каким же он был до...

— Почему это тебя так интересует?

— Разве ты не догадываешься почему? Мне хочется добраться до его человеческой сути.

— Для чего? Он же посторонний человек, один из многих наших знакомых. Да к тому же не ты работаешь в его лаборатории, а я. Мне, а не тебе придется иметь дело с его характером, с его привычками, с его достоинствами и недостатками.

— Я, кажется, поймал тебя на слове. Разве у него есть какие-нибудь недостатки?

— Кажется, нет. Я не замечала. Случается, правда изредка, что он бывает слишком педантичен. Но я даже не знаю — достоинство это или недостаток. Он же биохимик, и ему нужна дотошная точность, без этой дотошности ничего не добьешься в нашем сложном и требующем аккуратности и терпения деле. Но ты, дорогой, извини, тоже стал дотошным. Ты так настойчиво расспрашиваешь меня об Афанасии, что я начинаю думать, уж не ревнуешь ли ты меня к нему?

— Ревную, но не к нему.

— А к кому, дорогой?

— К твоим стимуляторам. Мне так хотелось бы, чтобы ты была естественной, как все люди. Ведь я не знаю твоей сути. Я не знаю, какой ты была до того, как стала подвергать свой организм этим сомнительным экспериментам.

— И я тоже не знаю, — тихо сказала она.

— Ты не знаешь? Это более чем странно. Почему?

— Потому, что я мало интересовалась своей собой. Мало обращала на себя внимания. Была равнодушна к себе... Может быть, даже слишком равнодушна. Неравнодушной я стала, когда увидела и полюбила тебя. Только тогда я стала смотреть на себя со стороны...

— А ты сама полюбила меня?

— Я не понимаю твоего вопроса.

— Я хочу знать, сама ли, естественно ли, просто, как все люди, или благодаря стимулятору, который ты приняла?

— Милый... Ты говоришь, не думая о том, как звучат твои слова. Это очень жестоко и несправедливо.

— Извини меня! Я не хотел тебя обидеть. Это получилось случайно.

Ее лицо просветлело от радости.

— Я так и думала, дорогой. Ты оговорился... Ты хороший, но иногда, очень редко, ты бываешь дотошным, и тогда я почему-то начинаю бояться тебя. Я понимаю, откуда у тебя эта дотошность. Ты так долго прожил на Марсе один, если не считать роботов, носивших с собой все необходимое. Они проявляли заботу, но эта забота не была человеческой заботой. Они заботились, не думая о тебе. Им было безразлично — ты или другой. Они заботились о тебе согласно вложенной в них программе. Тебе не хватало человечности, теплоты, сердечности, но ты и сам должен быть сердечным и недотошным и не допытываться до причин... Не в них дело, милый!»

Я слушал, забыв о том, что пора идти на доклад Евгения Сироткина в большом лекционном зале для сотрудников трех лабораторий, изучавших память. И я, разумеется, опоздал бы, если аккуратная Марина Вербова не зашла бы за мной и не напомнила бы мне, улыбаясь своими тонкими губами античной богини.

— Взгляните на часы! Эх вы, увлекшийся интересной книгой школьник!

— Во-первых, я не школьник. А во-вторых, это не книга, а человеческая жизнь.

— Отраженная, записанная жизнь, а это почти то же, что книга.

— Я с этим не могу согласиться.

— Не будем спорить, Микеланджело, не то опоздаем. Пора идти.

25

Сироткин, как всегда, появился за одну минуту до назначенного времени. На этот раз он был одет скромнее, чем обычно, и улыбался не столь иронично, как всегда. Он бросил рассеянный взгляд на нас и начал свой доклад.

— Вы знаете, — сказал он, — как идет работа. Но мне хотелось бы не столько поделиться результатами, о которых говорить еще преждевременно, сколько рассказать вам о тех идеях, которые были положены в основу нашей новой модели, модели гипотетического уазца, или, точнее, внутреннего мира предполагаемого уазца. Об уазцах мы знаем так мало, что должны были исходить не столько из конкретной реальности, сколько из наших предположений. Каков внутренний мир уазца? В солнечной системе этот вопрос интересует всех без исключения. Вот уже несколько лет как он является темой почти всех споров и широких дискуссий. Об уазцах говорят в школах и в научно-исследовательских институтах, на земных фабриках и на космических станциях, на Земле, под Землей и на дне земных океанов и морей. Но, прежде чем ответить на вопрос, каков уазец, мы должны будем ответить на вопрос, какая среда окружает уазца. Без понимания того единства, которое связывает на Уазе субъект с объектом, нельзя было приниматься за дело. Мы ничего или почти ничего не знаем о среде, в которой живет уазец. Мы шли от предположения, что обитатели Уазы явились на эту планету из другого мира и сами создали на ней биосферу, то есть среду. Это наше предположение не было абсолютно произвольным и фантастичным. Оно опиралось на некоторые данные, полученные в результате попытки расшифровать уазский текст Большим мозгом Института времени. То, что на всех человеческих языках обозначено понятием-словом «природа», «естество», на языке уазцев имеет дру-

гой, прямо противоположный смысл. В переводе на земные языки он звучит очень странно: «искусственно созданное»... Уазцы сами создали свою природу. Они создали биосферу на планете, лишенной жизни. Почему? Об этом мы пока можем только гадать. Возможно, какая-нибудь катастрофа заставила их переселиться из собственного планетного дома в необжитый и, по существу, мертвый мир. Пока остановимся на этом предположении. И привлечем на помощь историю человечества, становление человека, чтобы лучше уяснить себе уазскую ситуацию. Человек появился на Земле в ту эпоху, когда физико-химические условия среды были вполне пригодны для его биологического существования. Но человек сделал прыжок из мира необходимости в мир свободы, из мира биологического в мир социальный. Он создал самого себя посредством труда. Писатель и мыслитель прошлого Максим Горький назвал эту новую, созданную человеческим обществом среду «второй природой». Переделывая мир, человек переделывал и свою собственную природу. Этот процесс длится, начиная с верхнего палеолита до наших дней. Человек непрерывно меняется. Меняется и среда, окружающая человека. Она становится все более и более пригнанной к его материальным и духовным потребностям и стремлениям. Но человек был сыном Земли, детищем земной биосферы. Он был как бы впаян в леса и степи, сросся с реками и озерами, горами и морями, где все было до отказа наполнено воздухом, водой и живностью. Другое дело — уазцы. Они прибыли в мир без среды, без воздуха и без рек. Им пришлось создавать биосферу почти на пустом месте. Они в буквальном смысле создали свой мир и самих себя. Разумеется, они были подготовлены к этому миллионами лет своего развития, развития своего интеллекта, воли, своей науки и техники, своего общественного прогресса. Творческое, созидательное и волевое начало в них было развито еще сильнее, чем в нас, земных людях. Исходя из этого обстоятельства, мы и приступили к созданию модели внутреннего мира уазца. Готовясь к этой работе, мы тщательно изучали внутренний мир человека, его историю и его непрерывно меняющееся единство со средой. Задавали ли вы себе когда-нибудь вопрос: чем отличается современный че-

ловек от человека древнего Египта, древней Греции, средневековья, наконец от человека капиталистического общества? Разумеется, задавали не раз. Но всегда ли вы рассматривали исторического человека в единстве со средой, с объектом, со средствами воздействия и изменения этой среды? Задавали ли вы себе вопрос, каким был бы человек, если бы он жил в среде, целиком созданной своими собственными усилиями? Этот вопрос имеет не только отвлеченно-теоретическое значение, но и сугубо практическое. Вспомним хотя бы жизнь на космических станциях. История каждой космической станции — это в какой-то степени в миниатюре история Узы. Мы тщательно изучали психологию людей, родившихся на космических станциях и продолжающих там жить и успешно работать. Отличается ли внутренний мир жителей этих станций от внутреннего мира людей, никогда не покидавших Земли? Это вопрос не только психологический, но и онтологический, философский. Меняется ли сущность человека от резкого изменения среды? Вы ответите — разумеется, меняется. Другого ответа я от вас не жду. Но как? К сожалению, этот вопрос еще мало изучен, особенно в тех аспектах, которые нас интересуют. Нас, например, интересовал вопрос, который может показаться наивным: любит ли человек, проживший всю жизнь на космической станции, природу? Этот вопрос, разумеется, требует уточнения. О какой природе идет речь? О естественной природе Земли — лесах, реках, озерах или об искусственной «природе» станции, построенной в вакууме космоса? О «первой» или «второй» природе, употребляя удачный термин Максима Горького? Я имею в виду естественную природу. И вот выяснилось в результате психологических исследований, что у многих жителей космических станций имеется обостренное чувство природы, тоска по естественности. Теперь мысленно перенесемся на загадочную Уззу. Тоскует ли уазец, как житель космической станции, по естественной природе? Сомнительно. Сомнительно прежде всего потому, что на Уззе нет и не может быть разрыва между естественным и искусственным. Ведь искусственно созданная среда и стала природой Уззы, другой среды Уззы не знала и не знает. Не следует забывать также и о том, что уаз-

цы на сотни тысяч, а может, и на миллионы лет опередили нас в своем интеллектуально-духовном и материальном развитии. Следует предположить, что они уже в то время, когда переселились на Уазу и приступили к созданию природы, владели полностью тайной фотосинтеза и умением строить наследственную молекулу, меняя расположение атомов и генов в ней, как хотели. Они могли создавать такие растения и таких животных, которых никогда не создала бы естественная среда. Не слишком ли я много говорю о среде? Сейчас нас ведь интересует не столько среда и объективный мир, сколько субъект, отражающий в своем сознании эту среду. Да, нас сейчас интересует сознание, внутренний мир уазца и способ его мышления, его видение мира. Человеческий опыт в этом отношении ограничен историей материальной и духовной культуры самого человечества. Мы ведь до сих пор ничего не знали о жителях других миров. Один ли способ видения мира у людей? Нет, разумеется, он менялся вместе с обществом и окружающей средой. Древний мексиканец, судя по его религии, экономике, общественному устройству, видел мир не так, как видим его мы. Но каким же должен быть способ мышления уазца, создавшего заново свой мир? Должен признаться, ответить на этот вопрос невероятно трудно. В истории человечества есть одна эпоха, которая поражает нас своим видением мира. Я говорю об эпохе великого итальянского Возрождения. Картины художников этой несбыкновенной эпохи висят в наших музеях. Они говорят о том способе мышления, которым владели эти гениальные художники. Правда, сейчас речь идет о способе художественного мышления, а не мышления чисто логического и научного, но в ту эпоху происходил синтез художественного и научного мышления. Художники итальянского Возрождения видели мир таким, словно они только что создали его из небытия. Это был величественный способ мышления. Я бы сказал: монументальное видение мира. Так видят мир великаны мысли и действия. Мне думается, что мышление жителей Уазы в высшей степени монументальное мышление, масштабное, интимно-грандиозное. Я вижу по вашим недоуменным улыбкам, что вас смущает это не слишком удачное выра-

жение — «интимно-грандиозное». Но как иначе выразить нужную мысль? Я хочу сказать о мышлении величественном, грандиозном и в то же время проникающем в микрокосмос — и в малое и в большое... Мышление, способное объять бесчисленные галактики вселенной и почувствовать боль плачущего ребенка, слить большое с малым, личность с объектом. Я не философ, я инженер. Мне не раз приходилось наблюдать чувство изобретателя, создавшего какую-нибудь машину, и ту интимную, глубокую связь, которая возникает между конструктором и конструкцией. Но представьте себе людей, создавших заново весь окружающий их мир, изобретших жизнь и природу. Вообразите на минуту их чувства, мысли, переживания...

— Не нужно воображать, — раздался чей-то сильный голос, — не нужно! Зачем воображать, когда есть возможность познать?

Все оглянулись. Вошел мой отец. Я еще никогда не видел его таким. Сейчас он походил на гипотетического уазца, создавшего заново свой мир. Лицо его выражало радость, удивление, гнев, надежду, удовлетворение — все чувства.

— Только что, — сказал он, — принято новое странное сообщение с Уазы. Передал его лично командир самолета «Баргузин» Виталий Далуга, находящийся, как вам известно, далеко за пределами солнечной системы. От себя Далуга добавил нечто чрезвычайно важное. Сообщение он принял не с помощью аппарата, как в прошлый раз, а от живых уазцев, встреченных им в космосе. В расшифровке и переводе эта живая беседа не нуждается, мы получили одновременно с сообщением текст, уже переведенный на несколько земных языков. Сейчас я включу передачу, и вы услышите живые голоса уазцев...

26

Все были поражены больше всего тем, что жители Уазы оказались такими же людьми, как мы, если сделать поправку на то, что их цивилизация была значительно старше земной и знали они о мире и себе гораздо больше, чем знали мы.

Они обладали поистине человеческим юмором, как, в свою очередь, не без юмора передавал с космолета «Баргузин» его командир Виталий Далуга. Они весело смеялись, когда узнали о том, какими мы их себе представляли.

В условном смысле они уже были нашими гостями, правда пребывавшими пока еще за пределами солнечной системы, еще не на Земле, но уже на земном космолете, среди земных людей и вещей.

Теперь уже не Большой мозг Института времени, а астронавт Виталий Далуга был посредником между ними и нами. Квантаппараты почти непрерывно передавали информацию о космолете «Баргузин», где гостили уазцы, их рассказ о себе и о своем далеком мире.

Рассказывая о себе, они заверили нас, что они дети естественных сил своей планеты и своей биосферы, и, в свою очередь, удивляясь, спрашивали нас, с чего это нам взбрело в голову принять их за пришельцев в собственном доме и вообразить, что им пришлось строить заново свой мир, даже не прибегая к помощи эволюции и естества?

Отец и Евгений едва ли были довольны тем, что наши космические гости отнюдь не были похожи на созданное ими представление об уазцах. И, по-видимому, пока отцу и Сироткину неосуществившаяся гипотеза была дороже реальности, к которой они еще не могли привыкнуть.

И отец сказал Сироткину про уазцев:

— Не находите ли вы, что для мудрецов они слишком словоохотливы?

— Словоохотливы? — проворчал Сироткин. — Не словоохотливы, а попросту болтливы!

Впрочем, у отца и Евгения Сироткина было оправдание. Их гипотеза об одушевленности среды на Уазе возникла из-за помех и неисправности аппаратов на корабле «Баргузин». Эти помехи извратили первоначальный смысл уазского послания. Об этом не замедлили сообщить земным ученым космические гости.

Мой отец, Евгений Сироткин и все сотрудники нашего института отдали много сил расшифровке пер-

вого узского послания. И им не стоило обижаться на шутливые замечания узских гостей. Кроме того, следовало учесть, что развитие цивилизации предполагает не только развитие всепознающего интеллекта, но и развитие чувства юмора. Юмор всегда свидетельствует о том, что его обладатели чувствуют себя хозяевами в мире и что, играя на словах конечным, они соприкасаются с бесконечностью, не давая ей уstrasить и победить себя.

27

У юмора есть еще одно свойство — он брат скромности, если не сама скромность, скрывающая свою сущность так тонко и деликатно. Они не хотели показаться всезнайками — наши уважаемые узские гости, они боялись задеть нашу гордость, ущемить наше самолюбие и, в сущности, не торопились поразить нас достижениями своей древней цивилизации, блеснуть физическими и математическими теориями, умопомрачительной техникой и этим заставить краснеть нас за нашу земную технику и науку. Наоборот, они старались представить дело так, что у них там, на Уазе, далеко не все обстоит идеально и что Земля не так уж сильно отстала от них, особенно если учесть то, что они, узцы, намного старше людей и, следовательно, опытнее.

Опыт! Опытнее... Еще бы! Они там, у себя, на Уазе, уже создали теорию относительности и квантовую механику, когда мы, или, точнее, наши предки, еще охотились на мамонтов. И все же они натворили немало ошибок, особенно в эпоху капитализма, и их биосфера тоже изрядно пострадала от хищнического истребления лесов и ограбления недр рек, озер и океанов. Опыт? Да, это богатство, приобретенное сменой тысяч и сотен тысяч поколений, мужественно боровшихся с природой и слишком рано выбывавших из строя из-за возмутительной непрочности того материала, из которого природа и эволюция строила организм, больше заботясь о сложной его деятельности, чем о его длительности, рассчитывая и полагаясь на вид и на род больше, чем на индивид. Природе и эволюции было

невдомек, что уазец, став из существа природного существом социальным, не захочет мириться с этим безобразием.

И вот после победы над капитализмом, в своем эгоистическом безумии истреблявшим биосферу и в глупом и подлом ослеплении, готовом истребить даже саму планету, после Великой победы уазское коммунистическое общество бросило все средства на борьбу с непрочностью индивидуальной жизни. Добивалось ли оно бессмертия? Нет. Абсолютное отсутствие смерти сделало бы бессмысленной и метафизичной жизнь, потому что каждое существо, лишившись конца, тем самым лишалось и начала. Речь шла не о конце, а об отсрочке, отсрочке настолько длительной, насколько позволяло бы естество. «Естество!» «Естественно!» «Природа!» «Природно!» Эти понятия уазцы употребляли часто, слишком часто, не боясь повторений. По-видимому, они придавали им особенно большое значение, что было несколько удивительно и даже странно, если учесть, что они сумели внести такую существенную поправку в ход эволюции и в само течение природных процессов.

После победы коммунизма на Уазе из всех наук наибольшее развитие получила биология и все ее прикладные отрасли, особенно медицина. Сначала искали средства воздействовать на эндокринную систему, считая, что только от нее зависит судьба длительности процессов, называемых жизнью.

Потом поняли, что организм — это целое, и все части этого целого важны для победы над брэнностью и временем. Затем увлечение кибернетикой и генетикой сделало модным изучение памяти. Сущностью организма и его прочности, его долголетия стали считать память. Именно ей, памяти, была обязана личность своей непрерывной связью с временем, отмеренным ей судьбой, состоянием здоровья и связью со скользящим мгновением. И именно она, память, сохраняла во времени индивидуальность в более широком смысле, индивидуальность биохимическую и физическую, передавая на клеточном и молекулярном уровне необходимую информацию, своего рода «шпаргалку», с помощью которой происходившие в организ-

ме процессы сохраняли нечто устойчивое и постоянное, подверженное, правда, изменениям, связанным со старением.

Вот против этого старения и направила наука свой главный удар... Ему, этому старению, объявлена была война, самая благородная из всех войн... Приостановить старение организма, не значит ли это сказать мгновению: «Остановись!»?

Нет, по-прежнему все спешило на Уазе к концу — растения и животные, все их виды и роды, от мимолетных, как бабочка, и долголетних, как слон, все, за исключением самих уазцев, победивших время и брэнность для того, чтобы оказаться победителями и в борьбе с пространством. Уазская наука выиграла войну со старением и связанной с ней немощью.

Каким способом? Нет, они не собираются скрывать его от людей, наоборот, они готовы поделиться с людьми солнечной системы всеми своими знаниями, всем своим опытом, не оставляя никаких тайн про запас. Зачем? Знания прячут только от врагов, а люди — друзья и братья, братья если и не по крови, то по духу, что неизмеримо существеннее.

Они разговаривали с Землей и со всей солнечной системой, находясь пока еще за ее пределами. Их отделяло пока от человечества пространство, значительное пространство, но все же не такое огромное, чтобы сделать невозможным духовное общение, разговор, или, точнее, беседу, продолжавшуюся вот уже несколько дней. И у людей возникло естественное желание не только слышать своих гостей, но и, слушая, одновременно видеть их хотя бы с помощью телеоптической техники, находящейся на космолете «Баргузин» в числе многих других достижений земной науки. Но то ли было в неисправности телеоптическое устройство, то ли гости почему-то пожелали пока остаться невидимыми, никто на Земле не знал, как они выглядят и совпадает ли их физический облик с их обликом духовным.

Возник вопрос: долго ли они останутся невидимыми? А кое у кого возникли сомнения: не внешность ли их заставляет не торопиться с общением бо-

лее конкретно осязаемым, улавливаемым сетчаткой нашего зрения?

Пошли разные слухи и кривотолки. И один из сотрудников нашей лаборатории, известный шутник и остроум, высказал предположение, что победа над старостью далась узцам, по-видимому, не дешево и за нее им пришлось уплатить ничего не дающей даром природе красотой и физическим обаянием, всем тем, что так ценит человечество со времен верхнего палеолита до наших дней.

Но довольно гипотез! Их и так было много! И мой отец, так же как и Евгений Сироткин, равнодушные к форме (морфе), только пожимали плечами, слыша со всех сторон вопросы, почему наши уважаемые гости не спешат предъяснить нам свою внешность во всей ее, надо предполагать, великолепной форме, а пока отделяются только беседой.

— Предъявить? — ворчал мой отец. — Они и так предъявили нам нечто существенное, поделились своим опытом, своими знаниями. А свою внешность они все равно вынуждены будут оставить при себе. Этим не делаться!

Отец и Сироткин значительно подобрали к узским гостям, после того как те выказали интерес к работам Института времени и особенно к достижениям лаборатории, руководимой Евгением Сироткиным и Мариной Вербовой, о чем они уже имеют смутное представление. Наши закрыли глаза на то, что это было проявлением их вежливости.

Но здесь мне нужно остановить свое повествование и забежать чуточку вперед. Как раз в эти дни я совершил проступок, в результате которого больше всех пострадала лаборатория Марины, лишившись самого большого своего достижения.

28

Это был мой последний разговор с ним. Разговор? В сущности, разговаривал только он один, или, вернее, его память. А я молчал и слушал. Я слушал, боясь пропустить хотя бы одно слово. Я слышал его дыхание и шепот, и мне казалось, что и он тут, рядом

со мной, а не только его воспоминания, обретшие вечность благодаря искусству Марины Вербовой.

«Да, — продолжал он свою исповедь. — Катрин, Катя ушла от меня, не выдержав. «Так будет лучше, дорогой», — сказала она мне. Она ушла после того, как я потребовал от нее, чтобы она перестала принимать стимуляторы. Мое категорическое и жестокое требование объяснялось не только упрямством. Я хотел знать сущность своей жены, сущность, не подкрашенную и не стимулированную, а естественную. Я хотел знать, какой была Катрин, а не какой ее сделали биохимические препараты, приготовленные в лаборатории Афанасия Синклера. И нам пришлось расстаться. Нашу девочку Лизу мы отдали в интернат, и теперь только она, наша дочка, да еще воспоминания связывали нас. Отчуждение произошло по моей вине, но я в этом признался себе не скоро. Я обвинял ее в упрямстве, в том, что ее шеф Синклер и ее препараты дороже ей, чем я. Но когда она ушла, я почувствовал такое одиночество, какого не знал даже в марсианских пустынях. Она ушла только в элементарном, в физическом смысле этого слова, в духовном смысле она осталась. Своим мысленным взором я видел ее всю с терпеливой улыбкой на добрых губах, я слышал ее голос, произносящий тихо: «милый»... Не сразу я осознал, что моя настырность была бесчеловечной и в желании добраться до сущности было нечто деспотичное, дикое, не соответствующее нашему веку. Это стремление объяснялось поистине неестественной жадной естественного, с необычайной силой вспыхнувшее во мне еще на Марсе в гиперискусственной среде. И вот я был наказан за свою беспечность. Что мне оставалось делать? Снова лететь на Марс и жить там в обществе Билия, Джека и Ле-Роя? Нет, я не хотел и слышать о Марсе. Я уехал в сибирскую тайгу вместе с земными геологами, влюбленными в эти леса, в холодные реки и озера.

Тайга! Когда-то этим словом обозначали нечто первозданное и дикое, где были узкие тропы вместо дорог. Сейчас от прежней первобытности остались только олени и комары. Комаров сохранили, разумеется, не для того, чтобы не огорчать любознательных энтомологов, а потому, что ими питались рыбы таеж-

ных рек. Нас комары не тревожили. Ультразвуковой прибор отвлекал их от нас, и они попадали в специальное «поле-ловушку», которое их уничтожало.

Нашу любознательность приобщили к тайнам края специальные приборы.

Чувствительные и умные, они делали словно прозрачной поверхность Земли, поросшей таежными лиственницами и сибирскими кедрами, они погружали наши чувства в вдруг ожившую историю Земли. Поэзия познания и труда необычайно воодушевляла нас. Правились нам и контрасты. Поработав с совершенными приборами в горах, мы спускались в долину к речке, где ловили окуней и хариусов древним многовековым способом — на крючок. Рыбы были под защитой общества, и ловить разрешалось только на удочку.

В нашем распоряжении были аппараты, способные в любое время связать нас с близкими и нужными людьми, приобщить нас к их жизни. В любое время, если я хотел, я мог увидеть интернат и свою дочку Лизу, гонявшую мяч или прыгавшую по траве, ее смеющееся детское личико. Я мог увидеть и лицо той, с которой я расстался вопреки чувству. Но я не решился сделать это, что-то удерживало меня.

Я все время думал о ней. И однажды мне пришла мысль, что, может, вовсе не стимуляторы делали ее такой, какой она была... Стимуляторы — не защита ли это для скромности и душевной чистоты? Она была так чиста и добра, что пожелала скрыть свою доброту, придумав эти стимуляторы».

Голос замолчал. Пауза продолжалась долго. И я подумал, что испортился аппарат. Действительно, в нем произошла какая-то заминка. И когда я снова услышал шепот и дыхание, рассказ уже, видно, подходил к концу.

«В то лето я не поехал в экспедицию. Я работал над книгой по стратиграфии Сибири. Лето было жаркое. И в свободные часы я уходил на берег моря купаться. Я лежал на песке, греясь на солнце, когда услышал крик. Кто-то тонул. Я вскочил. Подростки ска-

зали мне, что тонет женщина. Я бросился в воду и поплыл. До нее было далеко — метров двести или триста. Когда я схватил ее, она уже выбилась из сил. Но мои силы тоже были на исходе. Я плыл, поддерживая ее. И в эти минуты, нет, не минуты, а секунды мне казалось, что я держу ее, свою Катю, что это она. Это были мгновения, но они длились долго-долго, бесконечно долго. Я терял силы, но не выпускал из рук утопающую, гребя ногами. Я держал ее, и мне казалось, что я держу Землю, все человечество, слившееся в одно существо, в существо этой гибнущей женщины.

Потом я потерял сознание. Это произошло не сразу. Погружаясь в небытие, я мысленно видел всю свою жизнь, сжатую до одного, невыразимо растянувшегося мгновения, как это видят все утопающие».

Шепот его стал еле слышным и вдруг перешел почти в крик:

«Этот миг все длится и длится. Мне кажется, что он длится бесконечно!..»

Не знаю, какая сила дернула меня — наверное, безрассудная жалость к этому находящемуся «нигде» существу, чей внутренний мир пребывал «здесь», требуя сочувствия, если не пощады. Я подбежал к стене, где стоял аппарат, и мгновенно привел в негодность великое и трагическое создание Марины Вербовой.

29

Что толкнуло меня на этот опрометчивый поступок?

Не до конца осознанное душевное движение, поток сильных чувств, хлынувших на меня из аппарата, голос, шепот... Все это заставило меня забыть о том, что со мной разговаривает не живой страдающий человек, а только отражение его психического поля.

Впоследствии мой отец не раз упрекал меня, выражая свое удивление, как я мог дать себя обмануть искусству моделирования?

— Ведь это модель, модель, — повторял он. — Всего-навсего модель.

Модель? Да! Но какая модель! Ведь Марина Вербова «записала» и те чувства и мысли, которые испытал Володя в последние мгновения, когда тонул. И вот они как бы всплыли на поверхность с самого дна навсегда ушедшей от нас жизни.

Я осуждал самого себя, может быть, даже строже, чем мой отец и сотрудники лабораторий Вербовой и Сироткина. Но нашлись люди (писатели и философы), которые не нашли в моем поступке ничего предосудительного. Они по-прежнему считали, что опыт Вербовой дискусионен и таит в себе немало сомнительного с этической точки зрения. Я не был благодарен им за их защиту. Ведь свой поступок я совершил, не думая о философской спорности открытия Вербовой, а только поддавшись мимолетному и неосознанному чувству.

Сотрудники всех лабораторий нашего огромного института, за исключением Марины Вербовой, были настолько деликатны, что старались не напоминать мне о моей вине. И только мой отец не мог скрыть своей досады.

— Твое счастье, — сказал он мне, — что все сейчас думают только об Уазе и уазцах, которые привезли с собой столько нового, что все наши достижения, в том числе и изучение памяти, устарели на добрый десяток тысяч лет.

Да, действительно это было так. Как раз в эти дни наступил небывалый момент в истории Земли и земного человечества. К настоящему вдруг приплюсовалось будущее, и приплюсовалось безвозмездно, ничего не требуя от людей взамен того, что оно собиралось подарить.

Уазцы рассказывали о достижениях своей науки и техники, подсказывая нашим земным ученым и инженерам готовые ответы на те задачи, которые ученые и инженеры еще не собирались решать. Повествуя о победах своего интеллекта над средой, они не прямо, а только косвенно и намеком выразили мысль, необычайно заинтересовавшую меня.

Дело шло не о чем ином, как об единстве субъекта

и объекта, «я» и «мира», об единстве значительно более глубоком и сложном и более взаимопроникающем, чем то, которого достигли люди на Земле. Что они имели в виду?

Они сказали об этом вскользь, как я уже упоминал, не прямо, не в «лоб», а скорее намеком, предупредив, что, возможно, они вернуться к этой теме, если она заинтересует людей Земли. Они добавляли, что тема эта сложна, дискуссионна и требует иных интеллектуальных и психических навыков, чем те, что пока существуют в солнечной системе.

Это было, пожалуй, единственное место их многодневного повествования, в котором, пренебрегая скромностью, они недвусмысленно выразили свое превосходство над нами — обитателями солнечной системы. Весь их последующий рассказ был, в сущности, как бы введением к сложной мысли, к которой они обещали вернуться.

Развитие математики, математической логики, физики, и кибернетики в особенности, говорили они, все больше и больше вело к тому, что, метафорически выражаясь, интеллект «отделялся» от самого мыслящего существа и как бы становился некой самостоятельной духовно-материальной сущностью. Разрыв между мыслью и мыслящими представлял опасность для культуры и для самих узцев, так как он грозил чрезмерной специализацией, утерей той цельности и многосторонности, которую на Земле издавна принято называть гуманизмом.

Общество осознало эту опасность и стало искать средства против нее. Разумеется, были приняты меры, чтобы не впасть в крайность и не затормозить прогресс техники и естественных наук, не выплеснуть из ванны вместе с водой и самого ребенка.

Что же это была за опасность? Узкая специализация, разделявшая узцев и отчуждавшая их друг от друга и от природы. Само выражение «борьба с природой» было найдено устаревшим, не соответствующим духу времени и пониманию сущности тех процессов, которые происходили на Уазе. Не борьба с природой, а дружба с ней, единство природных и естественных сил и сил духовных, интеллектуально-эмо-

циональных. Детей стали приучать и в школе и до школы смотреть на явления живой природы как на нечто бесконечно родное и близкое.

Я слушал повествование узцев с напряженным вниманием. Многие мысли их были слишком сложны, и я был не в состоянии понять их с первого раза и много раз возвращался к ним потом, перечитывая опубликованный текст, как два года тому назад я перечитывал «Феноменологию духа» земного философа Гегеля, поразившего меня сложной углубленностью своего мышления.

Такие же чувства, как я, испытывали все, не исключая и моего умудренного опытом отца.

Ведь с нами разговаривало отдаленное будущее, другая эпоха, ушедшая вперед на тысячелетия.

30

Отец мой, видимо, желая, чтобы я острее осознал опрометчивость своего поступка, дал мне толстую пачку книг и попросил их прочесть. Нет, это были не развлекательные приключенческие романы, а научные и философские труды, ставившие только один, но кардинальный вопрос и пытавшиеся дать на него ответ. Книги были посвящены выяснению вопроса, что такое человек.

Удивительное явление! Ведь люди существуют на Земле пятьдесят тысяч лет, если считать началом их бытия верхний палеолит, и все время они не перестают спрашивать себя, свой личный опыт и опыт поколений, называемый наукой, кто же они сами, в чем их суть?

По-видимому, мой отец хотел направить мои размышления по этому пути.

Это были глубокие, умные книги, свидетельствующие о том, что их авторы осознавали всю безмерную проблематичность своей цели.

Один из авторов утверждал, впрочем, не в слишком категоричных выражениях, что до тех пор, пока человек будет проблематичным существом для своего собственного сознания, он останется человеком, а как

только сознание снимет проблематичность, он превратится в машину, ко всеобщей радости некоторых кибернетиков и инженеров. Но, к счастью, утверждал автор, на этот раз уже категорично, человеку эта опасность не угрожает, его внутреннее содержание столь же богато частностями, как вселенная, которую невозможно исчерпать.

На полях книги были кем-то сделанные заметки: «Ну, а если наука доберется до сущности человеческой памяти, которая и скрепляет «частности» в единство цельной личности, будет ли автор настаивать на своем утверждении?»

Заметка на полях книги, видно, сделана была еще до того, как Марина Вербова «добралась» до сущности человеческой памяти и сумела отделить ее от человека.

В свободное время я много размышлял о том, что такое человек. И я пришел к убеждению, что нельзя исчерпать бесконечную глубину человека, раскрыв физическую, химическую и психологическую сущность памяти, ее механизм. Человек — это не только память и, конечно же, не механизм.

На эти мои размышления меня наталкивал Кумби. Я встречался с ним часто. Он по-прежнему остро интересовал меня.

Юлиан Матвей Кумби был живой, говорящей, ходящей на двух ногах проблемой. Несмотря на свою человеческую, слишком человеческую внешность, он был, вероятно, меньше похож на всех остальных людей, чем наши космические гости, пожелавшие пока остаться невидимками.

Что отделяло его от человечества? Память. Все люди на Земле, обладая даром запоминания, умели и забывать все, что не нужно было помнить. Кумби же помнил все и никогда ничего не забывал. Тяготил ли его этот непосильный груз? Этот багаж, который он носил с собой, он — вечный пассажир, ехавший неизвестно куда? На этот вопрос я еще не получил от него ответа по той причине, что я еще не решался об этом его спросить.

Он носил свое прошлое, не очень-то задумываясь о том, что такое время и как можно его хранить

в себе, не утрачивая ничего и, в сущности, ничего не приобретая.

Правильно ли поступила природа, дав нам способность не только помнить, но и забывать? А как быть с тем резервом, с тем запасником, который хотела открыть Марина Вербова, чтобы вооружить человечество для победы над временем и пространством? Была ли она права? На этот вопрос, надо надеяться, нам ответят наши старшие братья по духу — уазцы. Они, наверное, давно разрешили эту проблему.

Глядя на Кумби, я думал: «Приобретения и утраты способствуют созданию того удивительного и неповторимого существа, которое принято называть человеческой личностью». Кумби, ничего не утрачивая, в сущности, ничего не приобретал. Он только вспоминал, а на все остальное у него уже не хватало сил.

Мне было жалко его, хотя он и не страдал от своей односторонности. Он жил, как сторож в музее, равнодушный к тем богатствам, которые хранил.

По вечерам мы беседовали.

Я. Какой день был двенадцатого июля две тысячи двенадцатого года?

К у м б и. Среда. С утра висели тучи и лил дождь. Но к вечеру прояснилось. И к нам приехали гости. Мать попросила робота испечь пирог.

Я. А каким было четырнадцатое мая две тысячи четырнадцатого года?

К у м б и (без всякой заминки). Вторник. С утра светило солнце, но к концу дня погода испортилась. Я играл в саду. Пчела села на цветок. Она ужалила мне щеку.

Я. Благодарю вас. На сегодня хватит.

Я взглянул на своего собеседника. Нет, у него не было контакта с тем, что он в себе хранил. Воспоминания не вызывали в нем ни грусти, ни жалости. Но он вызывал во мне жалость и грусть. Я должен был найти средство помочь ему. Но как?

Он был похож на утопающего — мой приятель Юлиан Матвей Кумби. Он тонул в море фактов, которые хранила его необъятная память.

Я дал себе слово — снять с него его непосильный груз. И начал с того, что перестал спрашивать его о прошлом. Я делал вид, что этого прошлого вовсе не было.

Он обижался. Огорченный, он говорил мне:

— В прошлом году в этот же день, это был понедельник, я...

И он начинал перечислять минуту за минутой все события прожитого им дня, перечислять все, что он съел, и всех, кого он видел.

Я слушал молча, терпеливо, не перебивая его. Затем я обратился к нему с просьбой: не может ли он припомнить еще один факт, о котором он почему-то не упомянул?

— Какой факт? Я перечислил все.

— Все? Нет, дорогой мой, не все.

— О чем же я не сказал?

— Вы забыли упомянуть о девушке, о той самой художнице, которая в этот день сидела на раскладном стульчике напротив вашего дома в саду и писала пейзаж. Вы еще тогда заглянули ей через плечо, чтобы узнать, что она пишет.

Старичок недоуменно глядел на меня.

— Девушка? А как она выглядела?

— Как раз об этом я и хотел спросить вас. У вас необъятная память, а не у меня.

Нет, он не мог припомнить этой девушки. Он снова начинал разворачивать утраченное бытие, восстанавливать факт за фактом день, канувший в вечность, но девушку он не мог припомнить.

Я недоверчиво улыбался и качал головой.

— Нет, Юлиан Матвей, я не могу поверить, что вы ее забыли. Не каждый же день девушки сидят возле нашего дома и пишут пейзажи.

Он ничего не мог сказать об этой девушке. Ровно ничего, не помогла даже белая, чистая страница

книги. Факт исчез, затерялся в бездонном пространстве прошлого.

Тогда я начал восстанавливать эту девушку черта за чертой. Я описал ее наружность, глаза, рот, напряженное и ищущее выражение лица художницы, пишущей пейзаж. Я описал и ее картину, длинные коричневые стволы кленов и сосен и изумрудно-зеленую траву.

Кумби смотрел на меня, словно я похитил у него его редкий и странный дар, его способность носить с собой все свое прошлое.

Только через неделю я признался ему, что никакой художницы не было, что девушка и ее пейзаж были созданием не моей памяти, а воображения.

Кумби, способный помнить все дни своей жизни, не способен был ничего вообразить. Я старался разбудить в нем эту дремавшую способность. Я ни о чем не говорил с ним, а только об этой никогда не существовавшей девушке. Мы вместе с Кумби придумали ей имя. Ее звали Ариадна. Это имя к ней подходило. Только оно одно и никакое другое.

Кумби стал помогать мне создавать ее жизнь. Это давалось ему не легко. Но, придумав имя «Ариадна», мы должны были наполнить это имя жизнью.

В те дни мы виделись с Кумби часто. Он заходил ко мне утром рано-рано, когда в саду пели птицы. Я спрашивал его:

— А что делает сейчас Ариадна?

— Тсс! — грозил мне пальцем Кумби, словно Ариадна была где-то рядом. — Она спит.

Часа через два я снова спрашивал его:

— А сейчас? Что она делает сейчас?

— Сейчас она рисует... — Кумби улыбался, словно это он сам заполнял чистый белый лист жизнью. — Глаза смотрят. А рот смеется.

С тех пор как он научился мечтать, он стал другим. Он уже не нес тяжелый груз. Мечты вытеснили тяжелый груз обыденности. Его походка стала легкой. Он даже помолодел.

Почти полгода ушло у меня, чтобы научить Кумби тому искусству, которым обладают все люди, — искусству забывать. Тогда он уже не представлял никакого интереса для науки, но зато (что, по-моему, в тысячу раз важнее) он представлял интерес для самого себя и для всех людей, его знавших.

Теперь он не был вечным хранителем своего багажа, вечным пассажиром, ехавшим неизвестно куда. Он обрел себя, и обрел время, и обрел нас, всех людей солнечной системы, обрел мир.

Может быть, потому, что я выручил его из беды, помог ему стать человеком, я любил его больше своего отца, больше всех людей на Земле. Я любил в нем человека, созданного мной, человека, в которого я вложил все лучшее, что было во мне.

Все были рады, что Кумби стал человеком. Все интересовались и спрашивали меня, как мне удалось с него снять непосильное бремя, тяжелый груз.

Я улыбался и не знал, что им ответить. Ведь, в сущности, это произошло не сразу. Но в тот день, когда он овладел искусством забывать, я чувствовал себя самым счастливым человеком солнечной системы. Может, это произошло потому, что все и всегда смотрели на него только как на феномен, только как на чудо, как на загадку и как на объект для изучения, а я смотрел на него только как на человека и друга.

Запоминая все до последней мелочи и ничего не забывая, он утратил свое «я», его личность тонула в безмерном море всех бесчисленных фактов, которые он хранил в своей памяти. Все его силы уходили на запоминание. И я не мог не протянуть ему руку помощи. И вот впервые за долгую жизнь он обрел себя.

За то время, пока я занимался Кумби, солнечная система ушла вперед на несколько столетий. Знания людей выросли неизмеримо, обогатившись опытом гостей с Уазы.

Об этих гостях я и хочу рассказать в следующей главе.

Гости стали видимыми. Это случилось вдруг, внезапно.

Они явились ко мне. Впрочем, слово «явились» следовало бы взять в кавычки. Их появление было необычным. С чем его сравнить? Не знаю. Ни в моем личном опыте, ни в опыте всех человеческих поколений, живших до меня, не было ничего такого, с чем можно было бы сравнить это удивительное появление.

Я сидел за столом и завтракал. Завтрак длился недолго, хотя я никуда не спешил: фрукты, ячница, ягодный сок...

Робот Тест, абстрактное и исполнительное существо, созданное в лаборатории Евгения Сироткина, убрал со стола посуду. Я встал и тут-то и почувствовал присутствие посторонних, словно шестое чувство подсказало мне, что в комнате кто-то есть. Я оглянулся и увидел их.

Их было пятеро. Они приветливо улыбались. Я не сразу обратил внимание на то, что комната изменилась, стала шире и одна из стен как бы исчезла. Вместо стены зияла бесконечность. Мне стало страшно, и я старался не смотреть в ту сторону, где вместо стены был провал, вакуум, ничто.

Их было пятеро. И все это напоминало сцену старинного театра, заснятую на пленку и виденную мною в фильмотеке. Они, эти пятеро, выглядели слишком красочно и ярко, словно сошли с картины художника Делакруа, жившего в первой половине XIX века.

И в ту же минуту я услышал странные и причудливые звуки неземного наречия, очень похожие на те, что я слышал однажды, зайдя в зал, где фонетические машины воспроизводили гипотетический язык далекой загадочной планеты.

«Каждый народ обведен кругом своего языка», — вспомнил я слова Вильгельма Гумбольдта.

Звуки... Неведомые и прекрасные, полные гармонии. Сильное чувство охватило меня, я стоял и слушал. И гармония этих звуков, музыка этого необыкновенного языка вовлекли меня в свой круг.



— Кто вы? — наконец спросил я, хотя и догадывался, кто это был.

Один из них ответил тихим и мелодичным голосом на русском языке:

— Жители планеты Уаза.

— Но как вы преодолели расстояние? От космолета Виталия Далуга до Земли далеко.

— Преодолели пространство не мы, а наши изображения.

— Но почему я вижу вас не на экране приближателя? Вы свободно разгуливаете по комнате... Я не понимаю, как это стало возможным, если вы находитесь в космолете «Баргузин» далеко за пределами солнечной системы?

— Таким вот приближателем мы пользовались несколько тысячелетий тому назад. Но за это время техника ушла далеко вперед. Впрочем, ваши специалисты уже ознакомились с новым для вас принципом преодоления времени и пространства, скоро и у вас исчезнут все экраны.

Уазец продолжал:

— Нам не понадобился экран, чтобы навестить вас. По правде говоря, он нас бы стеснял. Кроме того, не забудьте, что и ваше изображение находится сейчас в той точке вселенной, где пребывает космолет «Баргузин», наша временная и гостеприимная база. Иначе говорили бы мы одни, не имея возможности слушать вас. Что это за общение? Но сейчас мы рядом, вместе, не правда ли? Наше изображение у вас, а ваше у нас... К сожалению, нам пора.

— Пойдите! — невольно вырвалось у меня. — Походите! Ведь я не успел с вами поговорить.

— И мы не успели. Но мы вынуждены спешить. Нам надо побывать у вашего уважаемого отца, у Вербовой, у Сироткина, у многих сотрудников вашего института. Земной шар не так уж мал. И, кроме того, есть Марс, Венера и множество космических станций. А мы не можем быть одновременно везде, где нас ждут. До свидания, Микеланджело!

На месте только что зиявшего провала снова была стена, обыденная, привычная стена с книжной полкой и репродукцией «Семьи арлекинов» Пикассо. Как ни

странно, я вовсе не был рад тому, что стена вернулась на свое место. Я дотронулся до стены, словно не веря, что она здесь. Да, здесь. Но сейчас я отдал бы полжизни, чтобы вместо нее зиял провал и в моей комнате пребывали уазские гости. Каждое мгновение их пребывания у меня было ни с чем не сравнимым. В мое сознание, как музыка, вливалось необыкновенное бытие другой незнакомой планеты, звуки их языка, яркие, играющие всеми оттенками цвета их одежд и их лица... Я никогда не видел таких лиц. Необычайное обаяние светилось в их глазах, словно излучавших на меня безмерный опыт тысячелетий древней цивилизации и доброту, интерес, участие. По выражению этих глаз было видно, что уазцы знали меня.

И я их полюбил. Именно теперь, когда знал не только их мысли, но видел их лица и слышал звуки их неземного языка.

34

Мой отец, хотя и жил в одном доме со мной, так и не узнал, что уазцы, прежде чем навестить его, побывали у меня. Я от него это скрыл по вполне понятной причине. Но в самом деле, почему они пришли ко мне раньше, чем к нему, чем к Вербовой или к Евгению Сироткину? Это так и осталось для меня тайной. Я был рядовым сотрудником знаменитого Института времени. Может быть, там, на далекой Уазе, с ее древней цивилизацией не принято было начинать визиты со знаменитых лиц?

В этот день уазцы посетили многих. Они, по-видимому, не щадили себя и появлялись везде: в домах у отдельных лиц, в общественных местах, на улицах, в парках.

Долго ли они пробыли у моего отца? Нет, по-видимому, не очень-то долго. Но тем не менее отец успел с ними поспорить. Держался он, как потом рассказывала мне мать, с чувством собственного достоинства. Нет, он был не из тех, кто без боли сердца мог признаться самому себе, что уазцы обогнали нас, землян, на много тысячелетий. И, осознав это (было бы странно, если бы он этого не признал), он тем не менее и виду не показал, что мы в чем-то от них отстали. Ког-

да я спросил отца о том, какое впечатление на него произвели гости, он ответил:

— Как тебе сказать? Сердечны, добры, обаятельны. И все-таки чего-то в них не хватает.

— Чего? — спросил я.

— Пожалуй, простоты. Слишком они театральны в этих своих играющих всеми оттенками и цветами одеждах. Немножко модники и актеры. Не скажу, что мне целиком понравился их спектакль.

— Спектакль?

— Не придирайся к словам. Я хотел сказать, что они слишком декоративно выглядят. Представь, намеком я дал им это понять. Они прочли мне целую лекцию по истории костюма. Находят, что мы одеваемся слишком прозаично и обыденно. Мы поспорили, хотя о вкусах и не спорят. Ну, а какое впечатление они произвели на тебя?

— Самое лучшее.

Отец промолчал. Может быть, в нем в эту минуту боролось два начала: чувство удивления перед уазцами и сильный самолюбивый характер, не желающий склонить голову даже перед необыкновенным.

Нет, отец со своей сдержанностью оказался на этот раз в одиночестве. На всех, не исключая насмешливого и скептического Евгения Сироткина, уазцы произвели сильное впечатление. Все полюбили их, оценив их сердечность и обаяние. Всех тронул искренний интерес гостей к нашей жизни, к жизни каждого, с кем они встречались.

Они побывали в детских садах и в домах престарелых, на стройках и даже на дне Тихого океана, в глубинах Земли, в шахтах, со всеми успев подружиться.

Побывали они и у Кумби. Старичок, мило улыбаясь, рассказал мне об этом визите, сравнивая свое впечатление об уазцах с тем, какое он впервые познал, научившись мечтать.

— Мне казалось, что все это снится, — сказал Кумби. — До того это было сказочно и прекрасно. Они читали стихи...

— Стихи? — удивился я. — От первого вас слышу. И хорошие стихи?

— Необыкновенно музыкальные. Читали на своем языке. Потом в переводе.

— И вы, конечно, запомнили? Прочтите.

— Нет, не запомнил. Теперь же у меня память, как у всех. Я не запомнил слов, но, как сейчас, вижу картину, изображенную в стихах. Уаза. Море. Берег. И облака. Не наши, земные, — уазские облака. Но какими словами было сказано об этих облаках! Какими словами!

35

Прошел год. За это время космолет «Баргузин» с уазскими гостями стал ближе на много миллионов километров к Солнцу, к Земле, к каждому из нас, людей.

И все же он еще был далеко, все еще за пределами солнечной системы. Расстояние не мешало постоянному общению уазцев с землянами. За этот год цивилизация Земли ушла вперед на несколько столетий, воспользовавшись опытом и знаниями уазцев, наших старших братьев. Но произошло нечто странное и неожиданное: многие люди привыкли к уазцам, и теперь им удивлялись уже не все. Нашлись люди, которые повторяли те же слова, что сказал мой отец:

— Сердечны, добры, обаятельны. И все-таки чего-то им не хватает.

Слыша эту стереотипную фразу, я сердился.

— Чего не хватает? — спрашивал я.

Они отвечали почти так же, как ответил на этот вопрос мой отец:

— Чего-то не хватает. Возможно, обыденности. Слишком красочно и ярко. Феерия!

К уазцам привыкли, хотя можно ли привыкнуть к чуду? И тот, кто привык уже, не удивлялся ни их знаниям, ни их памяти, ни их уму, ни их проникновенному чувству. И однажды мой отец сказал не то шутя, не то всерьез, что им, уазцам, может быть, следовало остаться невидимками и не появляться в столь определенном и конкретном виде, после которого уже становится известным все.

Но я был не согласен со своим отцом. Я продолжал удивляться уазцам и восхищаться их сердечностью и знаниями. И я был не один. Было немало

людей, которые думали так же, как и я. Они не хотели привыкнуть к прекрасному.

Уазцы появлялись среди нас часто. Впрочем, если быть точным, то нужно сказать, что появлялись не они сами, а только их изображения. Многие думали сначала, что это нечто вроде усовершенствованного телевидения. Но это было не совсем так. Ведь и наши изображения одновременно появлялись там, где пребывали наши гости.

Каким же образом осуществлялись эти встречи, как могли совместиться в одной точке два евклидова пространства, разделенных расстоянием и временем? Я не мог понять оптический принцип этого явления, его физическую и математическую сущность. Один из уазцев, самый юный, чье имя состояло из одних гласных (и звучало приблизительно так: Аоэо), пытался объяснить мне этот принцип, проявив много терпения и затратив немало труда. Но мои математические знания и навыки мышления не давали мне возможности понять слишком сложное и противоречивое существо уазского открытия.

Я находился примерно в таком же незавидном положении, в каком очутился бы современник Гомера, которому терпеливый и деликатный Эйнштейн стал бы объяснять сущность теории относительности. Чтобы не обидеть Аоэо, я сделал вид, что все понял. Вначале мне действительно показалось, что я начинаю понимать объяснения и математические доказательства моего нового друга. Но это только показалось. Единственно, что я уловил из объяснений молодого уазца, это слова о фокусировке X-лучей и оптическом преломлении евклидова пространства и эйнштейнова времени в линзе — «при» и призме — «ли». Потом я догадался, что я чего-то недослышал, но переспрашивать не стал. Вообще я вел себя недостойно, как школьник, и очень обрадовался, когда Аоэо, закончив свои объяснения, начал разговор о более доступных вещах. Он спросил меня, как я провожу время после работы, занимаюсь ли спортом?

Я ответил ему, что да, занимаюсь, и, в свою очередь, спросил его:

- Мы, наверно, ровесники?
- Едва ли. Вам сколько лет?

— Двадцать один год.

— Сколько? — переспросил юный уазец.

— Двадцать один. А вам?

— Пятьсот двадцать два.

— Сколько?!

— Пятьсот двадцать два.

— Значит, вы старше меня на пятьсот один год?

— Да. Но ведь и уазская цивилизация намного старше человеческой. Значит, по сравнению с вами я совсем старикан.

— А я думал, мы ровесники.

— Представьте себе, я этого не думал.

— Но как вам удалось так хорошо сохраниться?

Я покраснел, почувствовав всю бестактность своего вопроса. Но Аозо нисколько не обиделся на мой вопрос и ответил:

— Я обязан этому клеткам и молекулам. Они слишком хорошо «запомнили» себя и ни разу не ошиблись, повторяясь во времени. Говоря проще, мы нашли средство предохранить наследственно-информационный аппарат от порчи. Только и всего.

Я снова взглянул на Аозо, на его юное лицо, улыбающееся мне. Пятьсот лет! Когда он родился, на Земле был XVI век. Он современник Леонардо и моего знаменитого тезки Микеланджело Буонарроти, сверстник Галилео Галилея. Пока он набирался сил, пока учился, здесь, на Земле, сменилось несколько исторических эпох. Как он мог остаться юношей и сохранить всю свежесть видения мира, имея такой огромный личный и исторический опыт?

Я смотрел на него с таким же изумлением, как если бы передо мной стоял сам Галилео Галилей.

— И вы, Аозо, помните все, что с вами случилось за пятьсот слишком лет?

— Все ли? Нет, разумеется, не все, но самое важное помню. Особенно детство. Оно длилось по вашим земным масштабам довольно долго. В том возрасте, когда у вас человека величают дедушкой, я еще играл в детские игры. Мне не приходится жалеть об этом. Детство... Прекрасная пора, когда открывает ребенку свои тайны мир, когда играют все краски. Впрочем, и юность тоже прекрасна. Что касается зрелости, о ней мне судить еще рано. Я еще ее не достиг. О зрело-

сти вам могут рассказать много интересного мои спутники и друзья.

— Я не могу этого понять и представить, — перебил я Аозо. — А как же быть с историческим развитием, с темпами общественного процесса? Я раньше не думал об этом, но мне представляется, что естественная смена поколений содействует убыстрению процесса развития. Исаак Ньютон, прожив бы несколько столетий, вряд ли превратился бы в Эйнштейна. В противном случае ему пришлось бы многое пересмотреть.

— Ну и пересмотрел бы! Он был очень умен и вряд ли стал бы обижаться на то, что история и наука не стоят на одном месте.

— Но как бы он мог запомнить такое количество фактов, событий, лиц? Ведь человеческая память не безгранична.

— Память? Вы кстати упомянули о ней. Когда наши ученые несколько тысячелетий тому назад нашли способ борьбы со старением организма, возник вопрос: а как быть с памятью? Ведь возможности уазской памяти, как и человеческой, казалось бы, были рассчитаны на тот срок, который был отпущен уазцу или человеку природой. Ставились опыты вроде тех, которыми прославилась на Земле Марина Вербова. Но в результате все оказалось проще, чем все ожидали.

Память стала быстро меняться вместе с уазцем, вместе с уазским обществом, вместе с окружающей средой. Те резервы, которые хранила природа, пришли в действие. Запасник, или кладовая, употребляя терминологию Вербовой, открылся и больше уже не закрывался. Одновременно с памятью развивались и совершенствовались обе сигнальные системы. Ведь память — это история личности. Личность уазца, достигшего хотя бы моих лет, распалась бы, если бы память не развилась настолько, что стала способной объять все, что пережило и познало мое личное и общественное «я»...

Я посмотрел на него. В какой раз!

Каждый уазец был великаном, разумеется духовным, интеллектуальным великаном, физически мало отличавшимся от земного человека. Аозо был такого

же роста, как я, и, когда я разговаривал с ним, мне не нужно было задирать голову и смотреть снизу вверх, наши лица были на одном уровне. А наши мысли? Сомневаюсь, что они тоже были «одного роста».

Вероятно, Аоэо чувствовал себя, беседуя со мной, как чувствовал бы себя знаменитый создатель «Феноменологии духа», разговаривающий с обыкновенным смертным. Я не зря назвал гениального создателя «Феноменологии духа». Он был чем-то похож на молодого Гегеля, мой новый друг. Говоря о вещах, он как бы заставлял говорить за себя сами вещи, проникая мыслью сквозь оболочку явления в самую сущность.

Он многое уже знал о Земле, об истории человеческой культуры, но интересовал его не Гегель, а другой, не менее замечательный человек.

— Что вы знаете о Дарвине? — спросил меня однажды Аоэо.

— О Дарвине?

Мне всегда казалось, что я много знаю о создателе эволюционного учения, ведь я читал его труды, но из разговора с Аоэо выяснилось, как я мало знаю. Ведь, в сущности, я не мог удовлетворительно ответить ни на один вопрос моего нового друга.

Аоэо был по специальности биолог, прошло уже больше ста лет, как он стал заниматься проблемами эволюции. Но сто лет — это пустяк: на Уазе были ученые, которые изучали эволюцию в продолжение многих столетий.

Я подумал: «Если бы великий Дарвин имел возможность изучать природу в течение ста лет, сколько бы он сделал!» Как коротка человеческая жизнь! И все-таки, живя так недолго, человек сумел заглянуть в глубину тысячелетий и узнать историю своей планеты.

— Как происходила эволюция на вашей планете? — спросил я Аоэо. — Как возник уазец?

— Наша эволюция очень похожа на вашу. Так же как и на Земле, на Уазе поднялись в воздух птицы и, казалось, обрели свободу, а млекопитающие, подчиняясь необходимости, остались ходить вниз. Но быстро эволюционировать продолжали не птицы, а все-таки млекопитающие.

— Почему?

— Потому что, обрета крылья, птицы тем самым лишили себя возможности усовершенствовать свои передние конечности и превратить их в руки. Дарвин... Его необыкновенная наблюдательность помогла всем людям заметить в природе самое главное — процесс, историю, движение.

Мы разговаривали с Аоэо не только о серьезных вещах, нередко мой друг шутил, смеялся, так же как и я. Он все же был юношей, хотя и прожил пятьсот двадцать два года. Мудрость и многоопытность совместились в нем с юношеской живостью и любознательностью. Он был прекрасным пловцом и мечтал поплавать в земных морях, озерах и реках. Пока только мечтал, ведь на Земле пребывал не он сам, а только его изображение и, конечно, его интеллект, но физическая его сущность все же пока пребывала за пределами солнечной системы.

Я не мог ни обнять его, ни даже пожать его руку. Мы пребывали рядом и одновременно очень далеко друг от друга.

Аоэо угадал мою мысль, мое ощущение парадоксальности наших встреч.

— Уазский ум, — сказал он, — долгое время был наивным эвклидовым умом, и только с тех пор, когда уазец победил старость, его ум перестал быть эвклидовым, трехмерным. Перед нами открылось пространство Лобачевского как реальность, как быт. Изменились все масштабы.

— Я не совсем понимаю, о чем вы сейчас говорите.

— Это нужно не понимать, а чувствовать. И скоро вы это почувствуете, мой земной друг. Хотите, чтобы ваша юность продолжалась несколько столетий? Мы научим вас, как бороться со старостью. Хотите, Микеланджело?

Я не знал, что ответить.

— Почему вы молчите?

— Хочу, — ответил я тихо.

И мне стало страшно, словно я, дав согласие, этим самым уже сразу превратился в существо, попавшее в мир с изменившимися масштабами.

Вскоре мне и всем моим современникам действи-

тельно удалось попасть в мир других масштабов и победить старость, но об этом, если мне удастся, я расскажу уже в другой книге.

Этот же мой рассказ подходит к концу, но его конец можно считать только началом тех грандиозных событий в истории Земли и земного человечества, чьим свидетелем и участником я был.

36

— Микеланджело!

Меня кто-то окликнул. Я оглянулся и не поверил своим глазам. Передо мной стояла Таня. Нет, на этот раз она окликнула меня не с экрана приближателя. Она здесь, на аллее большого институтского сада.

— Марс стал ближе к Земле, — спросил я, — или Земля приблизилась к Марсу?

— Ни то и ни другое, — ответила она. — Мир остался на месте, и Земля тоже. Изменила в эвклидовом пространстве свое положение только я. И на этот раз оказалась в одной точке с тобой, Мика.

— Надолго?

— Смотря по обстоятельствам. Но этот день, если ты хочешь и можешь, проведем вместе.

— Только день? Я хотел бы провести вместе с тобой целую жизнь.

— Какую жизнь? Земную, обыкновенную или целое тысячелетие?

— О тысячелетии еще говорить рано. Вот когда уазцы откроют нам свой секрет...

— Не говори мне про уазцев. Я везде только и слышу о них.

— И ты тоже находишь, что им чего-то не хватает?

— Наоборот, я нахожу, что в них всего с переизбытком. Но на Земле я появилась не для того, чтобы повидаться с ними, а с тобой.

— И надолго?

— Ты уже задавал мне этот вопрос. На целый месяц.

— А потом?

— А потом я должна буду улететь к себе на Марс.

На Землю я вернусь, когда мы создадим на Марсе атмосферу и биосферу. После того как нам своими советами стали помогать уазцы, дело стало подвигаться быстро. У уазцев большой опыт.

— Ты же не хотела говорить об уазцах?

— Не хотела. Ну и что?

— Ничего.

Мы разговаривали с Таней, как на тропе в окрестностях Лесного Эха. Как будто мы с ней никогда не расставались. И я боялся, что ей надоест разговор и она скроется среди деревьев.

Я дотронулся рукой до ее плеча. Она была здесь, со мной. Абсолютно здесь, действительно рядом. Она сама, а не ее изображение на экране приближателя. И я был счастлив и хотел, чтобы это мгновение длилось и длилось, длилось бесконечно.

Мы были вместе. И то я что-то рассказывал ей о Земле и о Уазе, то она рассказывала мне о Марсе и о себе.

— Трудное имя у твоего нового друга, — сказала она. — Аоэо... А как он выглядит? Опиши.

Я попытался описать внешность Аоэо, но у меня ничего не получилось. Почему? Может быть, потому что я не был художником и живописцем. Аоэо, как и его однопланетцы и спутники, выглядел красочно, ярко, живописно. Но эти сухие, банальные, невыразительные слова не в состоянии передать то чувство, которое испытывал я, когда беседовал со своим новым другом.

Не только внешность моего друга была красивой и яркой, но и его бытие, его внутренний мир. В трудное положение попал бы художник, пожелавший написать его портрет. Какой бы фон ему пришлось брать? Стену комнаты? Сад? Озеро? Небо? Нет, бесконечность. За его спиной словно присутствовала вся вселенная со своими бесчисленными галактиками.

— Ты что-нибудь поняла, уловила? — спросил я Таню.

— Немного. Но кое-что поняла. Он живет в мире, где другие масштабы. Не так ли?

— Ты точно выразила, Таня, то, что я хотел, но не сумел сказать. Другие масштабы... И мы тоже идем к этому, Таня, к другим масштабам.

— А сколько лет этому твоему Аоэо?

— Пятьсот двадцать два.

— Так он старик?

— Нет, юноша.

— Пятьсот лет? Я и представить себе не могу. За этот срок все может надоесть.

— Нет, ему не надоело. Наоборот. Он же ведь не старик, а юноша. У него вся жизнь впереди.

— Пятьсот лет прожил, а вся жизнь еще впереди? Это совсем другие масштабы, Мика. Другой мир. Другое восприятие времени. Он рассказывал тебе о своей жизни?

— Рассказывал. О детстве рассказывал. Его детство длилось почти два столетия... А ведь это самая прекрасная пора в жизни человека.

— Двести лет... — повторила задумчиво Таня.

Наступило молчание.

На лице Тани играла какая-то сложная мысль, словно она решала трудную задачу.

— Нужно ли это человеку, Мика?

— Что?

— Такое большое время?

— Нужно.

— А я не совсем в этом уверена. В Лесном Эхе я как-то видела старинный фильм «Балладу о солдате»... Шла Великая Отечественная война. И время было сжато до предела. Солдата отпустили с передовой на три или на четыре дня. Но в эти три-четыре дня включено столько событий, что казалось, передо мной прошла целая жизнь. И какая жизнь, Мика! Ведь солдат-то не вернулся. Он погиб за будущее человечества, за нас с тобой.

— Я тоже видел этот старинный фильм, Таня. Но это же война. Трагедия. Человеку нужно время, для того чтобы победить пространство, стать хозяином вселенной. И, разумеется, не только для этого...

— А для чего?

— Чтобы стать счастливым.

— Не знаю, Мика. Я никогда об этом не думала. Покажи мне свой институт...

Мы пришли с Таней в фонетический зал, в мир звуков и всех человеческих наречий, существующих сейчас или существовавших когда-то на Земле.

И в этот раз, не знаю — случайно или не случайно, я услышал музыку языка далекой Уазы. Сильное чувство охватило меня и Таню. Эти звуки словно перенесли нас в другое измерение, где время текло иначе, чем на Земле, где светило другое Солнце и другие звезды.

Эти звуки с необычайной стремительностью увлекли нас в мировое пространство, в бесконечный простор вселенной. Казалось нам, что они, эти звуки обыкновенного языка, языка великанов, победивших время, несли к нам духовное богатство, всю мощь и ширь далекой и прекрасной цивилизации.

Мы стояли с Таней в мире чудесных чувств и мыслей, облаченных в звуки, и прислушивались к ритму вселенной.

А прекрасное мгновение длилось и длилось, и казалось нам, оно будет длиться всегда.

СОДЕРЖАНИЕ

МАЛЬЧИК	3
НЕОБЫЧАЙНАЯ ИСТОРИЯ	54
СТРАННИК И ВРЕМЯ	60
КУМБИ	196

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Присылайте нам ваши отзывы о прочитанных книгах и пожелания об их содержании и оформлении.

Укажите свой точный адрес и возраст.

Пишите по адресу: Ленинград, Д-187, наб. Кутузова, 6. Дом детской книги издательства «Детская литература».

ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

ГОР ГЕННАДИЙ САМУИЛОВИЧ

КУМБИ

Ответственный редактор Н. К. Неуймина

Художественный редактор Г. П. Губанов

Технический редактор Э. П. Коренько

Корректоры Т. Н. Сморкалова и Л. К. Малявко

Подписано к набору 27/XI 1967 г. Подписано к печати 10/XII 1968 г.
Формат 84×108¹/₃₂. Бум. № 2. Печ. л. 10. Усл. печ. л. 16,8. Уч.-изд. л. 16,216.
Тираж 50 000 экз. ТП 1968 № 581. Ленинградское отделение издательства «Детская литература». Ленинград, Д-187, наб. Кутузова, 6. Отпечатано с готовых матриц Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградской типографии № 1 «Печатный Двор» им. А. М. Горького Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР, Ленинград, Гатчинская ул., 26, на фабрике «Детская книга» № 2 Росполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Ленинград, 2-я Советская, 7. Заказ № 464. Цена 65 коп.

ЧИТАЙТЕ КНИГИ
ИЗДАТЕЛЬСТВА «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

ГУРЕВИЧ Г.
ПЛЕННИКИ АСТЕРОИДА
Науч.-фантаст. повести и рассказы
Илл. Н. Кольчицкого
М., 1965, 269 стр.

ЕМЦЕВ М. и ПАРНОВ Е.
ЗЕЛЕНАЯ КРЕВЕТКА
Рассказы и повесть
Рис. А. Иткина
М., 1966, 302 стр.

ЛЕМС.
МАГЕЛЛАНОВО ОБЛАКО
Науч.-фантаст. роман
Пер. с польск. Л. Яковлева
Илл. П. Пинкисевича
М., 1966, 383 стр.

МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ
Альманах
М., 1966, 605 стр.

НЕМЦОВ В.
ТРИ ЖЕЛАНИЯ
Науч.-фантаст. повести и рассказы
Илл. Ю. Зальцман
М., 1967, 591 стр.

ПЛАНЕТА ТУМАНОВ

Сборник науч.-фантаст. повестей и рассказов

Илл. Б. Стародубцева

Л., 1967, 383 стр.

РОСОХОВАТСКИЙ И.

ВИТОК ИСТОРИИ

Сборник науч.-фантаст. повестей и рассказов

Илл. И. Кошкарева

М., 1966, 223 стр.

СТРУГАЦКИЙ А. и СТРУГАЦКИЙ Б.

ПОЛДЕНЬ, XXII век (ВОЗВРАЩЕНИЕ)

Рис. Ю. Макарова

М., 1967, 319 стр.

СТРУГАЦКИЙ А. и СТРУГАЦКИЙ Б.

ПОНЕДЕЛЬНИК НАЧИНАЕТСЯ В СУББОТУ

Сказка для научн. работников младш. возраста

Рис. Е. Мигунова

М., 1965, 223 стр.

ШАЛИМОВ А.

КОГДА МОЛЧАТ ЭКРАНЫ

Научн.-фантаст. повести и рассказы

Илл. Т. Оболенской и Б. Стародубцева

Л., 1965, 205 стр.